

ISSN 0132-0637

6  
ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ  
6 2000

# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

2000

ИЮНЬ

## В Н О М Е Р Е:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Евгений ЧИЖОВ. <b>Темное прошлое человека будущего.</b> Повесть .....	3
Риталий ЗАСЛАВСКИЙ. <b>Все было музыкой...</b> Стихи .....	66
Сергей ЮРСКИЙ. <b>Опасные связи</b> .....	71
Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. <b>Два рассказа</b> .....	97
Светлана МАКСИМОВА. <b>Меж двух ударов пульса...</b> Стихи .....	106

### ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Наталья ИЛЬИНА. <b>Из последней папки.</b> Записи разных лет (1957 — 1993). Публикация Вероники Жобер. Предисловие, подготовка текста, примечания Маргариты Тимофеевой.....	110
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Борис ХАЗАНОВ. <b>Десять праведников в Содоме.</b> История одного заговора .....	141
Олег ПАВЛОВ. <b>После Платонова</b> .....	159

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

### *Панорама*

Юрий ГИРИН о кн. Валерия Земскова «Лазарь. Подземная бабочка». \* Алексей КОКОТОВ о кн. Максима Амелина «Dubia». \* Марк АНТОНОВ о кн. Б. Поплавского «Автоматические стихи». \* Владимир КАНТОР о кн. Фаины Раневской «Дневник на клочках». \* Иван БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ о сб. «И только без этого жить невозможно». \* Александра ХОДАК о кн. Б. Н. Лесняка «Я к вам пришел». \* Валерий ШУБИНСКИЙ о кн. Тимура Кибирова «Интимная лирика», «Нотация». \* Владимир ШПАКОВ о кн. Милана Кундеры «Вальс на прощание». \* Л. АРСЕНЬЕВ о кн. Дениса Датешидзе «Мерцание» ..... 164

Наталья МИХАЙЛОВА.  
«Заклинание». Из книги «Болдинские встречи» ..... 177

Борис КОЛЫМАГИН.  
Благословение навеки. Об одной религиозной интуиции Генриха Сапгира ..... 180

### *Терпение бумаги*

Ольга СЛАВНИКОВА.  
Критик моей мечты ..... 183

### *Актуальная культура*

Владимир БЕРЕЗИН.  
Игра ..... 188

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

#### **Редакция:**

Инеcса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

#### **Общественный совет:**

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

***Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.***

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.  
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.  
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)  
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».  
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 28.04.2000. Подписано к печати 25.05.2000. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8580 экз. Заказ № 1193. Цена 29 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Евгений ЧИЖОВ

---

# Темное прошлое человека будущего

ПОВЕСТЬ

1

Из всех душевных качеств тебе  
недостает как раз памяти...

*С. Кьеркегор. Или-или*

**В**моей комнате четыре стены. Четыре стены, потолок и пол. Между ними расположены некоторые вещи, как-то: кровать, стол, стул, шкаф и другие. Я сижу на стуле за столом.

Когда мне надоедает сидеть на стуле, я подхожу к окну, за которым идет снег, у самого стекла быстро, вытягиваясь в белые прочерки, а дальше медленно, чем отдаленней от окна, тем медленнее, почти застывая на лету. Движение снега сопровождается журчанием воды в батарее отопления, но можно подумать, что звук текущей воды раздается с улицы и снег уже начинает незаметно таять под своей поверхностью.

Когда устаю глядеть на снег, я иду в ванную и грею руки под горячей водой, потому что топят слабо и в комнате так холодно, что чувствуешь кожей едва заметное тепло, исходящее от настольной лампы. Я делаю это по десять раз на дню, а в особенно холодные дни еще больше. Чтобы не держать руки просто так под струей воды, я мою их с мылом, поэтому руки у меня всегда необыкновенно чистые. Вчера я так долго тер их, что заметил, как они, переплетаясь пальцами, гладят друг друга с неприкрытой нежностью: мои намыленные руки изменяли мне друг с другом. Я застал их в момент измены. Я почувствовал себя, как радужная мыльная пленка, растянутая между пальцами, выгибающаяся, дрожа, над пустотой. Стоило развести пальцы подальше, как пленка лопнула и исчезла. Я улыбнулся себе в зеркало над раковиной.

Согрев руки, потирая их на ходу, я возвращаюсь в комнату, ставлю чайник на электроплитку и, дожидаясь, пока он закипит, ложусь на кровать. Или снова подхожу к окну, если за ним произошло что-нибудь новое: снег, например, перестал, а может, пошел иначе, не сверху вниз, а снизу вверх, что, в общем, ничего не меняет. Или беру с полки какую-нибудь книжку и, листая ее, опять сажусь к столу, не замечая, как, уступив мне место в самый последний момент, со стула встает другой Игорь Чесноков, то есть другой я, подходит к электроплитке и, дождавшись, когда закипит чайник, не спеша заваривает чай. Поджидая, пока настоится, он подходит к окну, где ему уступает место третий Чесноков, идущий в ванную греть руки под горячей водой, разминувшись в дверях с выходящим оттуда четвертым мной с красными, еще влажными ладонями. Этот четвертый Чесноков наливает чай в стакан и пьет его с моими любимыми киевскими сухарями, так что, когда я отрываюсь от книжки, полстакана уже выпито и на мою долю остается один-единственный сухарь. К тому же допивать чай приходится

на кровати, потому что место за столом необходимо мне пятому, спешащему записать что-то на лежащем на столе листе бумаги, — не зря же я просидел над ним с утра, чай может и подождать, если наконец в голову пришло что-то стоящее. Но записать ему ничего не удастся, так как шестой или седьмой Чесноков уже успел нарисовать во весь лист ухмыляющуюся рожу: усы, борода, сигарета в зубах, почти сросшиеся над переносицей брови, — есть у меня такая привычка — автоматически рисовать всякую ерунду, когда не работается.

Между тем меня в комнате становится явно слишком много. За перемещениями фигур уже трудно уследить, теснота растет с каждой минутой, угрожает возникнуть путаница. Свободного места практически больше нет, мне попросту некуда приткнуться. В собственной комнате я не могу найти для себя места, не занятого мною, — не остается ничего иного, как надеть пальто, ботинки и скорее выйти на улицу, хлопнув дверью. Я так тороплюсь, что шнурки приходится завязывать уже в лифте.

На улице и в самом деле подтаивает, пахнет водой, снег падает неуклюжими тяжелыми хлопьями, взрыхляющими сырой воздух. Я иду, как обычно, по направлению к метро. Рыжий кирпич и горчичная штукатурка послевоенных домов, как губка, впитывают влагу, которой разбавлен мутноватый воздух, темнеют и разбухают на глазах в рано сгущающихся сумерках. Пунцовая буква «М» светит мне издалека. Асфальт у входа в метро свободен от снега, точно буква «М» растопила его своим жаром. Мокрый черный асфальт отражает огни, как крышка концертного рояля.

В ту теплую зиму, когда я неожиданно утратил способность подолгу быть одному или, точнее, злоупотребил ею настолько, что стали происходить вещи, описанные выше, я сначала растерялся, а потом довольно быстро нашел выход: я сажился в метро, доезжал до кольцевой и крутился по кольцу столько, сколько у меня было свободного времени, читая или просто разглядывая тех, кто попадался на глаза. В метро всегда есть на кого посмотреть! К примеру, вслед за мной в вагон входят двое и садятся напротив. Они пьяны, их пропустили сюда по недосмотру, у обоих руки в расплывшихся голубых татуировках, грязная белая кожа, дряблые бабьи черты широкоскулых лиц: прозрачные глаза, мокрые губы, у одного нос свернут набок и вместо щетины растут отдельные короткие волоски по всему лицу. От них исходит сильный кисло-соленый запах пота, смешанный с горьким запахом отсыревшего табака. Конечно, лучше бы напротив сел кто-нибудь другой, но выбирать не приходится, я готов рассматривать и этих, мне все равно, кто отвлечет на себя мое внимание, лишь бы оно не замыкалось на мне самом. Я гляжу на них до тех пор, пока не начинает казаться, что я сам понемногу пропитываюсь этим кисло-соленым запахом.

В час пик, когда в метро было битком, я всегда сидел, чувствуя себя хозяином вагона, потому что все остальные входили и выходили, толкаясь и наступая друг другу на ноги, а я оставался. Больше всего меня радовало, что никто из пассажиров не мог заподозрить, что я, единственный из всех, никуда не еду, а просто провожу здесь время, как у себя дома, потому что никто из них не делал по кольцу полного круга, как я, разве что какой-нибудь уснувший в углу сиденья алкаш.

Вечером, если у меня не было урока — в ту теплую зиму я зарабатывал, частным образом преподавая слегка знакомый мне немецкий язык, — и отсутствовали иные важные дела, которые почти всегда отсутствовали, я заходил иногда в расположенное в полуподвале неподалеку от метро заведение и становился в хвост недлинной очереди, состоящей из одних мужчин. Теперь такие заведения сохранились разве что на вокзалах, но той зимой их золотое время, когда предприимчивые люди превращали любой подвал в зрительный зал, еще не истекло, хотя, судя по заячьему хвосту очереди, было уже на исходе. Заведение называлось

видеозалом, и в нем можно было посмотреть на телеэкране весь бесконечный эпос «Эммануэли» и многое другое такое же, еще недавно скрытое от народа.

Зал заполнялся медленно, но плотно, свободных мест на последнем сеансе не оставалось. Рассаживались, небрежно откидывая сиденья, небрежно закидывая ногу на ногу, одни мужчины, как в действующей армии. Свет гас, и появившееся на экране изображение быстро сгоняло с лиц иронические улыбки. Предоставленные самим себе и забытые своими обладателями лица зрителей камели в темноте, освещенные одним неверным светом с экрана. Суровое, почти фронтовое братство возникало во время сеанса: мы сидели плечом к плечу, касаясь друг друга локтями, дышали единым дыханием, синхронно возбуждались в идущих чередой волнующих сценах и одновременно, как по команде, переводили дух. Ради этого чувства локтя я и приходил сюда, и оно меня никогда не обманывало. За два рубля входной платы, взимаемой небритым мокрогубым армянином, молчаливое мужское братство всегда безотказно принимало меня в свои ряды.

Сосед справа привлек мое внимание только тогда, когда я заметил, что в отличие от большинства зрителей, застывших бледными лицами в дрожащем студне телевизионного света, он улыбался. Кроме того, время от времени он поигрывал ключом на кольце, надетом на палец. Делал он это произвольно, потому что внимание его, как и всех остальных, было целиком поглощено происходящим на экране. Когда там от любви перешли к мордобою и какая-то блондинка несколько раз получила по уху от какого-то брюнета, мой сосед, стиснув кулак, при каждой оплеухе ударял слегка по подлокотнику кресла и улыбался еще шире. Мне даже показалось, что он тихо говорил сам себе: «Так! Так! Так!»

Наконец он доигрался: ключ слетел с пальца и упал куда-то вниз. Сосед выругался и стал шарить руками на сиденье вокруг себя, потом на полу, все ниже сползая со стула. Мне уже надоело следить за поворотами дурацкого сюжета, и я попытался ему помочь, но вместо ключа наткнулся под сиденьем на его ищущую руку. Пол был мокрым, на нем валялись окурки, но по сравнению с абсолютным мраком между креслами он был освещен слабым светом с экрана. Сосед уже целиком сполз вниз и шарил между ботинками сидящих спереди и сзади, вежливо трогая их за лодыжки, чтобы они передвинули ноги. «От квартиры,— шептал он наверх,— если не найду, домой не попасть!» Ботинки в белых разводах соли перемещались, некоторые даже поднимались, чтобы он мог все осмотреть. Я тоже наклонился к полу, и два наших места посреди зала опустели: мы оба как бы дезертировали из фронтового братства зрителей, оставив брешь в его рядах. Стоны с экрана раздавались теперь над нашими головами, синхронная смена возбуждения и расслабления происходила без нас. В тусклом свете внизу любая брошенная палочка от мороженого прикидывалась ключом, и я то и дело слышал, как сосед ругается с досады. «Что ты там шарить-то, мать твою!» — не выдержал наконец один из сидящих впереди зрителей с отливающей лунным светом лысиной. «Вот именно, смотреть мешаете, сейчас из зала выведем», — поддержал его другой, интеллигентный. Но для моего соседа и для меня реплики эти были безразличны, почти бессмысленны, как звучащие над поверхностью воды голоса для тех, кто погрузился на дно. Поглощенный поисками, сосед даже не отвечал. Тогда лысый зритель сам наклонился и заглянул вниз, заподозрив, что именно там, а не на экране происходит самое неприличное и захватывающее. По мере того как страсти в фильме накалялись, многие в зале, не выдержав напряжения неподвижности, откидывались на сиденьях, протягивая ноги под стулья следующего ряда. Когда стоны на экране достигали апогея, некоторые ботинки переминались с носка на пятку и обратно, как будто их обладателям хотелось по малой нужде. В конце концов мой сосед вернулся на свое место, так и не найдя ключа. Оставшуюся часть фильма он смотрел, уже не улыбаясь.

Наружу выходили, не глядя друг на друга, молча, как полагается товарищам по оружию, которым не нужны слова. Оказавшись на воздухе, сосед попросил у меня закурить, потом сказал:

— Красивая эта девочка в главной роли, а? Та блондинка? — И прежде, чем я успел ответить, что на такой скверной копии толком ее не разглядел, он добавил: — Вылитая моя жена. Один в один, разве что ростом повыше, моя жена миниатюрная, мне по плечо. С тех пор как она от меня ушла, я этот фильм раз шесть смотрел или семь, не помню точно, так что копия для меня никакого значения не имеет, я все равно уже все наизусть знаю. Я много разной дряни переглядел, прежде чем на этот фильм вышел, зато теперь мне ничего больше и не надо. Я знаю еще два других с той же актрисой, но они ни в какое не идут сравнение.

Я спросил, почему, мне казалось, что все эти фильмы друг от друга почти не отличаются.

— Еще как отличаются! В тех других она просто ложится под каких-то жлобов, пыхтит, старается, но я-то вижу, что они ей все на самом деле безразличны и радости ей от них ни на грош. Она даже скрыть этого не умеет, актриса-то она никакая, тоже мне, Комиссаржевская! Сколько ни пыхти, сыграть любовь у нее не получается, сразу видно, что она совсем про другое со всеми этими типами думает или про другого. Вот так и моя жена, с кем бы ни была, всегда будет помнить обо мне, и так, как со мной, ей ни с кем никогда не будет! По крайней мере в кинозале я в этом не сомневаюсь, и чем актриса бездарнее, тем лучше она мне это подтверждает. Зато в сегодняшнем фильме есть сцена, которой в двух других нет, — как ее брюнет в шортах мочит, помнишь? Не помнишь? Потрясающая сцена! Шедевр! Я ради этого сюда с другого конца Москвы сегодня ехал. Он ей сначала два раза по морде смазал, потом за волосы — и на пол, и еще ногами, и еще, пока его не оттащили! Четыре раза, я считал! А я ведь ее в жизни пальцем не тронул, я же дышал на нее, как на свечку... Если б я ее так же, как этот в шортах, может, все бы иначе было... Стоило ведь, до чего же стоило, иногда руки так и чесались! Да и теперь еще чешутся... Четыре раза ногами изо всех сил — так ведь и убить можно, если правильно попасть, по голове, например, а? Как ты считаешь? Я могу эту сцену смотреть бесконечно! До того я ему завидую, тому ублюдку в шортах... Хотя дело даже не в зависти... Дело в том...

Тут он попытался затянуться, но сигарета давно погасла, он поглядел на нее с досадой:

— Потухла...

Покрутив в пальцах, подул, попросил у меня огня. Сырой ветер свистел сквозь темную улицу, и мне пришлось закрывать для него пламя спички спиной.

— Дело в том, что без ключа мне к себе домой не попасть. Нужно кому-то звонить, проситься на ночлег, а времени уже половина первого. Да и не знаю я, к кому проситься, у всех жены, дети. Негде мне ночевать.

— Может быть, у тебя дубликат ключа где-нибудь есть? — спросил я со слабой надеждой, что мне не придется до утра слушать рассказы о его жене, поскольку было ясно, что в слушателе он нуждается так же остро, как в ночлеге, и стоит только пустить его к себе, как бессонная ночь обеспечена.

— Второй ключ, конечно, есть, но он в театре, в раздевалке, там все давно заперто.

— Ты работаешь в театре?

— Машинистом сцены.

Он курил, глядя в сторону, на несвежий снег под фонарем, якобы размышляя, кому бы он мог сейчас позвонить, а на самом деле явно поджидая, когда я позову его к себе. Я видел его в профиль: усы, короткая бородка, сигарета, почти сросшиеся над переносицей брови. Ветер бросил мне в лицо запах сигаретного дыма.

— Хорошо, я могу пригласить тебя к себе. У меня нет ни жены, ни детей, есть раскладушка и достаточно места.

— Спасибо! Что бы я делал, если б тебя не встретил?! Давай, что ли, знакомиться по такому случаю. Меня зовут Некрич, Андрей Некрич.

Я не успел позвать протянутую мне на ходу руку, потому что он поскользнулся на детской ледяной дорожке и замахал рукой в воздухе, пытаясь удержать равновесие. Ноги его, обутые в тяжелые американские ботинки, напоминающие обувь космонавта, заплывали по льду, при этом с губ не сходила испуганная кривая усмешка, перекашивающая лицо то в одну, то в другую сторону, словно тоже пытаясь уравновесить скользящее тело. Широкое серое пальто, наполовину расстегнувшееся и разлетевшееся полами в стороны, скрывало от меня его движения, и мне вдруг показалось, будто он барахтается в невесомости и может так балансировать бесконечно, не возвращаясь в устойчивое положение, но и не падая, словно черно-золотой лед, по которому мы шли, находится на поверхности Луны и темные дома вокруг с голубым телевизионным светом в окнах — жилища селенитов.

Наконец он поймал мою протянутую руку, сошел со льда на асфальт.

—...Твою мать, так ведь и убится можно, затылком об лед — и конец, уноси готовенького!

Неуверенными пальцами он поспешно застегнул пальто, нашел и снова сунул в рот выпавшую, но не успевшую погаснуть сигарету, и только ухмылка его еще некоторое время не находила своих привычных очертаний между усами и бородкой, соскальзывала, не удавалась. Он передернул плечами и поежился.

— На самом деле эта экранная паршивка Ирине в подметки не годится, разве что внешне похожа, а больше ничего общего. Я тебя познакомлю когда-нибудь со своей женой, обязательно, должен же я тебя как-то за ночлег отблагодарить, если ты, конечно, захочешь с нею знакомиться, потому что благодарности эта, с другой стороны, сомнительная. Но сначала-то она тебе понравится, я еще не видел человека, которому бы она с ходу не понравилась, она это умеет, у нее чутье на людей невероятное. Я обожаю наблюдать, как она с каждым новым человеком меняется, сама того не замечая. Вот она могла бы стать актрисой блистательной, самого первого ряда, ну если не Комиссаржевской, то Коонен, не то что эта киношная засранка, я в этом уверен, у нее вообще, у Ирины, способностей тьма, только все на одно уходит...

Некрич переступил порог моей квартиры, кажется, даже не заметив, продолжая говорить, сел к столу, и лишь когда я протянул ему плечики с вешалки, сделал паузу, чтобы снять пальто. Он был худ, долговяз и сидел, закинув ногу на ногу и как бы завязав их в узел, так что бывшая сверху правая нога снова загибалась под левую.

— Теперь, конечно, с тех пор как она переехала жить к этому своему ходимцу Гурию, мы не часто видимся, но все равно, случается, так что шанс познакомиться представится. По мне, лучше бы мы и не виделись вовсе — мне сегодняшнего фильма хватает, — чем встречаться, не имея возможности до нее дотронуться, а она ведь специально меня дразнит, то пуговичку ей сзади застегни, а у нее такая длинная модильяньевская шея, то еще что-нибудь придумает, гадина, как будто и в самом деле в кино, глазами видишь, а руками нельзя, но это ведь мука мученическая! В фильме она хоть получает по заслугам, а здесь понимает, что раньше времени я ее не трону, вот и испытывает мои границы, дошел я до точки кипения или нет еще. Но рано или поздно, если она ко мне не вернется, я с ней за все рассчитаюсь, до последнего, она мне кровавыми слезами заплатит, я ее предупреждал, и она знает, что так оно и будет, она мне верит, она, может быть, единственный человек, который мне верит! Больше мне ни одна собака не верит. Но мы-то с нею почти два года прожили, так, как она, меня никто не знает, и ей одной известно, что от меня нужно ожидать! Она у меня в ногах будет



ползать, пощады молить, ботинки мне вылизывать станет, она же боли больше, чем смерти, боится, я ее тоже как облупленную наизусть выучил, уж я найду, чем из нее душу наружу вытащить! Хотелось бы, конечно, своими руками ей ребра пересчитать, но если я и не сам, а людей найму, она все равно сразу догадается, кто за ними стоит, только деньги для этого нужны, деньги, а где их взять, не знаю... Квартиру, что ли, продать, от родителей оставшуюся... А с деньгами все сразу просто, за людьми дело не станет, они мне ее с двенадцатого этажа, как мешок, под ноги выкинут, или еще лучше — автокатастрофа, машина без номерных знаков исчезает за поворотом, а я среди прочих случайных прохожих стою и смотрю, как Ирина корчится на асфальте посреди улицы в луже своей крови! И «Скорая», как всегда, приезжает слишком поздно. Или, например, включает она у себя дома утюг, или телевизор, или просто лампу, да мало ли вещей, которые могут стать смертельными, если их правильно подготовить, включает и — хрясть! — замыкание, электрическая вспышка, удар тока такой силы, что от нее остается одна обугленная головешка! А если удар послабее, то она просто слепнет от вспышки, и я становлюсь тогда ее поводырем, потому что кому еще, кроме меня, она, слепая, нужна, кто с ней будет нянчиться? А я буду, и она без меня уже ни шагу, повсюду только держась за мою руку, как маленькая, я буду ей обо всем рассказывать, что слева, что справа, предупреждать, где тротуар кончается, чтобы не споткнулась...

Пока Некрич говорил, я поставил на стол чай. Он взял чайную ложку и за неимением потерянного в видеозале ключа крутил ее между большим и указательным пальцами так, что она выписывала в воздухе скользящие восьмерки. По мере того как нарастали дикость и невменяемость его речи, увеличивалась скорость вращения словно приклеенной к пальцам ложечки, а на дне ее, не выплескиваясь при все более крутых восьмерках, ездил слепящий блик от лампы под потолком.

—...Вот она и звонит мне, и появляется под разными предложениями, сегодня одно у меня забыла, завтра другое, по всей моей квартире свои вещи рассовала и специально не забирает, чтобы был повод зайти, потому что боится меня!!! Поэтому ей и нужно знать, где я, что со мной, чем занят. Ей страшно отпустить меня, она хочет меня всегда в пределах досягаемости держать. Этим ее страхом мы с нею навсегда повязаны, ей от него никогда не избавиться, на всю жизнь, до самой смерти!

В этот момент чайная ложка наконец сорвалась, и, хотя я все время ждал этого и готовился, поймать мне ее все-таки не удалось.

— Ты чай пить будешь, или я стелю и ложусь спать?

— А у тебя ничего нет к чаю... вкусенького?

— Что бы ты хотел?

— Что бы я хотел... Ну, например, пирожное: картошку или, скажем, эклер. Картошка — мое любимое, а эклер — Иренино, но за время, что мы с нею прожили, я полюбил все то, что и она, даже больше, чем то, что сам любил. Ты не поверишь, когда она ушла от меня, я часами ее пластинки слушал, эстраду, Пугачеву, еще дурех каких-то безголосых...

— Я не ем пирожных, у меня от сладкого зубы болят.

— Жалко... А если зубы болят, я могу тебе врача одного порекомендовать. Все под наркозом делает и недорого. У меня знаешь как зубы болели?! Я просто выл сутками не переставая, а он все выдрал так, что я даже и не заметил. На, посмотри.— Некрич быстро засунул палец за щеку, оттянул ее и вывернул голову так, чтобы я мог заглянуть ему в рот. Там, открывая мне для обозрения розовые дыры от выданных зубов, заворачивался то в одну, то в другую сторону толстый язык, обитавший во рту, как самостоятельное живое существо, мокрый, голый, слепой звереныш, скрывавшийся за щеками от дневного света, продуктом секреторной деятельности которого был мат, употребляемый Некричем вместо всех знаков препинания. Мат пенился на его губах, как переполнявшая

рот слюна, и он должен был то и дело сплевывать ее, чтобы продолжать говорить.

Изучение рта Некрича нагнало на меня сон. Убирая со стола, я вспомнил, что в холодильнике у меня давным-давно лежит нетронутая плитка шоколада, всученная настырной матерью одного из учеников, сколько я ни отказывался. «Ничего, сами не съедите — подарите вашей девушке», — сказала она, кладя мне шоколад в карман, и я перестал возражать, потому что не хотелось признаваться, что у меня нет сейчас никакой девушки. «Может быть, появится», — подумал я тогда. Теперь шоколад пригодился для гостя. Некрич ему страшно обрадовался, стал есть его с необыкновенной поспешностью, торопливо сдирая хрустящую фольгу и заталкивая в рот целые большие куски, точно боялся, что отнимут. При этом он ни на секунду не прекращал говорить:

— Ирина тоже шоколад обожает. Какого я ей только не покупал, и швейцарского, и нашего, и немецкого, если бы она только сказала, я бы ее одним шоколадом кормил, утром, днем и вечером! Я же ей ни в чем не отказывал, все, что она просила, покупал, на все деньги, какие были, мне для себя ничего не нужно было, все ей, все! Хочешь туфли на высоком каблуке, на, возьми, рассекай по асфальту, хочешь чулки в сетку, пожалуйста, тебе чулки, хочешь трусы французские, прозрачные такие, чтоб все просвечивало, бери, просвечивай, мне не жалко, пусть они половину моей театральной зарплаты стоят, но ведь мы жили не на те убогие гроши, которые мне в театре как машинисту платят, ты же понимаешь...

Скорость, с которой Некрич пожирал шоколад, определялась скоростью владеющего им монолога, не желающего замедляться оттого, что рот его все больше набивался шоколадной массой. Некрич не успевал проглатывать, щеки его раздувались, речь становилась все менее членораздельной, слова увязали в шоколаде.

— Как только я не выкручивался, из чего только деньги не делал, я жизнью своей рисковал, не говоря уже о свободе, для того лишь, чтобы она за один вечер все спускала в каком-нибудь «Доме туриста»! Но я-то думал, идиот, что так и надо, что эта сладкая жизнь будет продолжаться бесконечно, а она, падла, она меня бросила, и все сразу кончилось, гадина... — В этот момент полупрожеванная коричневая каша полезла у него изо рта, и ему пришлось замолчать, по крайней мере на время.

Я постелил ему на раскладушке, но перед тем, как лечь, он сказал, что после такого количества сладкого ему необходимо почистить зубы.

— Врач, который меня лечил, предупреждал, что если не буду чистить, они вылетят все к чертовой матери. Представляешь, просыпаюсь я однажды утром, а зубов как не бывало. Пустота во рту, прохлада...

Я дал ему свою запасную зубную щетку, он ушел в ванную и скоро позвал меня оттуда:

— Посмотри, сколько у меня крови из зубов течет! Никогда столько не бывало! Паста из белой стала вся красная!

— Это не из зубов, а из десен. У тебя пародонтоз, обычное дело, от этого не умирают.

— Не умирают? Ты думаешь? Сразу, может быть, и не умирают, а постепенно, со временем... Кровь-то истекает, сочится по капле, и ничем ее не оставишь. Я чувствую, как во мне с каждым днем крови все меньше и меньше. Скоро совсем не останется, кончится вся. И дело это отнюдь не обычное, так много из меня никогда раньше не текло... Можешь мне поверить, что это что-нибудь да значит...

Мы легли спать, я потушил свет и спросил:

— Что может значить пародонтоз?

— Медицинские названия ничего не объясняют. Кровь всегда означает кровь. Резню, убийство... Точнее я не знаю... Мое дело давать знаки, а не толковать их. Может быть, войну, гражданскую, например...

Голос Некрича, к которому я уже привык, показался в темноте вдруг совсем незнакомым.

— Ладно, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил он.

За этот вечер у меня сложилось впечатление, что я знаю его давно, по крайней мере несколько месяцев, но стоило погасить свет, как оно исчезло.

— Игорь... Эй, Игорь... Игорь, ты спишь?

Я не откликнулся, но чувствовал, что дрожание век выдает меня. Некрич, кажется, вполне способен был разглядеть его в почти полной темноте комнаты, слабо освещаемой сквозь занавески фонарем с автостоянки напротив.

— Врешь, ты не спишь, я же вижу.

— Сплю.

— Ага, не спишь, я же говорил. Вот и мне не спится, я после этих фильмов никогда уснуть не могу. У тебя снотворного нет?

— Нет.

Я услышал, как раскладушка заскрипела, и увидел в полутьме, что Некрич сидит, накинув на плечи одеяло.

— Правильно, снотворное — вредная гадость... Ирина тоже всегда без снотворного засыпала, запросто. Придет в час, в полвторого, начнет мне рассказывать, где была, а сама уже так спать хочет, что раздеться как следует не может, в чулках своих пугается, из платья выбраться не в состоянии, так и падает на подушку, все с нее свисает, полуснятое, я уже потом стягиваю, она даже не просыпается, только бормочет чего-то там во сне... Но поцеловать меня на ночь никогда не забывала, даже если совсем уже спала и глаз не могла раскрыть... Наощупь... Спиртным от нее, конечно, несло так, что вся комната этим запахом пропитывалась, и духами, и еще потом из-под мышек, но такой он был детский, запах ее пота, точно ей не двадцать семь, а лет семнадцать от силы, и никакие духи и помады ее не могут взрослой женщиной сделать, он сквозь все пробьется... Мне никакого другого запаха не нужно было, никаких духов не нужно было... И, представляешь, я всему верил, что она мне рассказывала, меня даже не интересовало особенно, где она пропадала и с кем напивалась, хоть я и знал, конечно, ее друзей, подонков общества, они у нас все перебивали, ночами просиживали, в преферанс до утра резались, но, главное-то, я ей верил, ей даже говорить ничего не нужно было, я видел ее, и мне этого было достаточно, чтобы знать, что все хорошо, она со мной.

— Послушай, Андрей, я не знаю твоей жены, и она меня мало интересуется...

— Не знаешь — узнаешь...

— Я хочу сказать, что четыре часа ночи, у меня завтра два урока в разных концах города, мне нужно выспаться.

— А, хорошо, хорошо. Извини.

Снова заскрипела раскладушка, и Некрич лег. Некоторое время он ворочался с боку на бок, пытаюсь подавить в себе желание говорить, потом встал, подошел к окну, приоткрыл занавеску. Постояв у окна, присел на подоконник, потом пересел на стул. Я чувствовал, что, пока он слоняется по комнате, мне все равно не уснуть.

— Может быть, ты ляжешь?

— Не могу. Не ложится. Я посижу, сидя мне лучше. А ты спи, спи, я же тебе не мешаю...

— У тебя что, болит что-нибудь?

— Болит?.. Нет, ничего не болит... Мне кажется, что у меня все кости высосаны изнутри тоской и пустые. Особенно когда лежу, когда сижу — не так...

Некрич вытянулся на жестком стуле, закинув голову назад, так что самой высокой точкой его силуэта с четко обозначившейся на фоне желтого окна линией кадыка стала задранная кверху короткая борода. Широко раскрытыми

глазами и открыв рот, словно глаз ему было мало, он смотрел в проступавший из полутьмы потолок. Тяжесть и пустота потолка надвинулись на него, и он замолчал, застыв в своем неудобном положении. Воспользовавшись паузой, я начал засыпать.

Из сна меня вырвала пистолетная стрельба: на грани пробуждения осуществлялись слова Некрича о грядущей гражданской войне. Сам он снова сидел на подоконнике, завернувшись в занавеску, и, переплетя пальцы, громко трещал суставами. Пальцы его при этом выгибались почти под острым углом к тыльной стороне ладоней.

— Ведь я чувствовал, что этим кончится! — Он снова заговорил, почуяв, что я не сплю. У меня не было никакой возможности убедить его в обратном, разве что захрапеть, но он все равно бы не поверил. — Я знал, конечно, все с самого начала и обманывал себя, делая вид, что ничего не замечаю, мне было это просто, а главное, больше ничего и не оставалось. Я же видел, как они за моей спиной переглядывались, вся эта шатия, друзья Иринины, подонки общества, я слышал, как они со мной разговаривают, всегда с усмешкой. Они меня всерьез не принимали, за дурачка держали, хотя в лицо и не говорили. Еще бы, как можно принимать всерьез человека, женившегося на такой отъявленной суке! Они ухмылялись так, точно она спала с ними со всеми, с каждым из них, без исключения! А я делал вид, что мне эти их ухмылки безразличны. Я всегда хотел ей показать, что выше этой банды, не чета тем вырождакам, с которыми она проводит время, но она, кажется, не видела между нами никакой особенной разницы, мы все были для нее одно — мужчины! А ведь я ее к себе в театр водил, на самые лучшие места, на первый состав, и ей нравилось. Ты не поверишь, она даже плакала однажды на «Волшебной флейте», я из-за кулис смотрел и видел, как у нее тушь от слез потекла, она всегда ресницы густо тушью красит, сколько я ни говорил, что ей это не идет... А после спектакля так мне благодарна была, так счастлива, что все хорошо кончилось!

Некрич замерз на подоконнике, накинуд рубаху и пересел к батарее, прямо на пол, прислонившись к ней спиной. Но пол тоже был холодным, и он скоро перебрался на табуретку, завязав ноги узлом, руками обхватил себя за плечи. Он пытался собрать свое костлявое тело как можно компактнее, сжать его насколько возможно туго, чтобы в нем не осталось пустот с их засасывающей тоскою. Куда бы он ни садился, везде ему было неудобно.

Время от времени мне удавалось выключиться, не засыпая до конца, я переставал воспринимать смысл слов, но голос Некрича, иногда спадавший до невнятного бормотания себе под нос, всякий раз усиливался в последний момент очередным приливом отчаяния или обиды и достигал меня на самом пороге засыпания.

— Однажды прихожу с репетиции, а у нас уже эти двое сидят, в карты режутся, Коля и Толя, я вечно путал, кто из них кто, кто Коля, а кто Толя, я спрашиваю: «Где моя жена? — Я же с ней по телефону разговаривал, я знал, что она дома. — Где Ирина?» Они друг на друга смотрят: «Ирина?» «Ты не знаешь, где Ирина?» «Где же она может быть?» И так они ее имя произносят, как будто бы совсем о другом человеке речь, мне незнакомом или по крайней мере им знакомом гораздо лучше, чем мне. Я не стал дожидаться, пока они мне в глаза врать начнут, прохожу в соседнюю комнату — там пусто, возвращаюсь назад, и одновременно со мной входит Гурий, рубашку на груди застегивает. Я его спрашиваю, где она, он говорит: в ванне моется. Из ванной действительно шум воды, я ору сквозь дверь: «Ира, ты там?» Она в ответ: «Подожди, сейчас выйду». И долго не выходит, а когда наконец появилась, я смотрю, у нее волосы сухие. А Гурий между тем карты сдает и меня как ни в чем не бывало спрашивает: «На тебя сдавать?» Я к нему оборачиваюсь и вижу, что у него-то, у подлеца, волосы мокрые! Казалось бы, все ясно: разводят они меня вчетвером в моей же квартире. И что, ты думаешь, я сделал? Ничего я не сделал, сел с ними играть, карт не

различая, вслепую, для меня все масти в одну слились, потому что Ирина вокруг стола в одном халате после душа ходила, всего на две пуговицы застегнутом. То к одному в карты заглянет, то к другому. И я начинаю вдруг выигрывать, один раз, потом другой, третий, все больше и больше... И с каждым выигрышем мне все тошнее и скучнее становится...

Приблизительно в этот момент я отключился и не узнал, чем кончилась игра, а когда вновь вслушался в голос Некрича, он рассказывал то же самое сначала. На этой истории Некрича заклинило. Опять и опять повторял он, как входит Гурий (я так и не понял, имя это или кличка), застегивая пуговицы на груди, на рукавах, на ширинке, как вслед за ним появляется жена с сухими волосами, с мокрыми волосами, возникает из ванной, из туалета, со всех сторон и из всех дверей одновременно, улики множились, но доказательство ее измены оставалось незаконченным, не достигало полной убедительности, и это заставляло Некрича вновь возвращаться к началу и прокручивать всю историю по третьему, потом по четвертому кругу. При этом возникали все новые и новые детали, и чем вернее они уличали жену, тем сомнительнее выглядела вся история в целом, точно он не вспоминал их, а выдумывал на ходу. В конце концов я начал подозревать, что у него вообще никогда не было никакой жены, а все, что он мне рассказывает, — не более чем грубо сшитые обрывки дрянных фильмов, которых он насмотрелся в видеозалах. Возможно, он просто душевнобольной, одержимый навязчивой идеей, чей бред разрастается и детализируется бесконечно, питаясь просмотром видеофильмов. Я и раньше встречал таких, заболевших от одиночества, ожидающих слушателя, чтобы, вывалив на него свои фантазии, самим поверить в их реальность. Я даже начал припоминать в сегодняшнем кино похожую анекдотическую сцену с изменой в ванной комнате, внезапным возвращением мужа и шумом воды в душе, покрывающим все слова. Когда Некрич начал по пятому кругу, я почувствовал себя близким к обмороку, наподобие того, до которого довел в Берлине Владислава Ходасевича нескончаемым повторением своей истории Андрей Белый, но меня спасла способность отключаться и незаметно ускользать в полусон.

Говоря, Некрич продолжал перемещаться по комнате, не находя себе места. Полузасыпая и снова просыпаясь, я видел его сидящим на стуле верхом, на табуретке по-турецки, на тумбочке, на крышке стола; стоящим, вытянувшись вдоль дверного косяка или у противоположной окну стены, прижимаясь спиной к отброшенной на нее фонарем тени оконной крестовины, раскинув руки вдоль горизонтальной перекладины; свернувшимся в кресле калачиком. Под конец — но это было уже, конечно, во сне — я помню его в сером предутреннем свете сидящим молча на книжном шкафу, ссутулившись, потому что между шкафом и потолком оставалось совсем мало места, подперев подбородок руками, как готическая химера, с желтым отсветом фонаря с автостоянки в больших неподвижных глазах. В этом сне я страшно медленно и осторожно поворачивал голову, осматривая пустую комнату, прежде чем обнаружить его под потолком, боясь, что стоит ему заметить, что я проснулся, и он снова начнет говорить. Едва я его нашел, как он оторвался от окна и повернулся ко мне, но я успел прикрыть глаза, и тогда он, безошибочно считая меня спящим, в то время как сам я думал, что только притворяюсь, вдруг быстро высунул в мою сторону свой толстый язык, окончательно превратившись в химеру с башни Нотр-Дам. Далеко высунул, аж до подбородка.

Утром я поспешно провожал, почти что выпроваживал Некрича, рассеянный и безразличный с недосыпа. Мы выпили по чашке кофе, он звал меня к себе в театр, обещал бесплатно провести на любой спектакль, принялся расхваливать постановку «Хованщины», но я едва слушал. Уже стоя на пороге в пальто и открыв дверь, Некрич увидел на тумбочке в прихожей мой проездной. Он быстро достал из внутреннего кармана пальто свой билет, положил его рядом, ру-

башкой кверху, а себе, ни слова не говоря, забрал мой, как карту при обмене в покере. Я взял его проездной, думая, что он просрочен, но он оказался точно таким же, как мой, на февраль. Прежде чем опустить мой билет к себе в карман, Некрич еще раз взглянул на него и улыбнулся, точно ему пришла нужная карта. Мы попрощались, я закрыл за ним дверь.

Медленно гасла под потолком театральная люстра, и раззолоченный галион зрительного зала с ярусами балконов, бельэтажем, ложами, партером и притихшими зрителями плавно погружался на темное дно. Последним источником света в полной тьме оставалась оркестровая яма. Затем осветился и пошел волнами, раздвигаясь в стороны, тяжелый занавес, расшитый золотом по красному пятиконечными звездами и гербами СССР. Открылась сцена. На заднике тускнел не то рассвет, не то закат, не то застывший отблеск пожара. Среди серых, почти сливающихся с темными декорациями армяков народа атели кафтаны стрельцов. Бояре в высоких бобровых шапках, «замутить хотя на государстве», собирались на «гносное совещание». Приведенная в действие доносом, закручивалась малопонятная политическая интрига. В массовых сценах было занято едва ли не столько же народу, сколько сидело в зале, все пространство между кулисами наполнилось смутным движением. Хоры напоминали пение бурлаков, вытягивающих, надрываясь, то и дело застревающую на мели перегруженную баржу народной оперы. И все-таки она плыла, медленно и неумолимо двигаясь вперед — посуху, яко по морю. Хоры, превышая друг друга, громоздились в темном сияющем пространстве над рядами партера, вдавливая зрителей в кресла: «Победихом, посрамихом, пререкохом, пререкохом и препрехом ересь. Ересь нечестия и зла стремнины вражие. Победихом, пререкохом и препрехом!» Раскольники готовились к самосожжению, преданные стрельцы выходили ссутулясь, неся на своих плечах плахи, на которых должны быть казнены. Действие разворачивалось все шире, все больше людей теснилось среди декораций, казалось, опера уже не умещается в театральные стены, еще немного и она вырвется из них на простор городских улиц. Но хитрое устройство сцены открывало новые неожиданные пространства: за кремлевскими башнями возникали алые боярские палаты, за ними раскольничий скит, позади него голубел заснеженный лес, уходящий в синюю даль, в мутный закат или неизменный отсвет пожара, а за лесом и закатом сидел у пульта Некрич и, слушая в наушниках указания по мережа, щелкал переключателями.

Я навел его в антракте, чтобы поблагодарить за контрамарку, но у него не было для меня ни секунды. Он вел сегодня вечером спектакль, и вся ответственность лежала на нем. Вся сложная машинерия оперы была в его руках. Некрич переводил рычаги на пульте, и кремлевская стена на скрипучих тросах поднималась вверх, уходила высоко в полумрак над сценой, а ей на смену спускался оттуда обреченный сгореть деревянный скит. Двое молодых ребят в кедах и джинсах выкатывали плаху на колесиках, Некрич подгонял их: «Живее, живее!» Меня едва не сбили с ног рабочие, толкающие перед собой лобное место. Я не знал, куда приткнуться среди поспешно перемещаемых или вдруг взмывающих в воздух стен, башен, сундуков, ларей. Стоило мне прислониться к резным перилам лестницы, как всю лестницу выносили у меня из-за спины на сцену. Я позабывал Некричу, чувствуящему себя как дома в этом лихорадочно подвижном мире среди невесомых вещей.

Все с ним были здесь на «ты». Марфа-раскольница, крупная широкоплечая женщина, расхаживала из стороны в сторону той же «величавой» походкой, что и по сцене, начинала выпевать одну фразу и бросала, не закончив. Несколько раз она закашлялась, потом достала из расшитого сарафана носовой платок и звучно высморкалась.

— Неужели простудились? — участливо спросил Некрич.

— Не говори, Андрюша, наверное, слягу на больничный, еле на ногах дер-

жусь, вспотела вся.— Она озабоченно потрогала лоб рукой, проверяя, нет ли температуры.

— Конечно, все меня здесь знают, я же практически вырос за кулисами,— сказал мне позже Некрич, когда под конец антракта у него нашлась для меня пара минут.

Мы выглянули из-за занавеса в заполняющийся публикой зал.

— Вон там,— показал он,— царская ложа, в ней сидели государь император и члены царской семьи. Теперь это ложа для правительства или для видных иностранцев, не ниже министров. Ну а вокруг обычно сидят гэбисты.— Несмотря на небрежный тон, он явно гордился своей причастностью к развлечениям людей большой политики.

Прозвенел звонок, и я пошел обратно к себе на балкон, договорившись встретиться с Некричем после спектакля.

Побывав за кулисами и увидев своими глазами, что все громоздкое сценическое зрелище внутри держится на соплях, я ждал теперь, что оно вот-вот даст сбой, запнется и развалится, например, Марфа-раскольница закашляется посредине арии и не сможет продолжать. Но ничего такого не происходило, все шло как по маслу, будто само собой. Марфа была той же самой, что за кулисами, и все-таки уже совсем другой: ни закашляться, ни высморкаться, ни даже просто вытереть нос было уже не в ее власти. Зрелище, такое шаткое и топорное с изнанки, где все, к чему ни прислонись, грозит завалиться, своей обращенной к залу лицевой стороной было нерушимо и монументально, точно взгляды зрителей скрепляли его намертво.

Рядом со мной сидела пожилая женщина, заботливо опекавшая свою соседку, годившуюся ей в матери. Та была одета в черное платье, оставляющее открытой тонкую и морщинистую, как куриная нога, шею. Края платья у горла она постоянно поправляла и теребила сухими пальцами. Судя по возрасту, она вполне могла девочкой видеть в царской ложе Николая, а членов правительства прошло перед ее глазами столько, что она наверняка уже путала их лица. Оперу она слушала, полуприкрыв глаза, как бы одновременно вспоминая. К началу третьего действия она незаметно уснула и, тихо похрапывая, спокойно проспала до конца. Вторая женщина накрыла ей плечи широким шарфом.

История приближалась между тем к своему неизбежному финалу. Карликовые фигурки пришлых людей толпились у рампы. Раскольники заперлись в скиту, чтобы сжечь себя. Я откинулся на спинку обтянутого красным бархатом кресла, оно было удобным, даже слишком мягким. Слабая лампочка светилась за спиной над дверью. Скит с раскольниками запылал в глубине сцены малиновым дымным пламенем, отбрасывая отсветы на позолоту балконов. Уйдя всей спиной в кресло, я чувствовал, что перестаю ощущать расслабившееся тело. Бархатное болото оперы незаметно засасывало меня. Над Москвой-рекой занимался рассвет. Под аплодисменты вновь сошелся перед сценой занавес с гербами и звездами.

— Моя бабушка проработала театральным костюмером почти всю жизнь. Редкая была женщина, удивительная, Софроницкого в молодости знала, с Соллертинским приятельствовала. Она меня, в сущности, и воспитала, у матери другие были заботы, а отца я вообще едва помню, он был на двадцать лет старше мамы и умер раньше, чем я в школу пошел. По бабушкиной протекции я и в театр попал.

Мы с Некричем сидели в комнате в глубине театра, которую он считал своей, хотя по основному назначению она служила складом для инструментов оркестра и была до потолка заставлена различной формы футлярами с арфами, контрабасами, трубами, валторнами.

— Сначала я в хоровом училище был, вместе с другими мальчиками выбежал в армячке на сцену в «Борисе Годунове» и пел «Здравствуй, здравствуй, юро-

дивый Иваныч!». Помню, мне страшно нравилось у него копеечку отнимать, он только махал нам вслед руками в лохмотьях, здоровый детина в своей дурацкой шапке. А мне бабушка специально по моему размеру армячок сшила, чтобы в нем было удобно туда-сюда по сцене бегать. К нему еще лапти были и пояс.

Некрич достал из сумки большой двойной бутерброд и стал его есть, подставив снизу ладонь, чтобы свесившийся кусок колбасы не упал на пол. Глядя на эту согнутую лодочкой ладонь, я увидел сквозь Некрича с усами и бородкой маленького Некрича — крестьянского мальчика в лаптях и армячке, которому бабушка затягивает потуже пояс перед выходом на сцену. Мальчик, правда, был всего лишь уменьшенной копией взрослого Некрича, и усы с бородкой тоже присутствовали на детском лице, потому что без них и без почти сросшихся на переносице бровей вообразить его мне не удавалось.

— В училище мне больше всего нравилось молчать,— продолжал он с набитым ртом (очевидно, бабушка, занятая костюмами, забыла обучить его главному жизненному правилу всех воспитанных детей: «Когда я ем, я глух и нем»),— когда все поют хором, и только рот открывать для вида. Я был со всеми, но голоса моего не было, и никто этого ни разу не заметил. Если правильно губы растягивать, то никак не увидишь. Училища я, впрочем, не окончил, однако с театром не расстался, стал работать в массовке. И ни разу потом не пожалел, что солиста из меня не вышло. Мне никогда не хотелось, чтобы внимание всей публики было приковано ко мне, гораздо больше мне нравилось быть человеком толпы, теснящейся на сцене, одним из многих, неотличимым от остальных, будь то крестьяне, дружинники или египтяне из «Аиды», я всегда хотел быть с народом! В «Аиде» я был негром из египетского войска, весь в черный цвет с головы до ног перекрашивался, особенно следили, чтобы мы себе ступни не забывали выкрасить, приходилось перед тем, как выйти на сцену, пятки показывать. В «Князе Игоре» на меня надевали кольчугу, приклеивали усы, бороду лопатой — тогда я еще своих не отрастил,— и я был дружинником, выносил русский стяг вслед за Игорем, который во главе дружины на белой лошади выезжал. А стяг высокий, тяжеленный, то в одну сторону клонится, то в другую и меня за собой тянет, а надо держать его все время, пока Игорь, не слезая с лошади, свою арию поет, ария длинная, конца не дожدهшься, кобыла уж на что терпеливая, и то с ноги на ногу переминается, у меня шлем на глаза сполз и руки заняты, поправить нечем, так что я не вижу уже почти ничего, кроме пола под ногами и лошадиных копыт...

За разговором Некрич собрал в сумку свои вещи, и, поплутав театральными коридорами, мы вышли на улицу. Было уже совсем поздно, безлюдно и тепло. Желтый снег лежал под фонарями рыхлый, как творог, пропитанный водой, казалось, надави, и из него потечет, как из губки. Хотя пора уже было торопиться, чтобы не опоздать на последний поезд метро, мы решили пройти одну остановку пешком. Редкие машины проезжали по широкой площади, шипя в облаках мелких брызг. Иногда их шипение заглушало голос Некрича, и тогда я видел его открывающим рот, но не слышал ни слова.

— ...Ну вот, а потом я перестал участвовать в массовке и какое-то время занимался делами, с театром не связанными: антиквариатом, старой мебелью, думал даже на реставратора учиться, но в конце концов убедился, что весь мир, кроме театра, для меня холоден и чужд. Везде расчет, ты — мне, я — тебе, круговая порука мелкой сволочи, наподобие Ирининых друзей-приятелей. Где бы я ни оказывался, я чувствовал себя не на своем месте, рано или поздно это начинали замечать остальные и объединялись против меня. Сколько бы я ни притирался и ни старался сойти за своего, в конце концов открывалось, что я всем чужой. Только в театре у меня не было нужды подделываться под окружающих, только там я мог быть самим собой, не важно, на сцене или за кулисами. Так что пришлось бабушке, благо она еще шила костюмы, походатайствовать, чтобы меня взяли в бригаду рабочих. По мне, так за кулисами еще лучше, чем на сце-



не, там своя игра, свое распределение ролей, свои интриги, кто поедет, например, с театром в зарубежные гастроли, а кто нет, но главное, конечно, не в этом, главное в том, что все вокруг возникает ниоткуда и исчезает в никуда — государства, политики, деньги, сенсации, разоблачения,— один лишь театр — наш театр! — был всегда и будет вечно. В театре я нахожусь в неподвижном центре истории, в розе ее ветров, вся мелочь важных и неважных событий случается на периферии и не заслуживает внимания.

Некритич пренебрежительно махнул рукой и умолк. Несколько минут мы шли не разговаривая, а когда уже подошли к метро, словно сгустившееся и внезапно кристаллизовавшееся молчание, сначала отдельными хлопьями, а потом все гуще пошел снег. Преувеличенно крупные, бутафорские хлопья наполнили воздух, сразу ставший легким, как весной. Прежде чем войти в вестибюль станции, я оглянулся назад и увидел посреди проезжей части еще одного позднего прохожего, самого последнего, крохотного под громадным снегопадом над площадью, уже облепленного им с головы до ног. Покачиваясь, он брел в сторону от метро по возникшей за несколько минут на месте мокрого асфальта снежной целине. Похоже было, что он забыл, куда ему нужно, забыл свой привычный маршрут через центр города, свой адрес, телефон, возможно, даже свое имя, фамилию и отчество, точно это обрушившаяся на него бутафорская метель в ночном весеннем воздухе повлекла за собой внезапную полную потерю памяти.

В оттепель всегда хочется пить спиртное, лучше всего пиво. Расслабленность и распад, царящие в городской природе во время хмурого или солнечного таяния, тянут к ним присоединиться. В эти дни мы довольно часто встречались с Некричем, гуляя, брали по бутылке пива, и, пока он, едва отхлебнув из своей, как обычно, говорил без остановки, я высасывал свою до дна и покупал следующую. Если светило солнце, воздух слабо пах дымом, и к вечеру от выпитого и избытка света у меня начинала тупо болеть голова.

Что-то от оперной смуты просочилось все-таки сквозь стены театра на улицу. Однажды нам пришлось сделать крюк, чтобы обойти стороной громадный митинг. Из центра толпы доносились обрывки выкрикнутых в мегафон фраз: «Растущая напряженность... предатели интересов народа... Россия на грани... коммунисты... путчисты... завтра может быть поздно...» Нам были видны только спины и голые шеи, тянущиеся вверх из воротников в сырую пустоту солнечного воздуха над площадью. В подземном переходе у трех вокзалов женщина в платке, стоя на коленях, пела сильным, на весь переход разносящимся голосом: «Спасены мы, Христос идет из Сибири, имя ему Виссарий». Вокруг нее тоже толкался народ. В эти оттепельные дни люди вообще необыкновенно легко собирались вместе, точно все так же шатались без дела, как мы с Некричем, и только и ждали повода, чтобы сбиться в толпу. У входа в метро слепой играл на аккордеоне нечто грозное, тягучее, бахоподобное. Идущие мимо под медленную, затягивающую музыку, казалось, двигались против течения, напрягаясь, чтобы быстрее миновать аккордеониста, вырваться за пределы досягаемости его густых, вязущих созвучий. Они кидали деньги в футляр от инструмента, слепой сгребал их в кучу и ощупывал вялыми движениями анемичной руки, словно у него самого от этой музыки кости расплавились. Большая полиомиелитом женщина в рыжей короткой шубе с большим букетом только что купленных цветов прошла мимо него, скособочившись, подтаскивая тонкую ногу в черном чулке и мучительно вихляясь, но со стороны это выглядело так, будто она приплясывает под аккордеон, нарочно выделяясь для потехи.

— Пора бежать отсюда,— сказал тогда Некрич,— прочь из этого города, из этой страны, этой части света, и чем дальше, тем лучше, надежнее всего — в Новую Зеландию, только там можно себя чувствовать по-настоящему в безопасности от того, что здесь произойдет! Близятся события... То, что было до сих пор — Чернобыль, «Нахимов»,— только вступление, увертюра... Я слышу их

приближение, как глухой барабанный бой, очень далеко, но здесь колеблется воздух. Как будто где-то долбят асфальт и в окнах мелко дрожат стекла. Ночами я просыпаюсь от их гула, он будит меня во сне и стихает, когда я открываю глаза, но до конца не исчезает, остается постоянным фоном, проступает сквозь все шумы и звуки, стоит мне на нем сосредоточиться. События висят в атмосфере, им осталось только разразиться, это произойдет скоро, быстрее, чем ожидают. Я смотрю на них, на тех, кто суетится, и мне жалко их иногда до слез — ибо никто здесь не избежит и никто не будет пощажен! Как сказано, у всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах — плешь, серебро их и золото не сильно будет спасти их!.. Боюсь, что даже наш театр не в силах будет спасти, хотя он-то, конечно, переживет любые события и сохранится до тех пор, пока вся эта часть суши не уйдет на дно океана в результате нового геологического катаклизма, но ведь каждый из нас в нем заменим, тем более простой машинист сцены, и, когда меня однажды не станет, никто даже не заметит, никто и не вспомнит обо мне! Я бы давно уже сделал отсюда ноги, если не в Новую Зеландию, то хотя бы в Европу, в Германию например, — самая музыкальная страна, на каждом перекрестке симфонический оркестр, а оттуда и до Зеландии, когда наступят черные дни, легче добраться, чем из Москвы, но прежде мне нужно с Ириной расквитаться, она меня здесь намертво держит, пока мы с ней не разочтемся, нет мне отсюда исхода! А если она ко мне вернется, — Некрич на секунду замолчал и поглядел на меня, точно ожидая подтверждения, что это возможно, — если она все-таки вернется, то мне никакие грядущие события не страшны, нам на них будет просто-напросто плевать, пусть гражданская война, пусть все вокруг рушится, сгинет в пламени, обратится в прах, пусть от этого города камня на камне не останется, он давно уже заслужил — пусть! И если погибать, то вместе!

— Давай, что ли, еще по одной за это дело? — предложил я, допив последний глоток из своей бутылки.

При каждой нашей встрече Некрич жаловался на бессонницу. Что засыпает мгновенно, но уже через несколько часов просыпается и лежит с открытыми глазами до рассвета, один в постели, где еще недавно рядом спала жена, где сохранились остатки ее запахов, которые он вынюхивает под одеялом, как собака, и кажется себе ночью таким худым, точно тело удлиняется в темноте, растягиваемое бессонницей, как средневековой пыткой. Иногда под утро сон возвращается, и тогда он спит до двух, до трех часов дня, если ему не нужно в театр на утреннюю репетицию. Во время нашего шатания по городу Некрич часто двигался как бы в полусне, речь его переходила в бормотание, он начинал заговариваться, терял нить, иногда мне казалось, что он говорит сам с собой, забыв обо мне. Он быстро пьянел и со слипающимися на ходу глазами, наполовину ослепший от размытого сияния оттепельного солнца, чапал в своих американских ботинках по лужам и талому снегу, облизывая покрытые коркой обветренные губы, точно хотел распробовать падающий на них свет на вкус. Однажды, когда мы хотели перейти Садовое кольцо и я уже начал спускаться в подземный переход, Некрич неопределенно махнул рукой и пошел поверху сквозь шесть рядов транспорта, я не успел его задержать. Он пересекал кольцо наискось, глядя куда-то вбок, почти не замечая машин. Я попытался броситься за ним, чтобы остановить, но застрял между первым и вторым рядом, вернулся назад и глядел ему вслед, ожидая, что сейчас он будет сбит и раздавлен. Но Некрич легко проскальзывал между машинами, не замедляя и не ускоряя шага, их сплошной поток разрывался перед ним. Несколько раз скрежетали тормоза, один из водителей, высунувшись, обложил его, он только отмахнулся, даже не повернув головы. Когда я вышел из перехода на противоположной стороне кольца, Некрич давно уже ждал меня, прикрывая ладонью глаза от солнца.

Явно не обращая внимания ни на что вокруг, то и дело наступая в прозрачные мелкие лужи, Некрич тем не менее сторонился всех заляпанных грязью уличных вещей, скамеек, урн — всего, обо что можно было испачкаться, регистрируя их каким-то боковым зрением. Особенно осторожен он был в транспорте, бессознательно стараясь держаться подальше от троллейбусных стенок, от перил и поручней в метро. Среди оттепельной распутицы он двигался так, точно был одет во все новое и белое и ходить в новом и белом по грязным московским улицам давно вошло у него в привычку, доведенную до автоматизма. Некрич вообще опасался прикасаться к незнакомым вещам на улице. Когда ему нужно было позвонить из автомата в театр, он держал трубку как можно дальше от рта, боясь, как объяснил, заразиться: «Мало ли кто говорил до меня! На трубке ведь могут остаться бактерии!»

Часто нам попадались разные места, напоминавшие Некричу о сбежавшей жене. Хотя куда нам идти, решал обычно я, а он только плелся за мной, засыпая на ходу, мы то и дело натыкались на дома, где они вместе бывали, магазины, куда заходили, и телефонные будки, откуда Некрич звонил ей, словно это все-таки он водил меня по городу, как по музею своего неудавшегося брака, где он теперь экскурсовод. Проходя мимо места, где уже был с женой, Некрич останавливался, как внезапно разбуженный лунатик, и начинал вздох рассказывать, сам себя перебивая, проглатывая окончания фраз и, кажется, плохо отдавая себе отчет, что говорит, потому что истории его оставляли позади самый крайний предел откровенности, который я только мог себе вообразить. Скоро я знал уже все привычки и повадки его жены и что за слова она шептала ему на ухо во время любви, какие прикосновения заставляли ее забывать обо всем на свете, как она плакала, стонала и клялась, что у нее никогда не было никого лучше, чем он. Но, странное дело, чем больше подробностей я узнавал о ней, тем сильнее становилось подозрение, возникшее еще в ночь нашего знакомства, что все они имеют отношение только к скулостой актриске из виденного нами дрянного фильма. Я так плохо разглядел ее тогда, что сохранившийся в памяти расплывчатый силуэт без труда присваивал себе все детали, слова и истории, рассказываемые Некричем. Не то чтобы в его словах было что-то особенно неправдоподобное, скорее неправдоподобным был он сам. Из всех персонажей своих историй Некрич был наименее достоверен. Я не мог отделаться от впечатления, что он рассказывает о событиях, которым был свидетелем или, может быть, слышал о них от кого-то из участников, стараясь выдать себя за главное действующее лицо.

— Постой,— Некрич застыл у дверей ресторана в переулке,— я же узнаю это место! Мы здесь сидели однажды с Ириной, ели лобио, под самый конец, когда все у нас с ней уже катилось под откос, с тех пор ни разу здесь не был. Я тогда не мог уже больше сдерживаться, меня трясло всего, я чувствовал, что все поггло, она мне изменяет, я для нее больше никто, меньше чем никто, я тварь для нее, пустое место, а она отмалчивалась, точно и не понимая, о чем я. Меня подмывало скорее прекратить эту молчанку, вывести ее на чистую воду, набить ей по щекам, пусть даже она сразу после этого меня бросит, я к любому пустяку цеплялся, конец так конец, а она как будто и не замечала, хотя обычно заводилась с полуслова, так что это мне вдвойне подозрительно было и только подтверждало, что я прав. А в ресторане я ее наконец достал, не помню уже чем, но достал, у нее такие глаза сделались, точно она меня одним взглядом убить хочет, и, ни слова не говоря, берет со стола графин с красным вином — и мне в лицо! Но я уже был готов, успел к скатерти пригнуться, и все вино — на женщину за соседним столиком, на белое платье!

И снова это было кино, теперь скорее немое: обведенные черным, сужающиеся от ненависти глаза во весь экран, рука выплескивает графин с вином, мужчина в усах юрко ныряет под стол, черное разбрызганное пятно на широкой спине, женщина оборачивается, за ней встают еще двое, три черных круга рас-

крытых от удивления ртов на белых лицах, ссорившаяся пара улепетывает, едва не сбивая с ног официанта (черные брюки, белая рубашка), исполняющего в попытке удержать равновесие короткий танец с балансирующими на круглом подносе бутылками, другой официант бросается за ними следом, требуя оплаты, сталкивается с первым, падающие на пол бутылки, катящийся поднос, два одинаковых официанта, сидя на полу, глядят друг на друга...

— Мы тогда еле ноги унесли и так потом смеялись, что даже помирились, но ненадолго, — закончил Некрич. — Все было обречено. Любовь умирала, и ее было уже не спасти!

Он страдал. Когда он говорил о своей жене, у меня то и дело начинали ныть недолеченные зубы — напряженность его страдания отдавалась болью в открытых нервных окончаниях. Если верно, что чем счастливее человек, тем быстрее бежит для него время, то Некрич страдал так, точно хотел остановить бег времени и жить вечно, вечно мучаясь. Он страдал, как актер немого кино, компенсирующий преувеличенной жестикомацией невозможность объясниться словами. Некричу тоже не хватало слов, он чувствовал их неубедительность и утрировал интонации своей речи, наделяя их избыточной выразительностью жеста. Это и рождало во мне недоверие к тому, что он говорил, вызванное его собственным недоверием к самому себе. «Вся наша жизнь была неправдоподобна, невероятна, высосана из пальца, — сказал он однажды. — Ты мне, наверное, даже не веришь. Я и сам себе иногда не верю. Она ушла, и как будто ничего не было, словно она все с собой унесла. Я, бывает, хочу вспомнить что-нибудь, а ничего не вспоминается, кроме лица ее, глаз, родимого пятнышка возле угла рта, над самой губой, еще пальцев ее, как они простыню комкают...»

После этих слов мне открылась причина патологической откровенности Некрича: говоря, он одновременно вспоминал, рассказ был для него единственным доступом к памяти. Он был лишен прямой связи со своей памятью, нуждаясь в посреднике — слушателе. Некрич хранил свою память в замороженном виде, страдая от холода, и только присутствие собеседника подогревало его настолько, что эта глыба льда начинала таять. «Никогда не следует совершать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда». Для Некрича то, о чем он не мог бы говорить, попросту переставало существовать, забытое навсегда, поэтому он говорил обо всем.

Но чем больше он говорил, тем менее убедительным выглядело сказанное. Казалось, все ситуации его рассказов, возникающие в них люди и отношения между ними нужны ему только для того, чтобы подтвердить достоверность своего прошлого. Они были связаны между собой круговой порукой и хором свидетельствовали за него, но все голоса в этом хоре принадлежали самому Некричу, он озвучивал их всех, и от этого ценность свидетельств сводилась на нет. Занятый непрерывным доказательством самого себя, он был похож на человека, пытающегося взобраться вверх по осыпающемуся под ногами песчаному склону и тем неизбежнее сползающего вниз, чем упорнее он карабкается. Когда Некрич замолкал, например, если мы останавливались перекусить и он принимался сосредоточенно пережевывать сосиску с кетчупом, я пару раз замечал, как глаза его медленно выпучиваются, расширяясь над измазанным бурным соусом ртом, словно кусок застрял у него в горле, — в эти моменты Некрич прислушивался к шороху оползания, погружения в растущую недостоверность.

— Смотри, — он поспешно прерывал паузу, — вон женщина за соседним столиком согревает руки стаканом кофе. Ирина тоже так однажды грела.

За столиком напротив стояли две тетki в демисезонных пальто, одна из них обнимала ладонями картонный стаканчик, на вид ей было не меньше сорока пяти.

— Видишь девушку, нам навстречу идет? — сказал он в другой раз. — Подходка у нее в точности как у моей жены!

Девушка подошла к нам ближе, на ней были белая куртка и короткая юбка, в ее походке я не заметил совершенно ничего особенного.

— Мне всегда хочется спросить у них,— сказал Некрич, проводив девушку глазами,— как им не страшно ходить на таких длинных, бледных, голых ногах? Кругом же мужчины, они же смотрят...

Дул резкий ветер, я был одет тепло, но стоило взглянуть на Некрича, поднявшего воротник своего пальто, втянувшего голову в плечи и поеживающегося, как мне становилось зябко.

Ветер склонял тонкие деревья на бульваре, выгибал по дуге флаг над входом в какое-то посольство, и по той же дуге, словно изогнутые упругой силой ветра, закруглялись сверкающие на солнце трамвайные рельсы. На них было больно смотреть. Некрич щурился, покрытая щетиной кожа его щек подрагивала, точно холодный блеск касался ее, как бритвенное лезвие. Проезжая по дуге, трамвай кренился всем своим узким корпусом.

— Если мы сядем на этот номер,— сказал Некрич,— то доедем до «Новокузнецкой», а оттуда до Ирины прямая линия. Едем к ней, я давно обещал тебя познакомить. Гурия не должно быть дома, а даже если и есть, какое нам дело, мы придем к ней, а не к нему. Но скорее всего она сейчас одна, едем.

Сейчас разом рассеются все мои сомнения. В глубине души я и не придавал им особого значения, я готов был поверить всему, что говорил Некрич, если бы он сам не мешал этому тем, как он говорил. Сейчас все должно было окончательно подтвердиться.

В трамвае мы сели напротив, но, как только он тронулся, Некрич попросил меня поменяться с ним местами: он не может сидеть спиной по ходу движения, ему кажется, что он не едет, а проваливается со страшной скоростью в дыру пространства, выскальзывающего с обеих сторон. Мы поменялись, и я понял, что он имел в виду, хотя раньше ничего подобного не испытывал. Чувствуя, как неотвратно падаю вниз спиною, я постарался не показывать этого и, только когда подъезжали к метро, заметил, что сижу, так же сжавшись и ссутулившись, как на моем месте Некрич, словно ожидая удара сзади. «Ничего, ничего,— сказал я себе,— сейчас все встанет на свои места».

Проходя на станцию мимо контролера, Некрич показал ему мой проездной билет, а я его. Протягивая проездной Некрича, я все время ждал какого-нибудь подвоха, например, что он окажется ненастоящим, подделкой, но контролер и бровью не повел.

На эскалаторе Некрич стоял впереди меня, голова его маячила передо мной, свет ламп, мимо которых мы проезжали, гладил его по волосам от левого уха к затылку. Пару раз он оборачивался и улыбался. Падение, начавшееся в трамвае, продолжалось замедлившись, словно завязнув в движении эскалатора. Глядя Некричу в затылок, проплывающий из тени в свет и снова в тень, я подумал, что как бы преследую его, не сходя с места, а он, оставаясь таким же неподвижным, ускользает от меня.

Кажется, я и не доверял ему прежде всего потому, что навязчивая откровенность, с которой Некрич выворачивал для меня наизнанку свою жизнь, делала его абсолютно недосягаемым, будя во мне азарт преследователя.

Ветер из тоннеля шевелил волосы ожидающих поезда. Никто из пассажиров, снующих сквозь трубу станции из конца в конец, не обращал внимания на опрокидывающийся у них над головами ковш с добела раскаленным металлом, озаряющим резким светом лица трех задравших головы сталеваров, никто не видел, как жутко раскачивается на цепях, когда проходишь под ним, красный гусеничный трактор «Сталинец», то ли спускаясь, то ли поднимаясь сквозь восьмигранник мозаики на поверхность земли, никто не замечал, что прямо на них пикирует самолет с набрякшей в ожидании падения голубой каплей фюзеляжа и летчиком, который спокойно стоит на крыле, салютуя трем другим самолетами.

там, взмывшим на головокружительную высоту. Гул поезда, отошедшего от противоположного перрона, стремительно сужался, проскальзывал в отверстие тоннеля за последним вагоном, а потом сразу разрастался, заполняя черные подземные пространства, охватывая станцию со всех сторон, переходя в глухое гудение ее сводов, светильников, стен с темными гербами и батальных барельефов, где высаживались десантники, строчили пулеметы, взнуздывали лошадей кавалеристы, устремлялись вперед на танковой броне пехотинцы. Затем это гудение утолщалось, подбитое изнутри, как шуба мехом, звуком приближающегося состава. Поджидая его, мы сидели с Некричем на беломраморной скамье с высокой спинкой, прислонясь к которой можно было почувствовать, как грохот подходящего поезда наполняет тело мелкой дрожью, точно гул самой истории.

В вагоне Некрич стал постепенно клевать носом. Сначала с видом усталого презрения он смотрел вокруг себя из-под полуприкрытых многослойных век, затем веки слиплись, нижняя губа оттопырилась, лицо набрякло сном и опустилось подбородком на грудь. Несколько раз он пытался, не просыпаясь, поднять голову на тонкой шее, но она снова падала, неподъемная. Сон смыл с лица Некрича выражение презрения, оно размякло, очистилось, однажды он даже заулыбался с закрытыми глазами, неуверенно погладив себя при этом рукой по колену.

Проснулся он с точностью разведчика за одну остановку перед той, где нам было выходить. Встав у дверей, мы одновременно отразились рядом в двух черных стеклах с надписью «не прислоняться» на уровне груди. Некрич смахнул ладонью волосы со лба, посмотрел в глаза своему отражению и ухмыльнулся — оно внушало ему уверенность. Меня же мое отражение — человек среднего роста, между тридцатью и тридцатью пятью, без особых примет, если не считать черной дыры между двумя передними зубами от выпавшей пломбы, — заставляло, какмыш в нору, забиться в глубь своей внешности, настолько мало я чувствовал с нею общего. Разве что дыра между зубами меня как-то с ней связывала.

— Послушай, надо бы купить что-нибудь, — сказал Некрич, когда мы вышли из метро, — я имею в виду вина, что ли. Неудобно приходиться с пустыми руками.

Зашли в магазин, Некрич выбрал бутылку красного, я заплатил; когда клал сдачу в карман, он сказал:

— Знаешь что, Игорь, а не ссудил бы ты мне денюжат? А то я совсем на мели сижу, еды купить не на что, скоро с голоду начну пухнуть... До ближайшей полочки.

Видя, что его предложение не вызывает у меня особого восторга — с уроков немецкого я и сам жил не жирно, — Некрич поспешил добавить:

— Я верну, клянусь! — Он приложил ладонь к сердцу. — У меня рука счастливая: деньги, которые через мои руки проходят, потом приносят прибыль, вот увидишь! — К лежащей на груди ладони он поднес вторую ладонь. — Ты мне веришь?

— Сколько тебе?

— Дай, сколько не жалко.

Я дал ему денег, уверенный, что больше никогда их не увижу. Пройдя через пустырь, мы свернули в переулок, и Некрич остановился у подъезда хрущевской пятиэтажки.

— Вот мы и у цели. Сейчас познакомишься с моей женой.

На четвертом этаже он подошел к одной из дверей, приложил к ней ухо, послушал, кивнул мне, мол, все в порядке, хотя я не расслышал из-за двери ни звука, и нажал звонок. Он позвонил коротким, потом длинным. Снова коротким. Снова длинным. В промежутках между звонками, изогнувшись вопросительным знаком и вывернув шею, он прижимался ухом к замочной скважине и снизу вверх глядел на меня, напряженно улыбаясь. Когда ему казалось, что он разли-

часть за дверью какое-то движение, улыбка его вздрагивала. Стоило мне пошевелиться, как Некрич морщился, точно я наступил ему на мозоль, шипел сквозь зубы, прикладывая палец к губам, чтобы я не мешал ему слушать, и я застывал, повинуюсь. Наконец ему надоело, он выпрямился и сказал, не глядя мне в глаза:

— Не повезло нам сегодня. Носят ее черти где-то...

Мы еще немного помялись на лестничной площадке, будто Некрич ожидал от меня разрешения уйти. Чувствуя, как все это неубедительно, он вдруг расширепел:

— Черт, шляется где-то, мать ее, а я тут на лестнице, как собака! — И вмазал по двери ногой.

Это был уже явный перебор, к тому же удар вышел неудачно, Некрич отшиб себе ногу и, схватившись за нее обеими руками, запрыгал на другой, весь перекосившись от боли. Противоположная дверь приоткрылась на цепочку, и оттуда раздался испуганный старческий голос:

— Уходите отсюда, а то милицию позову!

— А ты заткнись, ведьма старая, — не унимался Некрич, — не твое дело!

Дверь захлопнулась.

Выходя на улицу, я опустил руку в карман и сжал в кулаке лежавший там ключ. Это был ключ, потерянный Некричем в видеозале, тот самый, что мы так долго искали на полу под креслами, — на следующий день я обнаружил его в кармане своей куртки. Очевидно, он соскользнул туда с пальца Некрича, и поиски, приведшие в конце концов к нашему знакомству, были с самого начала напрасны. Сперва я хотел было вернуть его, но при следующей встрече забыл, а потом передумал — при том недоверии, которое вызывал у меня Некрич, ключ был как бы единственной против него материальной уликой, единственным, что было несомненно и не сводилось к словам, из которых он, кажется, состоял весь без остатка.

— Ты что, уже уходишь? Нет, подожди, куда ты торопишься?!

Я попытался распрощаться с Некричем, но он не хотел меня отпускать.

— Ну не застали, и черт с ней, в следующий раз застанем. К чему она нам, когда у нас бутылка вина есть?

Начинало быстро смеркаться. Мокрые подоконники и лежавшие вдоль улицы железные трубы отражали тусклый свет пустынного неба. Пунцовые задние огни тормозящих у светофора машин вытягивали жилы из живота. Горчицная штукатурка послевоенных домов становилась еще горше. Большая собака с мокрой свалывшейся шерстью, бездомная или потерявшая хозяев, пробежала мимо нас по краю тротуара с озабоченным видом, как будто ей было куда бежать.

— Послушай, Игорь, не уходи. Я знаю тут неподалеку чудесный скверик со скамейками, идем туда, посидим, выпьем. Понимаешь, я ненавижу такие сырые сумерки, я просто не выношу быть в это время один, совсем не могу, такая тоска... Не оставляй меня, идем в скверик.

Некрич взял меня за рукав.

«Чертов шизофреник, — подумал я. — У всех у них как сумерки, так тоска. Связался себе на горе, теперь не отделаешься».

— Или, знаешь что, пошли ко мне. Ты ведь ни разу еще у меня не был, пошли сейчас.

Я устал в этот день от Некрича, мне хотелось побыстрее с ним расстаться.

— Нет уж, давай лучше в скверик.

Несколько скамеек стояло среди мокрых деревьев неподалеку от трамвайного круга, мы сели на спинку одной из них, открыли бутылку. Красное вино в бутылке зеленого стекла было почти черным и очень кислым на вкус. Некрич, как обычно, говорил о своей мифической жене: она, конечно, тоже любила красное, особенно грузинское, лучше всего с мясом, он готовил для нее по выходным, специально покупал вырезку на рынке и, пока она ела, смотрел на нее, забывая есть сам (в последнее мне совсем слабо верилось).

— Я любил ее не только как жену, но как будто она была дочь моя, а она меня, как будто я сын ей, во всяком случае, мне хотелось, чтобы мы любили друг друга не просто как муж и жена, а как родители детей любят, словно мы дети друг друга... Но, видно, нельзя одновременно быть мужем и сыном, поэтому все и рассыпалось...

Развернувшийся на кругу трамвай — аквариум застывшего света среди мутной полутьмы — остановился напротив нас. Из него вышел, едва не упав, сильно пьяный мужчина в расстегнутом кожаном пальто, с «дипломатом» в руке, на лице его были написаны такие усталость и скука, какие возможны только в сырые зимние сумерки. Шатаясь из стороны в сторону, он словно отшвыривал свое грузное опостылевшее тело, пытаясь отделаться от него раз и навсегда. Наконец он добрался до ближайшей скамейки, упал на нее, кинул рядом «дипломат», потом раскрыл его, достал журнал «Плейбой» и с тоскливым отвращением стал перелистывать. Рядом зажглись одновременно два белых фонаря, сгустив тьму за собой. Некрич, примолкнув, следил за листаемыми страницами остановившимся взглядом, словно глаза его заморозил скользящий по страницам слепой блик люминесцентного света. Трамвай, который давно уже должен был тронуться, стоял неподвижно, похоже, он встал здесь навсегда. Пассажиры в нем сидели не шелохнувшись, точно спали с открытыми глазами. Мужчина отложил журнал на мокрую скамейку и смотрел на снег перед собой. Я несколькими глотками допил оставшуюся в бутылке черную кислятину и увидел, как от Некрича, застывшего на спинке скамьи, отделился другой, маленький Некрич, тот самый, из «Бориса Годунова», в крестьянском армячке, прошел, ступая лаптями по отсвечивающей плоской воде луж, к скамейке, где развалился, глядя сквозь него, мужчина с «Плейбоем», и стал разглядывать журнал. Он внимательно, не мигая, рассматривал женщин, осторожно переворачивал страницы одним пальцем. Пару раз послонявил его языком. К одной из фотографий прикоснулся левой рукой и погладил.

## 2

В вагоне было битком. Мы договорились встретиться с Некричем на «Проспекте Маркса», и я стал заранее протискиваться к дверям. Выставив вперед плечо, я пробирался между плотно сжатых мужчин и женщин, спрашивая у обращенных ко мне затылков, выходят ли на следующей. На «Кировской» набилось еще народу, меня стиснули со всех сторон так, что не пройти, сырой воротник женского пальто из искусственного меха ткнулся в лицо. Среди вошедших была невысокая девушка, отчаянно отталкивающая напавших на нее других пассажиров, закусив от досады губу. Оттеснив в сторону пальто с меховым воротником, я оказался с нею рядом. За это время она уже успела поругаться с теткой, возмущавшейся: «Да не толкайтесь же!» «А вы не ложитесь на меня!» «Да кто на вас ложится-то?» «Вы и легли, как на раскладушку!» Короткие каштановые волосы, родинка возле угла рта, над самой губой. «Я на вас легла?!» «Вы, вы, совсем раздавили!» Ресницы, густо покрашенные тушью. Стоявший между нами мужчина сделал попытку пробиться вперед, я занял его место, и нас прижало друг к другу. Мне показалось, а может, так оно и было, что тоннель, по которому летел наш поезд, стал круто забираться к поверхности земли. Верхние пуговицы ее платья были расстегнуты, я разглядел под ним синий бархат вечернего платья. «Может быть, это еще не она, мало ли их, с родинками», — подумал я, но решающее доказательство правдивости Некрича было вдавлено в меня с такой силой, что места для сомнений не оставалось. Я чувствовал, как она дышит. Она жевала резинку, и мой рот начал наполняться слюной, словно мы уже срослись с ней в сиамских близнецов с общей системой пищеварения. Ее виски пульсировали у меня перед глазами. С трудом разлепив склеенные слюной и неуверенностью губы, я тихо сказал ей в самое ухо:



— Ира...

Она подняла глаза и внимательно посмотрела мне в подбородок:

— Разве мы знакомы?

Сомневаться дальше было бессмысленно.

— Нет, не знакомы. Но я почти все о вас знаю.

— Вот как?

Она попыталась создать между нами хоть какую-то дистанцию, выдохнув воздух и втянув живот. Но через несколько секунд ей пришлось снова вдохнуть, и пуговицы ее плаща четко отпечатались у меня на груди.

— Я знаю, например, что вы любите мясо с красным вином, особенно с грузинским,— припомнил я первое попавшееся.

— Я много чего люблю, и грузинское вино тоже.

Она смотрела мне в горло. Ее колени упирались в мои.

— Вы любите бывать в ресторане «Дома туриста». Хорошо играете в преферанс. Вы верите в приметы, например, складываете цифры автобусных номеров и по важным делам стараетесь ездить на четных. Часто выдумываете приметы сами. Верите, что родимое пятно под левой грудью приносит вам удачу...

Она перестала жевать.

— Вы любите неприличные анекдоты. Еще песни в исполнении Аллы Пугачевой. Однажды вы плакали на «Волшебной флейте».

— Понятно,— сказала она,— вы это все от мужа моего знаете, больше не от кого.

— В семнадцать лет вы попали в аварию, и с тех пор у вас остался шрам на ключице слева. Хотя вы знаете, что под платьем его не видно, если кто-то с вами рядом, вы стараетесь повернуться к нему правой стороной. Иногда вам кажется, что шрам проступает сквозь материю и всем заметен. Вы любите пирожное эклер и панически боитесь ночных бабочек.

Нос у нее был, видимо, заложено, потому что дышала она слегка приоткрытым ртом. Я ощущал на своей шее ее выдох. Третий встал между нами, участвуя своим молчанием в нашем разговоре. Он был частью меня, но, кажется, меньше подчинялся мне, чем я ему, и то, что я говорил, все больше следовало его настырной воле.

— Вы не любите заниматься любовью при свете. Вам кажется, что у вас слишком много волос на ногах, вы считаете, что это некрасиво. Вы хотели бы быть похожей на Венеру Кранаха, которую вам показывал Некрич. Вы сказали, что это идеал. Вас возбуждают прикосновения к шее, к ушам и за ушами.

Она вновь сделала попытку отодвинуться, но в ответ ее втиснули в меня еще сильнее.

— Сволочь! — сказала она.— Никогда ему не прощу. Предатель! Убить его мало!

— Вы уверены, что вам не дожить до сорока лет.

— Он все соврал! Не хочу я быть похожей ни на какую Венеру! И буду жить до ста лет! До ста пятидесяти!

— По крайней мере однажды вы пытались покончить с собой, проглотили пачку снотворного, потом испугались, сами позвонили в неотложку... Еще до встречи с Некричем, когда с первым мужем жили...

Я сам был удивлен тем, как много запомнил из рассказов Некрича.

— Вы боитесь боли, врачей, операций. Боитесь наркоза, потому что думаете, что, уснув под наркозом, можно не проснуться...

— Не боюсь,— сказала Ирина,— ничего я не боюсь.

— А я боюсь. Мне уже давным-давно нужно к зубному, а я все не наберусь смелости. Как представлю себе очередь в кабинет, стоны из-за двери, бормашины внутри, так думаю, лучше потерплю еще, ноют зубы — и пусть ноют, к этому привыкаешь...

С расстояния в несколько сантиметров она смотрела в упор на мой рот. От ее взгляда слова застревали, я начинал чувствовать плоть слов, заполнявших рот

мякотью размоченного в чае дешевого печенья. За спиной кто-то проталкивался к дверям, меняясь с другими местами, но вдруг поезд заскрежетал и остановился в тоннеле. Всякое движение в вагоне сразу прекратилось, потеряв смысл, все замерло, наступила тишина. В этой тишине я увидел, как по Ириной шее медленно распространяются снизу темные пятна. Уши ее тоже покраснели.

— Ненавижу метро,— сказала она тихо, но с такой силой, точно речь шла о смертельно обидевшем ее человеке.

— А почему вам приходится на нем ездить? Разве у Гурия нет своей машины? Некрич говорил мне, что ваш нынешний друг сказочно разбогател за последнее время.

— Он разбил ее неделю назад. Пьяный был в стельку, козел... Машина вдребезги, а ему хоть бы что. Лучше б наоборот!

В дальнем углу вагона кто-то закашлялся, и на этот кашель, как эхо, сразу же ответил из противоположного угла другой, более хриплый.

— Теперь нам отсюда не выбраться,— сказал я,— поезд застрял навсегда. Мы останемся тут замурованными до конца своих дней, зажатые, как селедки в банке. Или, может быть, откроют двери, и мы будем выходить по тоннелю, мне рассказывали, что такое теперь случается. Сейчас ведь поезда то и дело застревают. Вообще удивительно, что метро еще все-таки работает, а не разваливается, как все остальное...

Оттого, как она глядела на мои губы, слова теряли для меня смысл, едва с них срываясь. Поэтому было все равно, что говорить.

— Пойдем гуськом по тоннелю, а там, я слышал, крысы бегают размером с кошку,— решил я поугадать ее, чтобы увидеть реакцию и вернуть таким образом своим словам смысл.

— Я не боюсь крыс размером с кошку... Если я чего и боюсь... так это такой давки... Мне не страшно умереть до сорока, но очень страшно умереть в общей куче... где меня потом даже не отличат от других...

Она говорила очень тихо, вкладывая мне в ухо с большими паузами слово за словом, но оттого, что другие пассажиры вокруг молчали, казалось, слова ее разносятся на весь вагон и остальные внимательно к ним прислушиваются. Темный цвет поднялся еще немного выше по ее шее.

— Там, где много народа зажато в небольшом пространстве, часто приходят в голову такие мысли. Большие скопления людей всегда заставляют думать о катастрофе. Тройная запертость — вагона в тоннеле, тел в вагоне и нас внутри своих тел — сама собой вызывает мысль о взрыве.

— Некрич мне сказал, что я погибну при взрыве, в результате несчастного случая.

— Вы верите в его предсказания?

Поезд издал протяжный стон, сделал несколько коротких рывков и наконец тронулся. Ирина попыталась глубоко вздохнуть, но мы были так сжаты, что у нее это плохо получилось. И все же с того момента, как поезд пошел, казалось, стало чуть свободней.

— Иногда верю. Хотя он редко говорит что-то определенное. Он делает. Спросишь — зачем, он сам толком не знает, отвечает — на всякий случай, или вообще ничего не говорит. Но он как-то чувствует, я в этом уверена, у него нюх на то, что случится. Перед голодной зимой, например, когда в магазинах одна морская капуста осталась, он стал крупы закупать чуть не мешками. Я ему: «Куда нам столько?» — никто ж не знал тогда, к чему дело идет, продуктов на прилавках было навалом, а он отвечал только, что пригодится. Потом всю зиму на этих крупах прожили, не жаловались.

Поезд, наверстывая упущенное, мчался быстрее обычного, от грохота закладывало уши, в дробный гул вплетались лезвия и стрелы шипящего свиста. Ирина хотела высвободить руку, чтобы поправить свесившуюся на лоб прядь волос, но не сумела и отбросила голову так, чтобы прядь сама легла на место. У

нее были карие глаза. Поезд взлетал, в черных окнах проносились подземные звезды. Я вдруг понял, какими глазами смотрел на нее Некрич.

Станция, на которую мы выехали, была «Парком культуры».

— Я же свою остановку давным-давно проехала, — спохватилась Ирина. — Меня Некрич ждал на «Проспекте Маркса». Он меня сегодня в театр позвал, я обещала прийти, специально бусы новые надела...

— Меня он тоже звал на сегодняшний спектакль, но теперь уже поздно возвращаться, мы опоздали.

Вместе с другими выходящими нас вынесло из вагона на платформу. Ирина растерянно оглядывалась, точно оказалась на этой станции впервые. Толпа разделила нас, и я с минуту наблюдал, как она смотрит то в одну, то в другую сторону, не находя меня. Она была не похожа ни на актрису из того фильма, что мы видели с Некричем, ни на женщину, которую я пытался представить себе по его рассказам. Я не ожидал ни такого резкого разворота шеи, ни такого рта, ни таких глаз. Но именно ее несхожесть с его описаниями действовала неопровержимее всех подтвердившихся историй: реальность убеждает в своей подлинности, обманывая ожидания. На лице ищущей меня Ирины вдруг появилось выражение полной беспомощности и потерянности в толпе, и я понял, что возникшая между нами связь так просто не прервется. При этом мы оставались, в сущности, совершенно чужими людьми, и когда она наконец меня заметила, то едва улыбнулась.

— Может быть, мы все-таки еще успеем в театр?

— Наверяд ли. Спектакль уже начался, Некрич давно за сценой, нас некому будет провести, нас просто не пропустят.

— Жалко. Никто теперь моих новых бус не увидит. Для чего я их надевала?

— Здесь есть поблизости одно неплохое кафе. Можно, например, пойти туда.

— Это не там, где чучело медведя у входа?

— Вроде бы да, но я уже смутно помню. Я давно там был.

— И я там была, кажется, еще с первым мужем.

— Так идем? Посидим, попьем вина...

— Я хочу вина, — подумав, решила Ирина.

Когда мы вышли наружу, было уже совсем темно. Давя жидкую снежную кашу, пошли в глубь дворов, в направлении, где, как мне представлялось, находилось кафе. На ходу продолжали разговаривать, я спросил ее, почему она оставила Некрича, и, отвечая, Ирина так увлеклась, что забыла смотреть под ноги и пару раз поскользнулась, я удержал ее в последний момент.

— Почему я ушла? Да он же больной, ненормальный. Как с ним жить?! С ним ни одна женщина жить не смогла бы, будь она хоть святая! Он меня своей ревностью до истерик доводил, до нервного тика. Он же одержимый был, особенно под конец, подозревал, что я ему со всеми моими друзьями изменяю, да что там с друзьями, он меня ко всему, что движется, ревновал и к тому, что не движется, тоже. И главное, пока в самую печенку не залезет, не успокоится!

Мы прошли еще несколько дворов, и там, где я ожидал увидеть кафе, его не оказалось. Все дворы были похожи между собой, везде капала и хлюпала вода, всюду блестели в свете окон мокрые каркасы деревьев.

— Нет, от такого, как Некрич, не только при первой возможности к кому угодно сбежишь, от него босой на Северный полюс удерешь! Куда мы, кстати, идем?

— Не знаю, я иду за вами. Вы же сказали, что бывали в этом кафе.

— Ну вот, а я думала, что это я за вами иду и вы меня сейчас выведете. Я же в нем сто лет назад была...

— А я двести.

— Так можно долго ходить друг за другом.

— Всю ночь.

— Значит, мы шли, не зная куда? Получается, мы заблудились?

— Получается.

Мы стояли в неправильной формы дворе, зажато среди невысоких домов, с гаражами в одном его конце и выходящей на освещенную улицу низкой аркой в другом. Свет сквозь арку падал на три мусорных бака у стены, за которыми происходило какое-то кошачье шевеление.

— Бывают же такие дни,— медленно сказала Ирина,— когда ничего не выходит. Хотели в театр пойти и проехали остановку, хотели в кафе попасть и не нашли...

Она говорила без досады, скорее размышляя вслух, почему так случается, а я думал о том, что все словно специально складывается одно к одному для того, чтобы мы очутились с ней в этом наполненном кошачьими шорохами незнакомом дворе.

— Смотрите, это не ваш муж случайно в том окне? — показал я ей на долговязый силуэт, курящий на лестничной площадке.

— Где?! Не может быть...— Она сделала несколько шагов в сторону, чтобы лучше рассмотреть, и вышла из темноты в косо падающий из окна свет.

— Да я пошутил. Как ему здесь оказаться? Некрич сейчас за кулисами декорации таскает.

— От него можно всего ожидать. Я бы не удивилась, если б он, отпросившись из театра, караулил меня здесь.

— Как бы он мог вас здесь караулить, если мы сами не знали, что сюда попадем?

— Мы не знали, а он мог знать... С него станется...— неопределенно сказала Ирина.

Она стояла на узком клочке освещенного пространства посреди темного двора, как на сцене. Повернутое к окну лицо было еще ярче и резче, чем казалось мне раньше.

— Нет, это, конечно, не он, совсем даже и не похож...

Я вдруг почувствовал, что ее сияющее безбровое лицо с розовыми скулами и широко раскрытыми глазами почти неприлично в своей обнаженности. Не выдержав, я шагнул из темноты к ней на сцену, необратимо превращая себя этим шагом из зрителя в действующее лицо, и, протянув руку, коснулся ее щеки. Она отстранилась, но не сразу, а медленно, проведя щекой по моей ладони.

В нужный момент возникло и кафе с чучелом медведя, попавшись нам на обратном пути к метро. Внутри сидела в углу, развалясь на стульях, компания коротко стриженных парней в кожаных куртках. Двое из них что-то не поделили, один зажал голову второго под мышку и, крихтя, пригнул ее к столу, чтобы раздавить его носом или глазом взятое на закуску к водке яйцо. Остальные, смеясь, наблюдали.

— Семены,— презрительно отозвалась о них Ирина.

— Почему? — не понял я.

— Я их всех зову семенами. Мелкое жулье, всегда на подхвате, по ним же все сразу видно.

— А ваши друзья, Гурий и прочие — они такие же?

— Один в один. У них все силы уходят на то, чтобы сохранять непроницаемое выражение лица, что бы ни случилось. В этом весь смысл их жизни. И Гурий такой же, хоть и разбогател за последние полгода. Раньше у него единственная была отрада — выкидывать на ветер все до последнего копыя, демонстрируя свою щедрость, чтобы все им восхищались, любит он, когда им восхищаются. А сейчас и этой не стало, сколько по кабакам теперь ни просаживай, всего не продашь. Вот он с горя и куражится... и меня изводит...

Ирина взяла стакан с вином и потерлась щекой о стекло.

— Сколько раз я ему говорила, давай квартиру купим, жить ведь негде, перебиваемся кое-как на одной площади с его матерью. Нет, ему нужно каждый месяц новую иномарку покупать, чтобы тут же разбивать ее вдребезги и выбрасывать. У того же Некрича можно было его квартиру выторговать, не нужна ему одному трехкомнатная в центре города, он и сам ее давно продать собирается, а себе купить однокомнатную или вообще уехать с деньгами. Он же считает, что из России бежать нужно, пока не поздно. Меня с собой звал.

— А что вы?

— Куда я отсюда денусь?.. Хотя Некрич, может быть, и прав, я в его чутье сколько раз убеждалась. Но пока он только говорит, что уедет, это еще ничего не значит, он сам никогда не знает, как завтра поступит. У него же не семь пятниц на неделе, а семьдесят семь, если не больше. Когда мы с ним вместе жили, он ложился вечером спать с одним намерением, а просыпался с другим, прямо противоположным. Однажды мы решили на юг поехать, на побережье, уже билеты взяли, а за три дня до отъезда он говорит: не хочу я на солнце жариться дотла, едем лучше в Прибалтику. Вдруг, ни с того ни с сего, без всякого повода. Заставил меня продать билеты, и поехали мы в Юрмалу, а потом в газете прочли, что как раз там, куда мы сначала собирались, произошел какой-то выброс сточных вод в море, все пляжи отравлены, и с тех, кто там купался, кожа клочьями слезает... Он везучий, Некрич, я второго такого везучего не знаю, как он. Я до сих пор, когда мне нужно, чтобы по-моему вышло, в мелочах или по-крупному, всякий раз говорю про себя: «Некрич, милый, не выдай»,— и кулак сжимаю.

Ирина показала мне стиснутый правый кулак.

— Помогает?

— Иногда, хотя и не всегда. Я ж не он. Некрич как-то так все под себя подстраивает, хотя ничего специально для этого и не делает, что все в его пользу оборачивается. Хотел он, чтобы я сегодня к нему в театр пришла, и Гурий, который ни за что в жизни меня бы не отпустил, убрался на целый день по каким-то своим делам.

— Но ведь в театр вы так и не попали...

— Да, не попала...— Она задумалась, сделала длинный глоток.— Но, может быть, он и не этого хотел...

— Вы просто еще любите его,— сказал я,— вот вам и кажется, что он все для вас подстраивает.

Ирина стала возражать, даже рассмеялась над таким нелепым предположением.

— Любить Некрича?! Он же неменяемый! У него что ни день — новая навязчивая идея. Ему не жена нужна, а сиделка! Любить Некрича — скажете тоже...

Смех ее был слегка хриловатым. Держа на весу стакан с вином, она расплескала несколько капель на полированную крышку стола, стала промокать их салфетками. Темно-красные пятна расплылись по белой бумаге.

Стриженные парни в углу, которых Ирина назвала семенами, взяли большой кремовый торт и, разрезав, разобрали каждый по куску, один, последний, остался лежать посреди стола. Я вдруг поймал себя на том, что мне очень хочется именно этого никем не тронутого куска. Семены, смеясь, уминали торт, стирая крем с губ и со щек и облизывая пальцы.

— Все-таки люблю я таких,— сказала Ирина, проследив мой взгляд,— с ними бывает весело.

Она скомкала мокрые красные салфетки и бросила их в пепельницу.

После кафе я проводил ее до дома, того самого, где мы уже были с Некричем, никого не застав. Все совпадало, подтверждалось, повторялось, все, что мне представлялось обманом и фантазией Некрича, оборачивалось действительностью. Мы миновали магазин, где брали с ним вино, а когда шли через пустырь, я услышал глухой гул снизу из-под земли и, остановившись, почувствовал, что

земля под ногами дрожит. Я спросил Ирину, что это, она ответила, что под пустырем на небольшой глубине проходит метро, поэтому он, наверное, и остался незастроенным. «Рано или поздно от непрерывной вибрации почва здесь просядет, — подумал я. — А они строят все новые линии. Когда-нибудь целые куски города начнут проваливаться под землю. Метро продолжает разрастаться, и со временем оно поглотит весь город». Ночное небо над пустырем, подсвеченное снизу огнями окон и фонарей, было заметно светлее, чем над улицами, можно было даже разглядеть неподвижно громоздящиеся очертания туч, мутно-серые на черном. Прежде чем расстаться, мы обменялись телефонами, и, не найдя блокнота, Ирина записала мой номер ручкой прямо на ладони, как школьница подсказку. Улыбнулась на прощание, глядя сквозь меня, мыслями явно уже дома, сочиняя, что скажет поджидающему ее Гурию, сказала: «Увидимся», — селкунду помедлила и была такова.

— Ну-у, — протянул Некрич, оторвал зубами кусок шашлыка и принялся пережевывать его, целиком уйдя в жевание — все лицо его пришло в движение, кроме застывших глаз, как два винта, удерживающих ходящую массу желваков, губ и щек от того, чтобы разбехаться и распасться окончательно, — а прожевав, извлек изо рта завязшее меж зубов мясное волоконец, внимательно разглядел его, прищурившись, держа двумя пальцами, аккуратно отложил на край тарелки и только после этого закончил: — Как тебе понравилась моя жена?

— Откуда ты узнал, что мы с ней встретились?

— Шашлык — дрянь, — сказал Некрич. — Халтурщики! — И, глядя на девушку в углу шашлычной через несколько столиков от нас, ответил: — Я и не знал, просто предположил. Я же вас обоих ждал, вы оба не пришли. Зато теперь знаю. Так как?

— Ничего себе жена. Красивая.

— Обо мне что-нибудь говорила?

— Говорила.

Скривив рот так, что кожа под правым глазом собралась в складки, он вытаскивал из зубов еще одно волоконец и погрузился в его созерцание, точно это была единственная на свете вещь, заслуживающая внимания. В его правом глазу, сощуренном больше левого, была тоска человека, знающего все наперед, который если и спрашивает, то только чтобы разговор поддержать.

— Что же?

— Что ты невменяемый, жить с тобой было невозможно, ты изводил ее ревностью...

— Стервь! — сказал Некрич. И, переведя взгляд на меня, повторил: — Стервь.

Девушка в углу шашлычной, которую Некрич некоторое время рассматривал, рубала мясо в такт играющей музыке. У нее было слегка полноватое лицо необыкновенно здорового нежно-розового цвета с большими глазами.

— Как по-твоему, — Некрич кивнул в ее сторону, — похожа на Ирину?

— Ни капли.

— Как бы не так! Очень даже похожа!

— Не вижу ни малейшего сходства. Она толще твоей жены раза в два по крайней мере.

— Это все ерунда, второстепенное, ты не на то обращаешь внимание. Она ест точно так же, как Ирина, жует, облизывается, в этом характер, самое главное, смотри, смотри...

Девушка как раз облизнула полные губы и глубоко вздохнула, глядя на последний оставшийся на тарелке кусочек шашлыка. Ее розовое лицо было печально.

— Она прекрасна! Сейчас я с ней познакомлюсь... — И, лавируя между круглыми столиками, Некрич решительно двинулся к девушке.

Я остался, где был, наблюдая, как Некрич подходит, небрежно облакачивается, становясь боком, локтем о столик, заводит разговор — из-за музыки я не слышу ни слова, — берет из стакана салфетку, небрежно вертит ее между пальцами. Девушка сначала хмурится, у нее почти такие же густые брови, как у Некрича, досадливо передергивает ртом. Он шутит, видимо, удачно, потому что она улыбается, показывая крупные здоровые зубы. Вдохновленный этим, Некрич начинает разглагольствовать, его правая рука с белой салфеткой порхает над столом. Девушка смеется, прикрывая пальцами рот, изумленно следит за его манипуляциями. Потом она прижимает ручку к щеке, Некрич, улыбаясь, смотрит на нее так, что его глаза, похоже, вырастают в размерах. На этом немое кино мне надоело, я присоединился к ним, и Некрич меня представил. Девушку звали Катя, она слегка напоминала мне актера Калягина в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя».

— Говорил ли вам кто-нибудь, Катя, — продолжал Некрич прерванный моим появлением монолог, — что вы похожи на женщин, которых так любил рисовать Дейнека, а он, как все великие художники, знал в них толк, — сильных, жизнерадостных женщин победоносных времен? Рядом с такими женщинами мужчина чувствовал себя защищенным, не то что с нынешними.

На Катином лице застыла недоумевающая улыбка. Очевидно, она решила воспринимать как шутку все, что говорил Некрич.

— Знаете что, заходите как-нибудь ко мне, я живу в самом центре, очень удобно добираться. У меня масса хорошей музыки, есть редкие записи. Вам кто больше нравится: Шостакович или Прокофьев? — Катя протянула было руку за последним куском шашлыка, но, озадаченная вопросом, взять его не решилась. — Не знаете? Ну не важно. Лично я предпочитаю Малера, но, как говорится, дигустибус нон диспутантум, о вкусах не спорят. Но телефон-то у вас есть?

Некрич извлек из кармана ручку и блокнот, и Катя безропотно назвала свой номер.

— А теперь мы вынуждены вас покинуть. Мне нужно торопиться в театр, если опоздаю, сорвется спектакль. Но мы созвонимся, обязательно созвонимся... Я не прощаюсь...

Едва мы вышли из шашлычной, Некрич спросил меня:

— Что, она тебе не понравилась?

— Да нет, почему же... О вкусах действительно не спорят...

— Я вижу, вижу, не понравилась. Но ты же ничего не понимаешь! Избыток разборчивости есть признак приближения импотенции! Хотеть спать во что бы то ни стало с одними красивыми женщинами — все равно что требовать, чтобы гречневую кашу подавали только в севрском фарфоре. Женщины с журнальных обложек годятся разве что для украшения метрополитена — больше с ними делать нечего. Если ты со мной не согласен, то ты в данном вопросе профан.

— Зато ты эксперт.

— Да! — Некрич даже приостановился, чтобы подчеркнуть важность того, что собирался изречь. — В этом мире я доверяю одним женщинам. Только они никогда меня не предадут! Я уверен, что все женщины, которых я когда-либо знал, всегда будут за меня!

— А как же твоя жена?

— Ирина — она другое дело... Совсем другое... Она у меня на особом счету...

Подтянув обеими руками брюки, он стал, быстро ступая на каблуках, переходить на прямых ногах запрудившую всю улицу лужу. Промчавшаяся машина обдала нас брызгами. Разгневанный Некрич, обернувшись, погрозил ей вслед высоко поднятым кулаком.

Через несколько дней он позвонил мне и сказал:

— Она будет у меня сегодня вечером с подругой.

— Кто она? Та полная девушка из шашлычной?

— Она самая, Катя, женщина Дейнеки. Приходи, я очень тебя прошу, возьми на себя подругу.

Так я впервые побывал у Некрича дома. Он и вправду жил в самом центре, окнами на улицу Горького, которая просвечивала сквозь протертые во многих местах бархатные шторы фонарями и огнями машин. На дверях комнат висели гобелёновые, тоже полуистертые портьеры. Когда я пришел, Некрич был занят тем, что доставал из серванта карельской березы и расставлял на покрытом вышитой скатертью с бахромой круглом столе рюмки, давно не чищенное столовое серебро и темно-синие чашки с позолотой. Из пяти ламп висевшей под высоким потолком люстры с медными цветами и какими-то гирляндами три не горели, а слабого света двух оставшихся не хватало на большую комнату, пустоватую в центре и тесно заставленную по стенам книжными шкафами с полными собраниями сочинений, ореховым буфетом с горкой, напольными вазами, этажерками. Я уселся было в огромное кожаное кресло, промявшееся подо мной чуть ли не до пола, точно оно было наполнено одним воздухом и сразу сдулось, но Некрич попросил меня вытереть пыль.

— Понимаешь, я не убирался здесь с тех пор, как Ирина меня бросила, все грязью заросло, а теперь зашиваюсь, времени нет, они же придут сейчас.

Я взял влажную тряпку и стер слой пыли с этажерки из красного дерева, со статуэтки скрестившего ножки Дон Кихота, с которым Некрич был схож не только бородкой, но и всей своей долговязой костлявостью, с высокой тонкошейей вазы, украшенной восточным орнаментом и портретом пожилого мужчины в военной форме, в очках на тяжелом, мясистом лице. На вопрос, кто это, Некрич ответил:

— Отец. Он был из семьи потомственных военных, авиаконструктор, большой человек в советской авиации. Вазу ему презентовали, кажется, на пятидесятилетие, в его комнате еще другие стоят. Бабушка в нем души не чаяла, после его смерти настояла на том, чтобы все в квартире оставалось так, как было при нем, запретила матери продавать вещи, они из-за этого все время ссорились.

В кабинете я провел тряпкой по громадному, размером с бильярдный столу, по бронзовому чернильному прибору со львами, поставленному на нем навечно, по полуметровой модели краснозвездного бомбардировщика, по железной настольной лампе, по сплаву уральских минералов с летящей дарственной надписью и золотой ящеркой сверху, по Большому советскому атласу мира, по буфету с целой коллекцией смеющихся толстощеких нэцке и нацарапанным на боковой филенке, очевидно, маленьким Некричем, черепом с двумя скрещенными костями. В третьей комнате от тумбочек и полок исходил слабый запах лекарств, к платяному шкафу прислонился поясной манекен на подставке — здесь жила бабушка-костюмер. На стенах было еще больше, чем в других комнатах, фотографий в рамках и без, несколько любительских натюрмортов и раскрашенных снимков с пейзажами. На пианино «Zimmermann» с медными подсвечниками стояла большая хрустальная ваза для фруктов с ободом из темного серебра, напротив диван с расшитыми вручную подушками, в углу бюро со множеством ящиков, привезенное, по словам Некрича, его отцом еще до войны из Голливуда. Касаясь одной за другой этих вещей, я постепенно начинал чувствовать себя в этой квартире все более своим, как будто здесь прошла начисто забытая часть моей жизни. Я узнавал некоторые предметы на ощупь, как слепой: эту железную настольную лампу, и Большой Советский атлас мира, и хрустальную вазу для фруктов, — когда-то, очень давно, они были и в моей жизни, а потом канули неизвестно куда. Воспоминание о них давалось медленно, с трудом, как будто извлекаешь косточку из перезрелого персика, и, поднимаясь на поверхность, выворачивало изнанкой души наружу.

— Можешь себе представить, — сказал Некрич, — уже три года, как бабушка умерла, а я за это время ни одной вещи из квартиры так и не продал, хотя по-



рой жрать бывало не на что. На них, правда, и цены настоящей не было, глупо было за копейки отдавать. Зато теперь я, кажется, избавлюсь от всей этой рухляди разом, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

— Каким образом?

— Меня тут свели с одним богатым человеком, ищущим квартиру в центре. Он посмотрел мою и предложил купить со всей мебелью. И деньги дает приличные, не жмотится.

— Для чего ему твоя мебель, он что, новой себе не может поставить?

— Он, видишь ли, коллекционер, ему не нужно новое, его интересует как раз эта эпоха, и, я считаю, он прав: эти вещи с нынешними не сравнить, они еще век прослужат, а все новое завтра развалится.

— Не жалко тебе с ними расставаться?

— Жалко, конечно, еще как. И жалко, и боязно, но нужно решаться, второго такого случая не подвернется, чтобы все сразу загнать. Иначе я буду здесь вечно без гроша сидеть, к этим хоромам прикованный. Так что вполне возможно, сегодняшняя вечеринка будет для меня на этой квартире последней.

— Ты хоть знаешь, что он за человек, твой коллекционер?

Некрич не успел ответить, потому что раздался короткий неуверенный звонок в дверь. Катину подругу звали Жанна, она была высокой, сухой и, придя с явным намерением охранять Катину честь от посягательств, смотрела вокруг с бдительным любопытством. Сняв пальто, девушки ходили из одной комнаты в другую, держась рядом, точно боясь растеряться и заблудиться.

— А это кто? — подозрительно спросила Жанна, показав на снимок молодого человека в усах, глядящего сквозь пенсне с цепочкой большими и необыкновенно четкими по сравнению с тающим абрисом всего лица глазами.

— Это мой дед по материнской линии, — с готовностью принялся рассказывать Некрич, — помощник присяжного поверенного. Его называли самым красивым помощником самого красивого присяжного поверенного во всей Одессе. Большой был франт, ходил с цветком в петлице, вот здесь, лорнировал дам, — Некрич принял, скрестив ноги, небрежную позу, подкрутил усы и посмотрел на Катю сквозь кольцо из указательного и большого пальца, — коих знал немерено. После революции стал первым помощником присяжного поверенного, перешедшим на сторону красных, принимал посильное участие в создании революционных трибуналов, за что и получил в тридцать восьмом году честно заслуженные десять лет без права переписки, надеюсь, вам не нужно объяснять, что это по тем временам означало. На досуге сочинял музыку, особенно ему удавались вальсы, некоторые сохранились, идемте, идемте, я вам покажу...

Он увлек девушек в комнату с пианино, присел за него, ударил по клавишам и заиграл, сильно раскачиваясь корпусом, запрокидывая голову (мне сразу показалось, что этот вальс я уже слышал).

— Танцуйте, ну что же вы не танцуете? И-раз-два-три, раз-два-три, раз-два...

Оборачиваясь к нам, так что его руки летали по клавишам вслепую, Некрич разрывался от желания раздвоиться, чтобы танцевать и играть одновременно. Наконец он не выдержал, сорвавшись с табурета, подхватил зажмурившуюся Катю, напевая мелодию вальса: «Пам, па-ра-па-пам, па-ра-па-рим, пам-пам...», — сделал несколько вальсирующих шагов и, едва не уронив, протанцевал с нею в большую комнату, где под темной люстрой был накрыт стол. Жестом фокусника Некрич снял крышку с судка и стал раскладывать по тарелкам печень, тушенную в сметане.

— М-м-м, — восхищенно промычала Катя, более чуткая к вкусовым, чем к музыкальным впечатлениям, — вкусно! Сами готовили?

— Конечно, сам. Я даже когда с женой жил, по большей части сам кулинарил, а теперь, когда она ушла, и подавно.

— Ушла? Бедный... — Катя так исполнилась сочувствия, что ненадолго даже перестала жевать и застыла со вздутой щекой, глядя на Некрича своими большими красивыми глазами.

— Меня тетка научила, тетя Ксения, сестра матери, вон ее фотография. — Некрич показал на снимок неподалеку от помощника присяжного поверенного. — Она была кулинаром от Бога, но своей семьи не завела, хотя была интересной и пользовалась успехом — не красавица, но, что называется, пикантная, — поэтому, чтобы талант даром не пропал, готовила для нас. Тетка была в юности лемешисткой, ездила за Лемешевым из города в город, на всех концертах сидела в первом ряду. Он пел. — Некрич расправил плечи, и, отведя в сторону руку, пропел неожиданно хорошо поставленным тенором: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» — а она смотрела на него и обожала, ей больше ничего не нужно было, кроме как его обожать, другие мужчины ее не интересовали. Мать рассказывала, что она даже принимала участие в знаменитом избиении поклонницами жены Лемешева. Хотя человек она была тишайший, а какие делала запеканки, зразы, форшмак, муссы... Я был в нашей семье ее любимцем, и специально для меня она гоголь-моголь взбивала. После того как она умерла, я ни у кого больше таких вареников с черносливом не ел! В последние годы она сильно расплнела, но все равно казалась мне все мое детство красивее всех, даже красивее матери. Она была похожа на вас, Катя! И всегда, когда готовила, пела над плитой что-нибудь из лемешевского репертуара, вроде: «Мчится тройка почтова-а-я...»

Катя смотрела на Некрича, как, вероятно, его тетка на Лемешева. Выпили водки, и на ее лице проступил неравномерный нежный румянец, а на лбу блестящий пот.

— Можно мне сесть в кресло? — спросила она, наевшись и осмелев.

В кожаном кресле Катя, поерзав, устроилась с ногами, поджав их под себя, и положила голову щекой на высокий подлокотник, так, что сплюснутая щека прижалась к носу.

— А это ваша мама? — спросила продолжавшая изучать фотографии Жанна про женщину в широкополой панаме с бахромой, снятую на фоне гор.

— Да, это она в турпоходе в Крыму, там, если присмотреться, можно у нее за спиной Ласточкино Гнездо разглядеть. Ее тоже уже нет. Никого больше нет — мамы, тетки Ксении, бабушки, — один я остался. В детстве, если на родителей обижался, я хотел обычно умереть им назло, но так, чтобы потом посмотреть, как они запоют, увидев, что я умер. Я взял у соседа книжку почитать про упражнения йогов, год, наверное, по ней тренировался и выучился так дыхание задерживать, что меня от мертвого было не отличить, когда я не дыша лежал. А еще я умею глаза закатывать, смотрите. — Некрич закрыл глаза, а когда открыл, взглядом мраморной статуи на нас глядели слепые белки без зрачков.

— И вот, когда мне родители в очередной раз чем-то досадили, а они все время меня обижали, потому что всерьез не принимали, пообещают что-нибудь и забудут, в тот раз, кажется, в зоопарк со мной не пошли, предатели, я лег, положил рядом ядовитый порошок от тараканов, затаил дыхание и стал ждать, кто меня первым найдет...

Белые глаза без зрачков смотрели на каждого из нас и ни на кого в отдельности. Было похоже, будто Некрича вдруг подменили на его говорящую мумию. Выдержать этот неживой взгляд было невозможно. Я взял чайную ложку, чтобы размешать сахар в чашке, но, встретившись глазами с Некричем, почувствовал невыносимое напряжение над переносицей между бровями и, сразу забыв, для чего у меня в руке ложка, опустил ее в бокал с вином. Катя зашевелилась в кресле и подтянула колени к подбородку, точно хотела спрятаться за своими ногами. Жанна некоторое время глядела на Некрича в упор, а затем, отвернувшись, неуверенно провела пальцем по бровям и дальше вниз по щеке, словно внезапно забыла очертания своего лица и старалась вспомнить их на ощупь...

— Когда мама вошла в комнату, она порошка от тараканов сначала не разглядела и подумала, наверное, что я сплю. Тогда я веки приподнял, чтобы заметно стало, что у меня зрачков нет. Она увидела, схватила меня за руку, давай трясти, а я лежу и не дышу. Она рот открыла, хочет закричать и не может, точно подавилась. Я это ее лицо с открытым ртом на всю жизнь запомнил. Тут мне ее так жалко сделалось, что я не выдержал. — Некрич положил ладони на глаза, а когда отнял, зрачки снова вернулись на свое место и нас всех словно размагнитило. — Я заплакал, и сразу стало ясно, что я живой. Мама потом долго еще в себя не могла прийти, а бабушка все повторяла: «Как ты мог?! Как ты только мог так нервировать мать!» И вот теперь, когда ни мамы, ни бабушки уже нет в живых и многих других родственников тоже, я иногда думаю, может быть, они не умерли насовсем, может, они просто притворились, как я тогда, чтобы посмотреть, как я себя поведу? Может, они смотрят сейчас на нас?

Катя поежилась в кресле и обернулась назад. Полутемная комната наполнилась отчетливым запахом валерьянки, и я увидел, как в двери вплыла высокая коротко стриженная старуха в брюках клеш, напомнившая мне ту, что заснула рядом со мной на «Хованщине». Это была, без сомнения, бабушка-костюмер. Оказавшись у стола, она налила себе рюмку водки, опрокинула ее одним махом, сморщилась, сухо закашлялась (Жанна и Некрич поискали тревожными глазами, откуда донесся кашель, и, переглянувшись, подумали друг на друга), метнула ревнивый взгляд на Катю, чмокнула Некрича в щеку, забрала себе несколько сигарет из его пачки, потом отошла на пару шагов, обернулась еще раз полюбоваться им, сердито хрумкнула взятым со стола огурцом и исчезла. Некрич в задумчивости как бы случайно провел рукой по щеке, стирая след оранжевой помады, налил себе и выпил.

— А теперь и жена ушла, — вздохнув, сказал он, обращаясь в основном к Кате. — Совсем никого не осталось. Нет, вы не знаете, вы даже вообразить себе не можете, что это значит — быть совершенно одному! Кажется, что если вдруг умрешь, то даже и не заметишь. Я иногда вечерами хожу по квартире, свет не зажигая, хватает и того, что с улицы падает, из конца в конец хожу, хожу... Я уже наизусть знаю, какая паркетина как скрипит. Старый паркет — он скрипучий. И так хочется, чтобы рядом был кто-то... кто-то надежный, свой, простой, ясный... Кто-то сильный, жизнерадостный, уверенный в себе. Такая женщина, с которой не страшно глядеть в завтрашний день... Хотите еще печени?

Катя смотрела на Некрича поверх своих крупных коленей так пристально, что даже не расслышала вопроса. Похоже, она вообще не стремилась вникать в отдельные слова, улавливая лишь общий смысл и то, что все они обращены к ней. Она давно уже отчаялась понять из слов Некрича, шутит он над ней или нет, обманывает или говорит правду. Усилие понимания сдвинуло Катини густые брови и целиком сосредоточилось во взгляде, направленном на рот Некрича, словно по движению губ она пыталась прочесть скрытое значение его речи. Звук его голоса только мешал ей, если б могла, она бы его отключила. Стремительно, точно в него вселился дух помощника присяжного поверенного, Некрич встал из-за стола, обогнул его и с полной тарелкой присел на подлокотник Катиного кресла. Катя скорчила гримасу, завернув к носу верхнюю губу, и сказала низким грудным голосом: «Не-е, я уже так налопалась, что сейчас по швам тресну». Некрич отставил тарелку и, поудобнее устроившись на подлокотнике, закинув ногу на ногу, продолжал говорить, теперь уже только для Кати, о своем одиночестве. Он *томно* склонялся над нею, накрывал своей ладонью ее ладонь, прижимался, ни на секунду не замолкая, щекою к ее щеке. Только однажды он оторвался от нее, чтобы взять бутылку вина со стола, а заодно шепнуть мне на ухо: «Не забывай о Жанне». Я и в самом деле так засмотрелся на Катю с Некричем, что начисто о ней забыл. Жанна сидела, глядя перед собой, и по щеке ее ползла медленная слеза. Бутылка рядом с нею была почти пуста. Над судком с печенью поднимался к потолку пар и исчезал на полдороге. Вернувшийся к Ка-

те Некрич нашептывал ей что-то в самое ухо, заглядывал в глаза, смотрел исподлобья, гипнотизировал. Катя отворачивалась, прикрывая лицо рукой. Он бегло и как бы случайно касался ее колен, плеч, шеи. Она заметно млела от этих прикосновений, ее веки опускались, глаза затуманивались, пышные черные волосы поднимались вверх, примагнитиченные парящими над ними ладонями Некрича. Она тесно сжимала колени под узкой юбкой, втянув большую голову в плечи, пыталась увидеть его руки над собой. Должно быть, она ощущала себя во власти фокусника и, затаив дыхание, ожидала превращения, которое оторвет ее от земли, хоть ненадолго позволив забыть о своем тяжелом теле. Эта утрата веса и была для нее чувством, страстью, еще немного, и загипнотизированная Некричем Катя готова была бы ей отдаться, вслед за волосами все в ней уже поднималось к его рукам, как восходящее на дрожжах тесто, уходя из-под власти земного притяжения. Грудь ее *вздымалась*, лицо запрокидывалось кверху, к лицу Некрича, вся тяжесть, придя в движение, готова была испариться в один счастливый вздох. Но в последний момент она испугалась и, усмехнувшись басовитым смешком, в который вложила вес всех своих килограммов, восстановила равновесие. Это была усмешка над собой: полная Катя привыкла быть комичной, она пряталась за пародию на себя, служившую ей защитой, боясь и не умея быть всерьез. Тогда Некрич прибегнул к радикальному средству. Он вдруг присел перед креслом на одно колено, прижал обе ладони к груди и, напрягая голос до предела, так, что Катя уже не могла пропускать его слова мимо ушей, оглушительно запел:

Ми-и-и-лая Аи-и-да, со-о-о-лнца сиянье,  
 Ни-и-и-льской доли-и-ны чу-у-удный цветок,  
 Ты-ы-ы моя ра-а-дость...

И, легко, как пушинку, подхватив Катю на руки, закружился с нею, продолжая петь:

...ты-ы-ы упованье,  
 Моя царица, ты жи-и-и-изнь моя!

Кружась, Некрич пронесся по комнате, как смерч, расталкивая вещи на пути. Ставшая наконец невесомой, Катя плотно зажмурила глаза и обхватила его руками за шею. Некрич отпихнул кожаное кресло, уехавшее в угол комнаты, отшвырнул стул, чуть не опрокинул закачавшуюся вазу, задел этажерку с едва устоявшим на ногах Дон-Кихотом, и мне вдруг показалось, что все вещи в комнате, выглядевшие застывшими на своих местах навечно, на самом деле не держатся ничем, вся их массивность бутафорская, они пусты, выеденные временем изнутри, и легки, как театральные декорации из фанеры, да они и есть всего лишь декорации, помогающие Некричу играть свою роль. Совсем не устав и даже не запыхавшись, он опустил Катю на пол, только рубаха расстегнулась, открыв волосатую грудь. Катины глаза были по-прежнему закрыты, она улыбалась, как во сне. «Как кружится голова...» — сказала она и, приоткрыв веки, поднесла к ним ладонь, точно, внезапно разбуженная, не хотела просыпаться. Она сделала неуверенный шаг, покачнулась, еще один подламывающийся шаг, и она *упала в объятия* Некрича.

— Ну, мне пора.— Я встал из-за стола.— Жанна, вы со мной?

Жанну в тот вечер мне пришлось увозить на такси. Она как-то незаметно успела выпить, плакала и норовила остаться на ночь. Когда через несколько дней у меня зазвонил телефон, я сначала принял женский голос в трубке за ее. Но это была не Жанна.

— Не узнаете? Короткая у вас память, короткая...

— Ирина?

— Она самая. Хотела про мужа своего бывшего спросить: где он пропадает, не знаете? Я ему звоню, звоню, а его все дома нет. Мне нужно у него кое-ка-

кие вещи свои забрать, пластинки... Я же, когда от него сбегала, чуть не все бросила.

— Некрич, наверное, в театре, больше ему быть негде, но дожидаться, пока он появится, не обязательно. У меня есть ключ от его квартиры.

— В самом деле?

— В самом деле. Можем вместе туда навеститься.

Мысль о том, чтобы побывать в квартире Некрича в отсутствие хозяина, раз уж у меня есть ключ от нее, занимала меня давно, Иринин звонок оказался подходящим поводом, дающим возможность поделить ответственность пополам. Еще больше мне хотелось увидеться с нею снова. Ирине мое предложение понравилось, и мы договорились о встрече. На следующий день она ждала меня в вестибюле метро у схода с эскалатора. Я узнал ее издали по пальто и, поднимаясь, смотрел, как приближается и обретает четкость, превращаясь в знакомое, ее лицо.

На ней был берет, сапоги на высоких каблуках, в которых она была почти с меня ростом, на руках кожаные перчатки.

— Перчатки — чтобы не оставлять отпечатков пальцев?

Она улыбнулась. Мне вспомнилось, как во время наших шатаний по городу Некрич рассказывал: «Иногда она вела себя так, точно меня вообще нет рядом с нею, целыми днями меня не замечала, и тогда я чувствовал, что исчезаю, буквально так оно и было, я пропадал, меня не было. Но стоило ей улыбнуться, и я сразу возникал ниоткуда...»

— Просто руки мерзнут. Холодно...

Шел дождь со снегом, и в мокром рассеянном свете лицо ее выглядело бледным. В узком старом лифте в доме Некрича мы стояли почти так же близко друг к другу, как тогда, в вагоне метро, к тому же теперь мы были одни...

— Мы соучастники, — сказал я.

— Подельники, — перевела она, усмехнувшись.

Прежде чем открыть, я на всякий случай позвонил в дверь. Квартира отозвалась тишиной, в глубине которой что-то едва слышно дребезжало, как эхо звонка, скорее всего это была лампочка на лестничной клетке у нас над головами или электрический счетчик. Ключ подошел безукоризненно, замок открылся легко, и мы вошли — сначала я, за мной Ирина. Переступая порог, она позвала:

— Не-е-крич... лапушка-а...

Я вспомнил, как он говорил мне: «Чуть не каждую неделю эта дрянь мне прозвища меняла, то так назовет, то этак, и всегда такие дурацкие клички выдумывала, как будто издевалась надо мной, а я на все отзывался, как она меня ни звала, словно собака приبلудная, у которой своего имени нет. Даже если б она меня Бобиком окликать стала или Мухтаром, я все равно бы на задних лапках за ней побежал!»

Стук Ирининых каблуков раздавался по всей квартире. Она ходила из комнаты в комнату, открывала двери шкафов, перерывала вещи, что-то искала и, находя, складывала в большую сумку. В отсутствие Некрича буфет, серванты и книжные шкафы до потолка снова выглядели монументальными. Я прошелся по коридору, заглянул туда-сюда, присел на угол тахты в кабинете. В этой темной, заставленной старой мебелью квартире мне больше всего сейчас нравилось то, что я ни при каком стечении обстоятельств не должен был бы здесь в данный момент находиться, если б не запавший мне в карман в видеозале ключ. Без хозяина квартира принадлежала заполняющим ее вещам. Они строили контуры ее пространства и делили его между собой, безраздельно им владея. Я был здесь случаен и ни при чем. Отражения снежных хлопьев скользили по стеклам книжного шкафа, по всем обращенным к окну полированным поверхностям, по застекленным фотографиям на обоях. Тикали часы, родственники Некрича молча смотрели друг на друга с противоположных стен.

Иринины каблуки простучали через коридор, каждый следующий звук был громче предыдущего, и она вошла в кабинет, ища меня. На ней была полупрозрачная черная шифоновая кофта, сквозь которую просвечивали руки и плечи.

— Какая вещь, а?! Вам нравится?

Она повернулась передо мной на каблуках так и этак, чтобы я мог лучше рассмотреть, одернула складки.

— Мне — безумно! Сейчас так давным-давно уже никто не шьет. Наверное, его мать в молодости носила. И главное, подходит в самый раз!

Я протянул руку и потрогал тонкий материал, а через него плечо с выступающей косточкой. За ее спиной в окне шел снег, и я подумал, что ей скоро должно стать холодно в этой кофте, ее кожа покроется мурашками. «У нее такая сказочно тонкая кожа,— говорил Некрич,— я мог гладить ее бесконечно, ночь напролет, она засыпала, а я все гладил, гладил, гладил... Когда начинало светать, ее кожа голубела, потом становилась белой, потом, если выходило солнце, розовой, я уже не чувствовал свою руку и, сам засыпая, кажется, продолжал гладить во сне...»

— Что, если я возьму ее, пока никто не видит? Ведь вы меня не выдадите? Нет? Не выдадите?

Она села ко мне на тахту, совсем рядом.

— Не выдам.

— Раз не выдадите, то я возьму себе еще вот это.— Она достала из-за спины и надела на голову бархатную шляпку. На левом запястье у нее был темный браслет, на шее жемчужные бусы, которых не было, когда мы пришли. Браслет, сказала Ирина, принадлежал еще некричевой бабушке. Я прикоснулся пальцами к бусам.

— Это тоже мать Некрича в молодости носила?

Она сглотнула под моим пальцем, он соскользнул с бус на ключицу и провёл по ней до коричневого рубца, едва заметно проглядывающего сквозь шифон. Когда я дотронулся до него, она накрыла мою руку своей ладонью. «Шрам у нее лет с семнадцати, после аварии,— рассказывал мне Некрич,— отец ее в другую легковушку врезался (вкус ее губной помады у меня на языке), второй водитель насмерть, а ее отец без руки остался, она сзади сидела и уцелела, только один осколок стекла ей ключицу вспорол (горькая от духов кожа ее шеи), а другой, поменьше, живот разрезал, там у нее тоже шрам, но не такой заметный (живот ее твердый, дышащий под моей ладонью). Она этих шрамов стесняется, поэтому всегда требовала, чтобы я отворачивался, когда она раздевается, я так и делал и сидел, не дыша, прислушиваясь, так даже интересней было, я на слух угадывал, чего она снимает, потому что наизусть выучил, какая ее тряпочка как шуршит. Или подглядывал, это было захватывающе — за собственной женой через плечо подглядывать, умопомрачительно и невыносимо! И когда она наконец все снимала до носков, носки она обычно на себе оставляла, жаль ей почему-то было с ними расставаться, она ко мне сзади подходила и глаза ладонями зажимала, как в игре такой... А потом она уже вся моя была, вся до последней родинки, до последнего волоска на лобке, до слюны во рту, до слез на щеках соленых! (Два тела на тахте, отраженные в стеклах книжного шкафа на фоне черных томов Большой Советской Энциклопедии.) Только рук ее мне не было видно, руками она что-то на спине у меня с закрытыми глазами на ощупь искала, и мне всегда было безумно жаль, потому что я запястья ее люблю, и локти люблю, и пальцы ее люблю, и ладони. (Голос Некрича звучал у меня в ушах, она была вся заляпана его словами с ног до головы, они проступали на ее коже, как невыведенная татуировка, и, глядя ее, я спешил и не успевал стереть их.) Запястья у этой дрянки тонкие, как будто породистые, и пальцы длинные, непонятно, откуда такие, потому что по всем своим повадкам она самая настоящая девка, никакой породой в ней никогда и не пахло! (Ее язык облизывает сначала верхнюю, потом нижнюю губу на слепом лице и тянется ко мне.) Только девка мо-

жет так над своей красотой издеваться, как она издевалась, ноги чуть не на потолок закидывая! Мальчиком своим меня, гадина, звала, “мальчик мой!”, задыхаясь, на ухо мне шептала, а ногтями спину до крови расцарапывала! Когда голову запрокидывала, она шею свою модильяниевскую так выворачивала, что я ждал: сейчас, сейчас шрам ее лопнет и по швам разойдется! Он весь белел и поперек перетягивался, а она уже ничего не видела, ей уже было все равно, если б он порвался и кровь хлынула, она бы даже не заметила! (Тиканье ее наручных часов забирается ко мне в ухо, отсчитывая последние секунды...) Однажды купил ей трусы французские, шелковую сеточку такую прозрачную, не трусы, а паутинку, когда она их как-то гладила, мы, как всегда, ругались, она утюг переделжала, и они вдруг вспыхнули (обеими руками она сильно притягивает мою голову к себе), она еле руку успела отдернуть, так у нас на глазах и сгорели бездымно, в мгновение ока! Одеядо, на котором она гладила, чуть было от них не занялось, едва пожар не устроили, а то бы весь дом спалили...»

Иринины веки приоткрылись на щелку, глаза под ними были мутные, совершенно пьяные, взгляд всплывал из глубины на поверхность, постепенно заново меня узнавая. Родственники Некрича глядели с фотографий на обоях не друг на друга, а на нас. Ирина завернулась в покрывало, поправила мои волосы, прилипшие ко взмокшему лбу, и спросила:

— Мы соучастники, да?

— Конечно,— я ответил.— Подельники.

Начинало смеркаться, и, когда Ирина извлекла руку из-под покрывала, чтобы взять сигарету, она была голубой. Пачка оказалась пустой. Накинув мою рубашку на плечи, она принялась шарить по ящикам, рассчитывая обнаружить запас сигарет у Некрича, и, найдя, устроилась курить на подоконник. По мере того как в комнате становилось темнее, мебель, казалось, увеличивалась в размерах, уменьшая свободное пространство своими тенями. Нельзя уже было разглядеть маленьких китайских лиц нэцке, белеющих за стеклами буфета. Фотографии сделались неразличимы на стенах. Из дальнего конца квартиры донесся шум — то ли это был мусоропровод, то ли нарочно громко возилась на кухне недовольная присутствием чужих в доме старуха костюмерша. Спугнутая неизвестным звуком с подоконника, Ирина вернулась ко мне под покрывало, огонек ее сигареты проплыл через темную комнату.

— До чего здесь уютно,— сказала она, притираясь ко мне,— неохота уходить. Я так всегда любила эту квартиру...

У кого-то из нас проурчало в животе, ни я, ни она не поняли — у кого.

— Откуда у тебя, кстати, ключ?

Я рассказал ей, как познакомился с Некричем.

— Могу спорить,— сказала Ирина,— что ключ у тебя не случайно в кармане оказался. Он тебе его подсунул. Может, вовсе и не в видеозале, а позже.

— Зачем бы он стал это делать?

— Понятия не имею. Да он и сам скорее всего не знает. Он же действует наугад, наудачу, но ему всегда везет, понимаешь! Если б не этот ключ, мы не лежали бы с тобой сейчас тут в обнимку.

— Ты имеешь в виду, что он специально хотел меня на бывшее свое место подставить, назло твоему Гурию? Не верится мне, чтобы он был способен так далеко просчитывать.

— Он не считает, он чувствует — в этом вся разница. Мне иногда кажется, что он все, что со мной случится, наперед угадывает, а я рыпаюсь, то туда, то сюда, чтобы запутать ход вещей... но только сама еще больше запутываюсь...

Говоря, она смотрела на мутную пелену за стеклом. Глаза ее, отражая оконную сырость, медленно наполнялись слезами. Пробили часы, пора было думать о том, чтобы одеваться, уничтожить следы нашего присутствия и уходить, но вставать не хотелось. Хотелось лежать и бесконечно касаться друг друга сре-

ди сгрудившейся вокруг нас в комнатных сумерках мебели, частями освещенной с улицы, частями угадываемой в темноте. Ирина поднялась первой — ее ждал дома Гурий. Покуда она одевалась и поправляла тахту, я зажег свет и рассматривал фотографии на стенах кабинета.

— Ты знала кого-нибудь из родственников Некрича?

— Нет,— сказала она, застегивая кому-то из них принадлежавшие бусы,— он меня ни с кем не знакомил, да они и умерли, кажется, уже все. Зато беспрерывно про них рассказывал, так, что они у меня уже в печенках сидели.

— Про кого, например?

— Про тетку свою, которая замуж не вышла, потому что была влюблена в Козловского, про деда, помощника присяжного поверенного...

— В Козловского? Ты не путаешь? Не в Лемешева?

— Нет, она была козловисткой, так это тогда называлось, ездила за ним по всей стране, лучшие свои годы на это убила.

— Вот как... Это она Некрича готовить научила?

— Нет, готовить он научился у бабушки, а у тетки — на пианино играть.

— А про деда он тебе что говорил?

— Про деда-белоэмигранта? Как он в Париже таксистом работал и стихи писал про свою тоску о России.

— Нет, про того, который был самым красивым помощником самого красивого присяжного поверенного.

— Так это он и был. Он после революции эмигрировал с белогвардейцами. Некрич мне даже стихи его читал, я так любила, когда он стихи читает, он красиво это делал, с выражением, жаль, что я их плохо запоминаю. Как там...— Она почесала нос, вспоминая: — Моя любовь к тебе сейчас... ребенок... или зверенок... В общем, что-то маленькое, что потом вырастает.

— Слононок,— подсажал я, с трудом скрывая ликование от того, что наконец-то поймал Некрича на лжи.

— Верно, слоненок, а потом он становится настоящим мамонтом и топчет все вокруг, как Некрич в припадке ревности. Идем, пора.— Ирина вручила мне сумку, набитую вещами. Уже в прихожей, подумав о том, что я сюда, может быть, никогда больше не попаду, я сказал ей:

— Ты знаешь, что Некрич собрался продать квартиру?

— Правда? — Ирина остановилась на пороге.— А кому?

— Какому-то коллекционеру, который вместе со всей мебелью хочет купить.

Мы стояли у раскрытой двери на лестничную клетку, и все пустые темные комнаты прислушивались к разговору о своей будущей судьбе.

— Значит, все-таки наконец решился... Даже покупателя нашел...— Ирина закрывала дверь медленно, очевидно, как и я, вспоминая, что она могла забыть в квартире, куда уже не вернется.

Щелкнул замок, и я взвалил на плечо ее тяжелую сумку, стараясь не думать, чьими вещами она набита — на самом деле Ириниными или вовсе не ее.

Через день она зашла ко мне, точнее, заскочила, всего на пару часов. Мы торопились, она все время смотрела на часы, потом про них забыла и, конечно, пропустила момент, когда нужно было уходить. Одевалась в страшной спешке и панике, не глядя на меня, обо мне вспомнила в последнюю минуту, когда уже намазала губы помадой, поэтому поцеловала у двери осторожно, едва коснувшись. В следующий ее визит, еще через два дня, времени было больше, можно было расслабиться и забыть о нем, но ощущение спешки сохранялось все равно, Ирина несла его в себе, и, даже когда лежала неподвижно с закрытыми глазами, казалось, что она подсчитывает, как ей везде успеть. Она вносила с собой ускорение времени и в мою жизнь, с ее приходом стрелки на часах начинали бежать наперегонки и снова замедлялись лишь после того, как за ней закрывалась вход-



ная дверь. Провожая ее, я не спрашивал, придет ли она снова,— то, что она давала мне, пока задернутые на окне занавески впитывали вполне уже весеннее солнце, было настолько щедрым и избыточным, казалось мне настолько ничем не заслуженным, точно меня по ошибке приняли за другого, и если я буду на чем-то настаивать, например, стремиться точно договориться о следующей встрече, то ошибка может быть замечена и исправлена. Пусть уж лучше все остается неясным, пусть она вечно торопится и возникает у меня в промежутках между другими делами, пусть я понятия не имею, что это за дела,— возможно, благодаря этому недоразумение, вызывающее ее появления, продлится дольше. Чем меньше мы друг о друге знаем, тем меньше у нас причин, чтобы не встретиться вновь. Я старался не спрашивать у нее лишнего, мне и так было известно о ней от Некрича гораздо больше, чем нужно. Ирина сама рассказала, что Гурий то и дело не ночует дома, пропадая где-то с друзьями, и я решил удовлетвориться начерно объяснением, что она приходит ко мне ему в отместку.

Одеваясь, она натянула колготки на одну ногу и задумалась, забыв о другой. У нее часто случались минуты такой короткой задумчивости, когда какая-то мысль потрясала ее настолько, что она полностью выпадала из окружающего. Ее ни на секунду не прекращающаяся внутренняя спешка, спешка неоконченных мыслей и меняющихся настроений, время от времени парализовывала ее, заставляя застыть неподвижно, целиком уйдя в себя. Обтянутая черными нейлоновыми колготками нога принадлежала взрослой двадцатисемилетней женщине, а у голой ноги была детская коленка, детская ступня и голубоватый синяк на бедре, она выглядела так, точно ее обладательнице лет пятнадцать. Обернувшись на меня, Ирина заметила, что я улыбаюсь.

— Почему ты надо мной все время смеешься?

— Ты так красива, что мне ничего другого не остается.

Она задумалась еще на пару минут. Потом спохватилась, что, как всегда, опаздывает, выходя второпях из комнаты, задела локтем за дверную ручку и, сморщившись от боли и обиды, пнула в ответ ни в чем не повинную дверь.

После ее ухода я начинал воображать, как она ловит такси или садится в метро, и думал об опасностях, угрожающих ей на пути. По маршруту ее следования сталкивались легковые и грузовые автомашины, завывали сирены «скорой помощи», пьяные в стельку водители давили всех подряд, рушились эскалаторы метро, загорались вагоны, и ее силуэт исчезал в сплошном дыму, застилающем пространство воображения. Едва выйдя из моего подъезда, Ирина становилась магнитом для всех губительных случайностей, нависающих над жизнью в этом чудовищном городе. Перемещаясь по нему движущейся мишенью для разрушительных сил случая, она пробуждала их к действию. В газете я от начала до конца прочитывал подвал происшествий: грузовик врезался в автобус, четверо погибли, жертвами бандитской перестрелки стали пятеро прохожих, двое убиты, трое ранены, в мусорном баке обнаружена седьмая по счету жертва маньяка, нападающего на женщин в сапогах на высоком каблуке (как раз таких, как у Ирины), упавшая с крыши сосулька положила конец жизни проходившей внизу девяностолетней старушки. Начитавшись газет, я ложился спать, и, как только закрывал глаза, ее лицо и тело возникали передо мной в темноте с такой неизбежностью, точно были выжжены на внутренней стороне век.

Днем я обнаружил ее заначку — заткнутую за идущий вдоль дверного косяка электрический провод сигарету на случай, если нечего будет курить. Для меня она была единственным знаком того, что Ирина появится у меня снова. И она действительно звонила и приходила как ни в чем не бывало. У случая были грубые механизмы наводки, действуя вслепую, он попадал по невиновным, а Ирина оставалась невредимой. Я открывал ей дверь и пытался еще в прихожей содрать с нее всю одежду разом, а полчаса спустя, когда она молча лежала рядом, с рассеянным любопытством меня изучая, вспоминал хронику происшествий и мысленно подсчитывал: четыре, два, семь, одна... четырнадцать погибших на ее счету.

Поздно вечером раздался звонок в дверь. Некрич стоял на пороге, переминаясь с ноги на ногу, точно хотел в туалет. Он выглядел помолодевшим на десять лет, потому что ни усов, ни бородки на его лице не было. Голый рот, уменьшившийся, как мне показалось, в размерах, осторожно улыбался, словно стесняясь себя в открывшейся пустоте.

— Можно? — неуверенно спросил Некрич, как будто я мог бы его не пустить, а потом еще страннее: — Тебе никто не звонил пока насчет меня?

— Кто должен был звонить?

— Да так... разные... Позвонят, отвечай, что давно меня не видел и знать не знаешь, где я.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось? Случилось...

Часы на кухне пробили девять. Некрич взглянул на свои наручные и стал переводить стрелки.

— У тебя часы точные?

— Всегда были точными, можем включить радио, проверить.

— Это хорошо, что точные... А у меня спешат на пятнадцать минут. Это чудесно... — Его осторожная улыбка расширилась. — Значит, мне на четверть часа дольше жить осталось.

Некрич сидел на краю стула, осматривая мою комнату, как будто видел ее впервые. Делал он это, кажется, для того только, чтобы вращать из стороны в сторону непривычной коротко стриженной головой и тереться при этом обнажившимся затылком о воротник пальто. Легкий прохладный запах одеколona исходил от него.

— Можно мне будет у тебя сегодня переночевать?

— Ты что, опять ключи от квартиры потерял?

— Нет, на этот раз... — Он не очень понятно рассмеялся и закончил: — На этот раз я потерял всю квартиру.

— Как тебе это удалось?

— Я ее продал. Три дня назад Лепнинскому, а не далее как сегодня Ирининому Гурию. Больше пока что никому...

Улыбка Некрича разъехалась в затяжной зевок, он прикрыл его ладонью, глаза над нею застыли. Когда он убрал руку, то уже не улыбался.

— Лепнинский — это тот коллекционер, про которого ты мне рассказывал?

— Он самый. Сейчас они уже наверняка встретились и обсуждают, где им меня искать. Будем надеяться, что сегодня ночью они сюда не явятся и я смогу поспать хоть пару часов. Я уже двое суток практически не спал, у меня все в голове окончательно перепуталось. Не станешь возражать, если я прилягу?

Я поставил раскладушку, и он улегся, как был, прямо в пальто, сняв только ботинки, подтянул колени к животу, потерся щекой о подушку, уйдя в нее половиной лица, и уже с закрытыми глазами пробормотал:

— Как все так случилось, даже не понимаю... Я этого не хотел... все само собою вышло... само собой...

Минут десять Некрич лежал молча, засыпая, потом стал произносить сквозь сон отдельные загадочные слова и фразы: «...бюро технической инвентаризации... нужна копия... финансово-лицевого счета... заверить у нотариуса... выписка из домовой книги... договор купли-продажи...» Голова его беспокойно елозила по подушке, выкапывая в ней углубление и уходя в него все глубже, пытаясь во сне найти для себя укрытие. Слова становились все менее различимы: «...Комитет муниципального жилья... депозитарный договор... я не нарочно... я не хотел... задолженность по квартплате... жаль... Жаль, что я его не убил». Сказав последнюю фразу, он проснулся, ощупал карманы пальто и сел.

— Кого ты не убил?

— Не убил? — Некрич растерянно моргал после короткого сна, вспоминая.— Кого я не убил? Гурия. Едва сдержался. А мог бы. Ведь как все вышло... У меня до сих пор в голове не укладывается... Он появился, когда мы с Лепнинским уже все закончили, договор подписали, он деньги на мой счет положил, я остался в квартире еще на несколько дней вещи собрать самые любимые, те, что мне как память дороги... Бомбардировщик хотел забрать, который на столе в кабинете стоит, ты, наверное, его видел, я с ним все детство играл, жаль оставлять... Пластинки свои, одежду и прочие вещи думал к Кате пока переправить, а там видно будет... И тут появляется этот... Откуда он только узнал, ума не приложу... Рано утром явился, разбудил меня, ты, спрашивает, квартиру еще не продал? А я спросонья, не выспавшись, потому что ночью бессоничал и уснул под утро, смотрю вокруг себя на стены, среди которых всю жизнь прожил, и думаю: как я мог квартиру, где родился, продать? Разве это мыслимо?! Разве возможно такое?! Все вещи привычные на своих местах, и я среди них там же, где и всегда... С чего ты взял, отвечаю, и не собирался. Тут Гурий достает из кармана договор и начинает деньги на стол пачками выкладывать, больше, больше... Я стал считать и сбился, снова принялся и опять... А этот проходимец мне договор подсовывает, уже с печатью нотариуса, и, ладно, говорит, беру я твою квартиру. Ты согласишься ли, я, когда деньги живые увидел, да еще в таком количестве, у меня Лепнинский как-то сразу из головы вылетел, я забыл о нем начисто, точно не было его. Когда этот новый договор подписывал и потом, когда в Комитет муниципального жилья заверять его ездили, я ни разу о нем не вспомнил, ни сном ни духом, бабушкой тебе клянусь! Наверно, поэтому все и прошло как по маслу, все двери перед нами сами распахивались, в любой кабинет мы без очереди проходили, точно в очередях там одни слепые сидели, нас в упор не видевшие. О чем бы чиновники ни спрашивали, у Гурия всегда была справка наготове, он ими на все случаи жизни запасся, одну за другой из «дипломата» извлекал, и каждая с печатью, не подкупаешься. Надо отдать негодюю должное — умеет он своего влегкую добиться, так что во мне до самого конца даже мысли не шевельнулось, что я что-то не то делаю. Только когда он меня в ресторан отмечать потащил, стало мне постепенно не по себе становиться. Ведь не те это люди, с которыми можно ваньку валять, они же с меня живьем за такое шкуру сдерут! В ресторане выпили, Гурий меня обнимать начал, поздравляя, а мне уже так дурно было, что хотелось в плечо ему уткнуться, обнять в ответ и покаяться во всем. Забирай, сказать, эти башли проклятые, мне жизнь дороже. Я бы так и сделал, но тут он говорит: «Привет тебе, кстати, от жены бывшей». Меня всего словно вывернуло! Мало того, думаю, что ты, стервец, жену мою трахает, ты еще хочешь этим в моей же квартире заниматься! А у меня карманы деньгами набиты и такое чувство, что терять нечего, я уже все равно что мертвый, и одновременно уверенность, что я все сейчас могу, мне абсолютно все удастся, без исключения! Мне пришить его было как два пальца обоссать!

Некрич вскочил с раскладушки и стал от переполнявшего его возбуждения ходить в носках из угла в угол комнаты, полы его расстегнутого пальто задевали за мебель.

— И главное, я знал безошибочно, точно все уже свершилось, что если я его сейчас на глазах у целого ресторана столовым ножом пырну, то потом беспрепятственно выйду и ни один человек меня остановить даже не попытается! Но сдержался. Не в нем ведь, в сущности, дело, кто он — нувориш, выскочка, разъезжая уличная шпана,— на его месте мог быть любой другой. Не с Гурием у меня счет, а с Ириной. Посему я ему сказал, что выйду по малой нужде, а сам спустился в гардероб, забрал пальто и свалил по-английски. Снял со счета деньги Лепнинского, чтоб уж все свое с собой носить, позвонил тебе, тебя нет, Кати тоже. От нечего делать сходил в парикмахерскую, постригся, как видишь, бороду с усами сбрил, может, издалека не узнают. Пошел, чтобы время провести, на первый попавшийся фильм и угодил на детектив, от которого меня просто

замутило, потому что там только и делали, что убивали разными способами. Я ничего понять не мог, сюжет страшно запутанный, вышел из зала, как пьяный, и сразу все забыл, помню только, как кричали те, которых убивали, ведь им очень больно было. Ладно еще просто из пистолета, по крайней мере быстро, а когда тебя, связанного, на рельсы кладут и ты лежишь и ждешь, пока тебе поезд горло перережет,— это какво?!

Некрич покрутил головой, разминая свою тонкую шею, и, втянув ее, проглотил вставший в горле ком.

— Ведь и они со мной, Гурий с друзьями, точно так же поступят, если поймают! Для них это плевое дело. Я, прежде чем к тебе прийти, мимо своей квартиры напоследок прогулялся, а у меня в окнах везде свет горит — значит, кто-то из них уже там, а может быть, и оба. Воображаю себе их встречу!

Присев к столу, Некрич стал доставать из карманов пальто и брюк пачки денег и торопливо пересчитывать их, когда зазвонил телефон. В паузе между двумя звонками глаза Некрича выросли от испуга.

— Что, если это они?

— Откуда у них взяться моему номеру? — сказал я, подумав про себя, что Гурию его запросто могла дать Ирина.

От страха в Некриче проявилось вдруг сходство с каким-то мелким большеглазым настороженным зверьком. Когда я протянул руку к трубке, он одновременно движением положил свою на кучу денег, чувствуя в них свой главный шанс на спасение, точно с возникновением опасности он смог бы, мгновенно уменьшившись, зарыться в деньгах с головой, закопаться в них так, что никто его не найдет. Звонила мать одного из моих учеников. Поняв, что это не по его душу, Некрич откинулся на спинку стула, потом вскочил, прошелся по комнате и достал из-за провода у двери заначенную Ириной сигарету. Когда он курил, сигарета дрожала в его пальцах. Затягивался он так, точно это была последняя затяжка перед казнью. Глядя на его пальцы, я почувствовал, как ему страшно. Некрич подошел к зеркалу, оглядел себя, точно прощался, провел ладонью по свежевыбритой голубоватой коже скул.

— Какое у меня лицо маленькое стало!.. Раньше с бородой побольше было...

Потом он спросил, нет ли чего поесть, я дал ему едва начатый батон, колбасу, масло. Он стал отрезать, мазать и с отсутствующим видом молча отправлять в рот бутерброд за бутербродом, пока не съел все без остатка, кажется, даже не заметив. Обжорство, очевидно, немного притупило страх, потому что, дожевав последний кусок колбасы, он сказал:

— Я хочу позвонить к себе на квартиру, мне интересно, кто из них уже там. Я ведь обоим дубликаты ключей отдал.

Он набрал номер и с минуту подержал трубку на небольшом удалении от уха, точно боясь к ней прикоснуться, потом протянул мне, взглядом предлагая послушать. Я взял и услышал незнакомый голос:

— Молчишь, гад... молчи, молчи... Я все равно знаю, что это ты. Больше некому. Я тебя по твоему молчанию лучше узнаю, чем по голосу. Только ты и можешь так трусливо молчать. Последний раз тебе говорю: лучше сам приди! Не придешь — мы тебя из-под земли выкопаем. И живьем назад закопаем, понял?! Я тебя спрашиваю...

Я положил трубку на аппарат.

— Кто это был?

— Гурий.

Пока я слушал, Некрич был занят тем, что с судорожной тщательностью подбирал хлебные крошки со стола, одну за другой. Наблюдая за этим — угрожающий закопать живьем голос еще звучал у меня в ушах,— я вдруг подумал — то, что делает Некрич, правильно: нужно обязательно собрать все рыхлые белые крошки со скатерти. Все до единой. Пока еще есть время. Чужой страх

смерти на мгновение накрыл меня, не оставив от моментально рассыпавшегося мира ничего, кроме крошек на столе.

Утром мы вышли вместе, я отправился на урок, Некрич в театр. Я спросил, не боится ли он, что обманутые покупатели явятся за ним туда.

— Театр — единственное место, где я ничего не боюсь. Где я в абсолютной безопасности. Если они там появятся и станут меня искать, я буду сразу же предупрежден. Там столько ходов и выходов, что они наверняка заблудятся, а я просто удеру. Кроме того, сегодня вечером «Дон-Жуан». Не могу же я уйти на дно, навсегда распрощавшись с театром, и не побывать напоследок на «Дон-Жуане»!

Было сыро, над остатками снега и бурой травой висел туман с невидимым солнцем, растворенным в нем, как соль в теплой воде. Когда проходили мимо мусорных баков, Некрич остановился напротив трупы кошки с мокрой рыжей шерстью и оскаленной пастью. Рядом с ним валялись на черном льду кукла с вывернутыми ногами, расплывшиеся обрывки газеты и побледневшие от сырости апельсиновые корки. Некрич втянул носом разлитую в теплом воздухе нежность таяния, задержал дыхание, насколько хватило сил, затем выдохнул и сказал: «Самая та погодка, чтобы погибать под какую-нибудь безумную ликующую арию, исполняемую женским пронзительным голосом!» Мы пошли дальше к метро, вдруг Некрич согнулся, втянул голову, потом запрокинул ее назад — холодная капля упала с ветки дерева ему за шиворот. Распрямляясь, Некрич улыбался вздрагивающей улыбкой, расширяющейся по мере того, как капля сползала вниз по хребту. Он явно нравился себе погибающим.

### 3

Не принадлежа действительному миру, он тем не менее постоянно вращался в нем, но при этом даже в те минуты, когда почти всецело отдавался ему и телом и душой, оставался как-то вне его, точно скользя лишь по поверхности.

*С. Кьеркегор. Или — или*

Они пришли ко мне в тот же день, все вместе. Вернувшись домой с головой, опухшей от уличного шума, сверкания и шипения шин по асфальту, я хотел вздремнуть, прилег и накрылся подушкой, поэтому долго не слышал звонка в дверь.

— Привет, — сказала Ирина, когда я открыл, — мы к тебе по делу.

Вслед за ней мимо меня прошли в прихожую четверо мужчин. Трое из них явились как к себе домой, почти не обращая на меня внимания, осмотрели комнату, тот, что был в белом плаще, заглянул в ванную и туалет: очевидно, они надеялись застать Некрича у меня. Четвертый, самый старший из всех, почти уже пожилой — я сразу понял, что это и есть Лепнинский, — посчитал нужным извиниться «за вторжение без предупреждения» и представился: «Александр, можно Саша». В белом плаще был Гурий, двое других назвались Колей и Толей. Оба были широкоплечие, отъезтые, на голову выше маленького Гурия, похожие на двух непохожих братьев. Они все время подначивали друг друга, исподтишка пихались локтями в тесной прихожей, вылезая из своих кожаных курток. Когда я рассадил всех в комнате, для меня самого стула не осталось и мне пришлось сесть на край письменного стола. То, что я оказался надо всеми, только подчеркивало мое неудобное положение в центре внимания этих незнакомых мужчин, известных мне лишь со слов Некрича, внезапно материализовавшихся персонажей услышанных мною от него историй, которым я никогда до конца не доверял. Ирина была единственным человеком, на чью поддержку я мог сейчас рассчитывать. Ее знакомое лицо представлялось мне среди этих людей, как на старой фотографии, — единственным объемным лицом, выступающим из плоско-

го фона с грубо намалеванными на нем ковбоями в кожаных куртках. Я ожидал от нее подсазки, как себя вести, но не мог прочесть на ее лице никаких знаков и боялся засматриваться на него под взглядом Гурия.

— Мы разыскиваем нашего общего друга Андриюшу,— сказал Лепнинский,— и очень рассчитываем на вашу помощь. Вы давно ли с ним виделись?

Я ответил, что с неделю назад, и спросил, зачем он так срочно понадобился.

— Он... как бы это поделикатнее выразиться... довольно скверно пошутил с нами... я бы сказал, очень неудачно пошутил.— И Лепнинский рассказал мне историю двойной продажи Некричем квартиры со своей точки зрения. В его версии получалось, что Некрич заранее все продумал и расчетливо обвел их с Гурием вокруг пальца.

— У меня сразу возникло впечатление, что это человек с двойным дном,— сказал он.

— Только с таким двойным дном, которое всегда пусто,— решил уточнить я.— И отзвук этой пустоты звучит за всем, что он говорит и делает.

Коля и Толя переглянулись между собой, и я сразу почувствовал отзвук пустоты за своими собственными словами.

— Да он точно и не человек, а микроб какой-то,— с отвращением произнес Гурий,— или вирус, заражающий все вокруг.

— Если вирус, то наподобие компьютерного, начисто стирающего память.— Мне казалось, что нужно как можно больше говорить о касающихся Некрича второстепенных вещах, чтобы не дать никому заподозрить, что еще утром он был у меня, поэтому я рассказал про его деда, белоэмигранта и организатора революционных трибуналов, и тетку, не то лемешистку, не то козловистку.

— Мне он, положим, говорил, что дед его был переводчиком в штабе казачьего атамана фон Панвица, немца по национальности. Впрочем, возможно, это был другой дед, увлекавшийся живописью, чьей кисти принадлежат дилетантские натюрморты в одной из комнат. Не суть важно, правда это или нет.— Лепнинский махнул рукой, подчеркивая свое безразличие к фактам, и замотал в еще один виток вокруг горла свисавший до пола белый шарф.

— Думается, Некрич не столько стирает память, сколько превращает ее в легенду, благодаря чему она остается живой. А детали не имеют значения. Лемешистка или козловистка, поэт или композитор-любитель — какая теперь разница? Ведь события могут либо умереть, затерявшись в архивах, либо стать легендой — одно из двух, третьего не дано. Все, чему удается пережить себя в чужой памяти, изменяется, становясь легендой о себе.

— От этого нам мало проку,— мрачно заметил Гурий.— Нужно решать, где искать Некрича, пока он еще не превратился в легенду о себе вместе с нашими деньгами.

— Вам легче вычислить, где он может быть, вы все знаете его куда лучше, чем я.

— Его невозможно вычислить, потому что он сам не знает, где будет завтра. И я не верю, что он мог умышленно повернуть эту аферу с квартирой.— В Ирином голосе мне послышалось желание защитить Некрича в ситуации, где все были против него.— Он не в состоянии ничего заранее запланировать. Точнее, планов у него всегда сколько угодно, но поступает он им вопреки.

— Ирина полагает, что Некрич является чем-то вроде марионетки, болтающейся на нитках грядущего. В его жизни ничего не происходит по его воле, все случайно. Он существует как бы в нескончаемом вещем сне.— Я покосился на Гурия, опасаясь, что показал этими словами слишком большую осведомленность об Ирине, но тот, кажется, не обратил внимания. Он наблюдал за Колей и Толей, которым наскучил наш разговор, и они развлекались тем, что укороченными движениями, чтобы не привлекать к себе внимания, демонстрировали друг

другу удары и защитные блоки и были похожи на школьников, толкающихся под партой тайком от учителя.

— С точки зрения будущего случайность есть его прямая причина, — сказал Лепнинский, — без которой оно было бы совсем другим, чем стало. Случай — это коррекция настоящего будущим, его прямое вмешательство. Если вы считаете, что Некрич — марионетка грядущего, то происходящее с ним не может быть иным, нежели случайным. Хотя мне как-то трудно поверить, чтобы было возможно безо всякого расчета обмануть сразу двух человек плюс нотариуса и Комитет муниципального жилья.

— Какая разница, с расчетом или без! — не выдержал Гурий. — Нам это что, поможет его найти?

— Если ни у кого из вас нет лучшей идеи, я бы начал с посещения театра, — предложил Лепнинский. — Поторопившись, мы еще успеем купить билеты с рук на вечерний спектакль. Как давно вы последний раз были в опере, молодые люди? — обратился он к Коле и Толе.

Те только хмыкнули в ответ.

— Ну вот и побываете, тоже не вредно. А если удастся проникнуть за кулисы, то, может быть, повстречаете там Андрюшу. Вы с нами? — спросил он меня, вставая. — Идемте, обещаю вам бесплатный билет. Насколько я помню афишу, сегодня вечером «Дон-Жуан», а это всегда хорошо, пускай и не в «Ковент-Гардене».

Билеты нам достались в ложу четвертого яруса, под самый потолок. Под первые звуки увертюры поднимались по закругляющимся лестницам среди других опаздывающих. Гурий отстал, чтобы купить в буфете шампанское.

— Правильно, — одобрил Лепнинский, — что за опера без шампанского!

Коля и Толя тоже попытались остаться в буфете, но Гурий погнал их наверх. Едва рассевшись, разлили по принесенным с собой пластмассовым стаканчикам. Внизу металась по сцене обманутые Дон-Жуаном женщины, их голоса, как прозрачные сабли, рассекали темный воздух над партером.

— Смотри, смотри, эк он его! — сказал у меня за спиной Толя Коле (или наоборот), когда Дон-Жуан заколол Командора.

Ирина сидела между мной и Гурием, слегка подавшись вперед к краю балкона, внезапно я почувствовал прикосновение ее пальцев к моей ноге с обратной стороны колена. Мне показалось, что наш балкон, ничем не поддерживаемый, повис над пустотой и вот-вот рухнет, я даже задержал дыхание, как будто это могло спасти от падения. Когда Дон-Жуан запел свою «арию с шампанским», мы допили то, что у нас еще оставалось в бутылке, потом Гурий достал откуда-то коньяк.

— Может быть, хватит? — сказала Ирина, отказавшись.

— Кому хватит, а кто только начинает, — ответил один из двух сидевших позади меня амбалов, и я услышал, как он громко икнул у меня над самым ухом, опрокинув свою порцию.

— На, шоколадочкой закуси, — предложил ему второй.

Гурий обнял Ирину, положив руку ей на плечи. Скосив глаза, я смотрел на его поросшую черными волосами руку с короткими пальцами, отбивающими легкой дробью музыкальный такт на Иринином плече.

— Как вам нравится исполнение? — спросил в антракте Лепнинский, когда мы вышли в фойе.

— Очень нравится, — дружно ответили Коля и Толя. — Особенно под коньяк хорошо идет.

— Ну раз вам нравится, значит, еще не все потеряно. Хотя, по совести говоря, это уже не та опера. Не та. Еще не умершая, но... из нее как бы выпустили весь воздух. Нет, есть еще отличные голоса и первоклассные исполнители, но исчез сам строй чувств, который наполнял ее смыслом. Нужно быть по-настоя-

щему сентиментальным, чтобы всерьез относиться к происходящему на сцене, сейчас на это никто уже не способен. Опера принадлежит эпохе цельных характеров, сильных эмоций, больших дел. Все это ушло, исчезло, изменился масштаб действительности...

Пока Лепнинский говорил, Ирина отошла от нас на несколько шагов и переминалась на своих высоких каблуках, стоя посреди фойе, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Ей, похоже, хотелось вести себя так, точно она здесь одна.

Во втором акте, когда Дон-Жуан менялся одеждой с Лепорелло и подставлял его вместо себя, так что преследователи устремлялись в погоню за слугой, думая, что гонятся за господином, я вдруг понял, что происходящее на сцене напоминает наши отношения с Некричем, возможно, предсказывает их. Действие, находясь в плену у музыки, стремительно развивалось по линиям, прочерченным для него мелодиями, звучание оркестра становилось все тревожнее, конец Дон-Жуана был неотвратим и близок. Но чем обернулась история с переодеванием для Лепорелло, я не помнил, и досмотреть ее до развязки мне не удалось.

— Пора, — сказал Гурий Коле и Толе, допил прямо из горлышка коньяк и, раздвигая стулья, двинулся к выходу.

Оба амбала стали пробираться на цыпочках за ним, извиняясь направо и налево. Я тоже поднялся, Ирина и Лепнинский остались в ложе. Когда выходили, сидевшая у дверей старушка хотела что-то сказать, но Коля приложил палец к губам и сделал страшные глаза.

Быстрым шагом мы прошли через пустое фойе, отразились в скользящих без публики зеркалах — Толя одернул на ходу пиджак, Коля поправил челочку — и проскользнули друг за другом в дверь с надписью «Служебный вход». За ней был узкий коридор с ответвлениями в обе стороны, по нему сновали мимо нас люди, но никому не приходило в голову спросить, что мы здесь делаем, каждый был занят своими заботами. Музыка доносилась сюда едва слышно, мы шли, прислушиваясь, на развилках Гурий прикладывал к уху ладонь, и мы сворачивали в том направлении, откуда музыка была громче. Буфетчица везла нам навстречу уставленную шампанским тележку. Толя протянул было руку, чтобы прихватить бутылку с собой, но Гурий ударил его по ладони: «Не за этим мы здесь!» Толя потряс рукой в воздухе и спрятал ее в карман. С дальнего конца коридора раздалось пение, грозный низкий бас, обрывающийся на середине фразы. Выйдя из-за поворота, к нам приближался, пробуя на ходу голос, полный мужчина в высоких сапогах и при шпаге. Я узнал его — это был Командор. Мы с Гурием прижались к стене, чтобы пропустить его, но миновав нас, он застрял между Колей и Толей. Для трех толстяков коридор оказался слишком узким. С извиняющейся улыбкой Командор пытался, кряхтя, протиснуться между двумя амбалами. Те, тоже стесняясь, прятали глаза и, как могли, втягивали животы, но ничего не получалось, пока Гурий с разбега не толкнул Командора сзади плечом. Он вылетел, как пробка, едва удержался на ногах, поправил свой камзол и пропел что-то угрожающее нам вслед, однако мы уже свернули за угол.

Музыка звучала теперь совсем близко, кажется, прямо за стеной, возможно, мы уже шли вдоль сцены, но прохода на нее нам все не попадалось.

В одно из ответвлений коридора была видна открытая дверь в зал с зеркальными стенами, где тренировались балерины. Шедший первым Коля застыл у нее с недоверчивой улыбкой, лицо его одновременно просветлело и поглупело. Толя подтолкнул его, чтоб не задерживался, и засмотрелся сам.

— Эк скажут! — сказал он идущему следом Гурию, но тот, не ответив, пихнул его вперед. Поглядев исподлобья на недоступных балерин, он спросил меня: — Нравятся?

Я пожал плечами, потом кивнул.

— Доберемся и до них, — сказал Гурий. — Никуда не денутся.



Наконец Коля обнаружил небольшую дверь, открыл ее, и, войдя за ним следом, мы попали из тесноты коридора в полутемное пространство за кулисами. На авансцене близилась развязка. Дон-Жуан заставлял Лепорелло пригласить статую Командора к себе на ужин. Вокруг нас, готовясь к своему выходу, толпились одетые в черное подземные духи. Коля и Толя, явно робея, продвигались по стеночке, осматриваясь вокруг в надежде обнаружить Некрича. Мазетто прошел мимо нас под ручку с Доном Оттавио, рассказывая ему анекдот: «Однажды Сталин вызывает Берию и говорит: “Товарищ Берия...”» Изображая вождя народов, Мазетто произносил слова с грузинским акцентом, отведя в сторону руку с как бы держащими трубку пальцами. Двое незанятых рабочих сцены от нечего делать фехтовали на бутафорских рапирах. Я заметил Некрича первым — он сидел на краю стола, где лежали разные вещи, используемые по ходу действия: факелы, маски, шпаги, — глаза его были закрыты, он весь ушел в музыку, и свисающая, не доставая пола, нога раскачивалась в такт. Лицо Некрича было приподнято, подбородок выставлен вперед, гордость бросающего вызов смерти Дон-Жуана переполняла его. Пока я раздумывал, как бы мне незаметно предупредить Некрича, Гурий увидел его тоже. Кивком головы он показал на него Коле и Толе. Те переглянулись и стали медленно, словно боясь спугнуть его, как бабочку, подходить сзади. «Да!» — ответил страшный голос статуи Командора на вопрос Дон-Жуана, придет ли она к нему на ужин, и руки Коли и Толи легли с двух сторон на плечи Некрича.

Андрей поглядел направо, потом налево, дернулся было, но его держали крепко. Он сразу обмяк, точно из него выпустили воздух, Коле и Толе пришлось, ведя его, поддерживать под мышки, потому что у него подкашивались ноги. От страха он, кажется, утратил голос и только провожал взглядом окружающих, на глазах у которых его уводили на убой. Никому не было до него никакого дела. Прежде чем я решил его что-либо предпринять, пол сцены внезапно сдвинулся и поехал — декорация кладбища на авансцене менялась. Не ожидавшие этого Коля и Толя споткнулись, и Некрич вырвался, вывернувшись из своего свитера, оставив его у них в руках. Коля поглядел на свитер, удивленный, что он вдруг опустел, скомкал его и бросил Толе. Некрич улепетывал не бегом, а быстрыми мелкими шагами, петляя между декорациями и людьми. Таким же манером пустились за ним Коля и Толя. Некрич обернулся на них и побежал, те словно ждали этого, чтобы тоже перейти на бег. Он задел плечом картонную колонну, она закачалась, Андрей хотел удержать ее, но, видя, что преследователи совсем рядом, бросил, и колонна упала на руки Коле. Коля попытался поставить ее, но колонна плясала на месте, как пьяная, он плюнул и кинул ее на Толю, тот подхватил и так и остался стоять с ней растерянным атлантом. Вертясь меж могильных памятников и плит, Некрич то и дело оглядывался и при этом быстро облизывался. Пробегая мимо стола, где лежали шпаги, маски и прочее, он схватил одну рапиру, сделал пару выпадов в сторону Коли, тот вооружился другой, и несколько секунд они фехтовали. Некрич, тыча шпагой в лицо противника, страшно скалил зубы. Отступая, он толкнул собирающуюся выходить на авансцену Донну Анну.

— Сколько можно, Андрей?! — сказала она разгневанно. — Прекратите наконец этот бардак!

До Коли между тем дошло, что шпаги, которыми они дерутся, бутафорские, он поймал рукой оружие Некрича, вырвал его и бросил прочь. Некрич стоял перед ним, сося ушибленный палец, сморщившись от боли. Оба не двигались, глядя друг другу в глаза, ожидая, кто дернется первым. Некрич с пальцем во рту подмигнул Коле левым глазом, потом правым, потом снова левым, внезапно рванулся в сторону и исчез за декорацией галереи замка. Коля вместе с подоспевшим Толей обошли декорацию с двух сторон, но Андрея нигде не обнаружилось. Загадочным образом он скрылся внутри плоской фанерной галереи. Коля постучал по грубо разрисованной фанере, прислушался. Толя просунул голо-

ву в отверстие окна, еще раз оглядел изнанку декорации — Некрича как не бывало. Стоя возле занавеса, они в недоумении осматривались, вдруг Коля схватился обеими руками за зад, получив сильный пинок с тыла. Поскольку никого рядом не было, он пнул отвернувшегося Толю, тот, недолго думая, вмазал ему в ответ, они едва не сцепились, но в последний момент догадались заглянуть за занавес. Некрич тем временем уже выскочил оттуда и прыгнул в оркестровую яму. Лавируя между музыкантами, он взял на бегу скрипку, провел смычком по струнам, положил на место, продудел в блок-флейту, дернул струну контрабаса, издал, не останавливаясь, захлебывающийся сигнал в рожок, выбил ладонями короткую дробь на барабане. Отрывочные диссонансирующие звуки сбили звучание оркестра, это был крик о помощи, в зале зашикали, многие начали замечать, что происходит что-то не то. Дирижер, бешено улыбаясь, показал Некричу кулак. Мы с Гурием перешли в угол закулисного пространства, откуда была видна оркестровая яма, и наблюдали, как Коля пробирается вслед за Некричем сквозь оркестр, словно медведь через бурелом. Андрей, выбравшись из ямы, снова нырнул за кулисы, взобрался по порталу на галерку. Толя, пыхтя, полез по узкой лесенке за ним. Когда оба амбала бежали за Некричем по доскам галерей, поднимаясь с первой на вторую, со второй на третью, все выше и выше, под самый потолок, гулкий топот их ног наполнял собой всю колосниковую башню. В конце последней галереи, прямо напротив нас, Некрич, едва различимый снизу, замер — видимо, дальше прохода не было. Вконец запыхавшиеся Коля и Толя медленно приближались к нему. На сцене Командор предлагал Дону-Жуану покаяться. Тот отвечал отказом. В руках у Некрича я увидел конец каната, закрепленного под потолком. Когда Коля и Толя были совсем уже рядом, Андрей перемахнул через поручни и на глазах у всего зала пронесся на канате над сценой, чтобы приземлиться на галерею с противоположной стороны. Он пролетел над декорациями, как некий ангел с огромными, застывшими от страха, кажется, уже не принадлежащими лицу глазами. Дон-Жуан и Командор, вместо того чтобы жать друг другу руки, окаменели с задранными кверху головами. Это продолжалось секунду, в оркестре ничего не заметили, музыка не прервалась. «Ушел, с-сучара!» — процедил Гурий сквозь зубы.

— Ира...— Я провел пальцами по ее выглядывающему из-под одеяла плечу, которое становилось то темнее, то светлее в одном телевизором освещенной комнате.— Ирина...

— Мне мое имя совсем не нравится.— Она подняла голую руку, разглядывая унесенный из квартиры Некрича браслет старухи костюмерши, соскользнувший с запястья ближе к локтю.— Просто терпеть его не могу. Я хотела бы зваться как-нибудь иначе... Например, Ханна... Или Хари...

— Хари Веткина. А что, звучит...

Все, что она говорила или делала, казалось мне необыкновенно ей идущим, любые слова или жесты, поскольку они были связаны с нею, выглядели удачными, по крайней мере забавными. По телеэкрану между тем, тряся кудрявой шевелюрой, метался Пьер Ришар. Я начал смотреть комедию, чтобы убить время, поджидая Ирину, а когда она пришла, просто убрал звук. Немой экран выглядел совершенно иначе, чем говорящий. Даже безнадежный придурак Ришар не мог всей своей суетой помешать возникновению в кадре новой, непривычной глубины. Точно не смотришь на то, что специально смонтировано и предназначено для зрителя, а подглядываешь за чужой жизнью, нелепой и все же не лишенной внутреннего, скрытого от посторонних значения. Оставшись без голоса, с детства знакомый Ришар выглядел иным, несмотря на ту же самую жестикуляцию и походку, точно я только сейчас увидел его по-настоящему. Он был невероятно удачлив, этот придурак Ришар, он все путал, забывал, спотыкался на каждом шагу, и тем не менее ему всегда везло. Неудачи обрушивались на него одна за другой, но он жонглировал ими с необыкновенной легкостью, балансируя на од-

ной ноге, но никогда не падая. Судьба всегда была на его стороне. В беззвучии переворачивались машины, падали самолеты, тонули катера, но Ришар неизменно выходил сухим из воды. Опять он что-то напортачил, и целый дом бесшумно обрушился в кадре — тишина в комнате уплотнилась, мне показалось, что стоит еще немного сосредоточиться, и я пойму секрет его везения, но Ирина вдруг поднялась на локте, заслонив собой пол-экрана, и сказала:

— Сделай звук, я тебя очень прошу, я не могу смотреть телевизор без звука! Или лучше выключи совсем, давай поговорим о чем-нибудь.

— Мне кажется, молчать вместе — это больше, чем разговаривать.— Я встал и выключил телевизор.— Иногда даже больше, чем вместе спать...

— Не знаю, может быть. Только я этого не переношу. Ненавижу, когда рядом со мной молчат, как будто меня нет. Чем меня Гурий больше всего изводит, так это не тем, что неизвестно где по ночам пропадает, черт с ним, пусть шляется где хочет, а тем, что молчит целыми днями. Молчит, курит и на потолок смотрит. Или в окно. Может с утра до вечера в окно таращиться и ни слова мне не сказать. Меня под вечер уже трясет, я убить его готова. Некрич, тот по крайней мере болтал без умолку, за одно это я ему была благодарна.

Я вспомнил, как Некрич рассказывал мне, что Ирина заплакала на «Волшебной флейте» в сцене, где Тамино проходит через испытание, по условиям которого ему запрещается разговаривать, а Памина думает, что он не хочет отвечать ей, потому что разлюбил.

— Но с Некричем мне всегда казалось, что он не со мной, а сам с собой объясняется, я ему просто так нужна, для присутствия. А первый мой муж вообще неделями молчал, как рыба...

Ирина глядела в сторону, на темное окно, но рука ее лежала на моей, словно удостоверяясь, что я рядом, никуда не делся. Внезапно я непривычно остро, как будто свое собственное, почувствовал ее грубое одиночество среди мужчин, между которыми она так бессмысленно металась, раздавая им себя по частям в неисполнимой надежде однажды избавиться от себя целиком раз и навсегда, но неизменно оставаясь вновь наедине сама с собою. Мне вспомнилось ее лицо при нашей первой встрече в метро, когда нас вынесло из вагона и Ирина потеряла меня из виду, выражение беспомощности и беспричинного страха на нем. Теперь я понимал его: это был ни на секунду не покидающий ее страх перед одиночеством, поднимающийся на поверхность с небольшой глубины, как только она оставалась одна.

— Зажги свет,— попросила она,— мне пора собираться. Уже опаздываю.

Она появлялась у меня обычно два, иногда даже три раза в неделю, хотя случались недели, когда она не приходила вовсе и даже не звонила. Я не испытывал досады оттого, что все это время Ирина принадлежала не мне, лишь обостренное любопытство к тому, как она вела себя с другими. Я пытался представить себе ее с Гурием или их труднообразимую совместную жизнь с Некричем, не сомневаясь, что с ними она была иная, чем со мной, я множил мысленно ее роли, из которых мне была доступна лишь одна,— тем больше мне хотелось увидеть остальные. Кажется, я не имел бы ничего против того, что Гурий спит с ней, если бы мог при этом присутствовать. Хотя просто присутствовать и видеть мне было бы мало, я хотел бы знать все, что она чувствует, почему двигается, вскрикивает и стонет так, а не иначе, что происходит под ее закрытыми веками. Я был бы удовлетворен лишь в том случае, если бы смог проникнуть под поверхность кожи и понять изнутри каждое движение. Но даже и этого было бы все же недостаточно, ведь до Гурия у нее был Некрич, а до него многие другие, и многие, вероятно, еще будут. Нет, интерес к недоступным мне сторонам и временам Ириной жизни мог быть исчерпан, только если бы я смог прожить всю ее жизнь от начала до конца вместо нее. Максимализм любопытства освобождал меня от обыденной ревности с ее скромным стремлением всего лишь к единичному обладанию.

Иногда со скрытой от меня стороны Иринино существования приходили неожиданные известия в виде синяков в разных местах ее тела. Гурий время от времени поколачивал ее, надо полагать, в воспитательных целях, потому что не сильно, но тем более обидно. Поворачиваясь в постели с боку на бок, Ирина показывала мне следы его рукоприкладства: «Вот, вот... и вот еще... Ладно бы она меня только бил, мне себя не жалко, на мне все как на кошке заживает, но он ведь еще и платье мое порвал, которое сам же подарил!» Я внимательно исследовал голубые, иногда желтоватые или коричневые синяки, точно они были специально мне адресованными посланиями, осторожно гладил их, едва касаясь, стоило дотронуться чуть сильнее, как Ирина морщилась от боли. Каждый из них был клеймом, знаком того, кому принадлежит ее тело. В конце концов возник на моем пороге и сам хозяин.

О своем приходе Гурий предупредительно сообщил заранее, так что я мог не опасаться, что он случайно столкнется с Ириной, бывшей у меня накануне. На нем был тот же самый, что и в прошлый раз, белый плащ с залегшими между складками, пахнущими водой мартовскими тенями. Гурий был хмур, небрит, с похмельными мешками под глазами.

— Не звонил? — спросил он, едва войдя.

— Пока нет, — ответил я, что было неправдой: за время, прошедшее после посещения театра, я уже несколько раз разговаривал с Некричем по телефону. Он жил у Кати; когда она уходила на работу, оставался один, и иногда на него накатывали приступы такого страха, что он не мог больше сдерживаться и звонил мне.

— Объявится, куда не денется. Куда ему деваться?.. Столько людей его по всей Москве ищет... Хотя запрятался он глубоко... — Говоря, Гурий не глядел на меня, осматривая комнату, точно его не оставляла надежда, что Некрич скрывается где-то здесь. Потом вдруг повернулся ко мне:

— Скажи, где он, ты же знаешь.

Этого вопроса я, в общем, ожидал, поэтому ответил без запинки:

— Знал бы — сказал бы.

— Не бойся, мы убивать его не станем... Только поговорим по душам. Должна ведь и у Некрича душа быть... Или нет, как ты считаешь?

— Душа — это то, что внутри, а Некрич весь вывернут наружу. За душу ты его навряд ли поймаешь.

— Думаешь?.. — Гурий поморщился и, не докурив до конца сигарету, раздавил в пепельнице окурки с таким отвращением, как если бы это и был Некрич. — Где же его искать? Лепнинский сказал, будто тот ему говорил, что недели не может прожить, чтобы на музыкальный концерт не сходить. В консерваторию. Ладно, я поверил, посадил в эту самую консерваторию человека, чтобы на каждом концерте сидел, ни одного не пропуская. Через неделю не выдержал парень, срываться стал, чуть что — в слезы, потом запил, пришлось заменить. Второй и недели не продержался, загулял по-черному.

— Слабые у тебя ребята.

— Это музыка на них так действует. Сила искусства. — Гурий криво усмехнулся.

На улице стало смеркаться и зажегся фонарь напротив, высветив на потемневшем оконном стекле несколько прозрачных отпечатков губ. Это были Иринины отпечатки, она любила прижиматься лбом, щекой и особенно ртом к холодному окну. Днем они были не видны, и я забыл о них, но с погружением стекла в сумерки они выступили на нем, как водяные знаки. Гурий смотрел точно в направлении окна. Конечно, определить по отпечаткам, кому они принадлежат, он бы не смог, но то, что я не догадался стереть их, наводило на мысль, что в квартире могут оставаться другие не замеченные мной следы Иринино присутствия. Когда Гурий вышел в туалет, я с тревогой подумал, что перед его приходом внимательно оглядел прихожую и комнату, но смотрел ли я в туалете и

ванной, не мог вспомнить. Ирина то и дело забывала у меня разные мелкие вещи, то клипсы, то браслет, то губную помаду, я даже подозревал, зная ее привычку изобретать приметы, что она делает это не случайно, а для того, чтобы быть уверенной, что придет снова (сигарета за проводом у двери была из того же ряда), но тот, кто раскидывает сеть знаков, чтобы поймать случай, чаще всего сам же в нее попадает, поэтому с чувством, будто это происходит не со мной, я без труда представил себе, как, войдя в ванную, Гурий обнаруживает у зеркала пару Ирениных сережек. Но из туалета он сразу вернулся в комнату — привычка мыть руки после уборной у него, к счастью, отсутствовала.

— Голова болит, — Гурий поморщился, — перебрали вчера немного. Посадил одного идиота на биржу, он накупил под Новый год шампанского полтора вагона, а пока мы его перевозили, оно в цене упало. Теперь девать его некуда, весь склад шампанским до потолка завален, пьем его, как воду. Вчера с Колей и Толей по бутылке на брата уговорили.

Гурий отвернулся от лампы, режущей ему глаза, и стал смотреть на улицу сквозь стекло с отпечатками Ирениных губ.

— Ты случайно не знаешь, кому можно вагон брюты загнать? Или хотя бы полвагона?

Я подумал, что, кажется, напрасно боюсь, что Гурий заметит у меня какие-нибудь мелкие улики Ирениных посещений. Он воспринимал мир в ином масштабе, в его болезненной голове вращались маховики большого бизнеса, он измерял действительность тоннами, миллионами, вагонами. Закурив, Гурий слегка склонил голову набок, восстанавливая в ней равновесие боли.

— Никогда, мать твою, не угадаешь наверняка, на что цены будут повышаться, а на что падать. Есть, конечно, надежные вещи — золото, недвижимость. Но вот Лепнинский, дошлый тип, своего не упустит, по нему видно, вывез всю мебель из некричевой квартиры, а саму квартиру мне оставил. Так мы с ним разошлись, я еще приплатил ему, думал, в большом выигрыше остался. А может, он меня все-таки наколол, а я и не понял? Для чего ему вся эта рухлядь, что он с ней будет делать?

— Он же коллекционер.

— А зачем он коллекционер? — Гурий поскреб ногтями щетину, подозрительно взглянул на меня. — Как это вообще понимать?

Лепнинский сказал, что ждет нас. По словам Гурия, он уже давно приглашал его к себе посмотреть, как встала мебель. Я предложил позвонить ему прямо сейчас и, если он не будет против, захватить в гости: мне все-таки не терпелось выпроводить Гурия из моей квартиры и идея отправиться к Лепнинскому показалась удобным поводом.

Дверь нам открыла седая женщина в переднике, судя по всему, домработница. На звонок торопливо спустился по лестнице, ведущей, очевидно, на второй этаж, сам хозяин в вязаной кофте, с красным от насморка носом и горлом, заматанным шерстяным шарфом.

— Приветствую, приветствую, проходите, не стойте на сквозняке. Весной легче всего простудиться, самое опасное время. Проходите вот сюда. Сейчас Полина Кузьминична нам что-нибудь закусить сообразит. Верно, Полина Кузьминична?

Вид у Лепнинского был такой, точно он уснул перед нашим приходом, мы его разбудили, и теперь он суетится, чтобы скорее взбодриться, прогнать сонливость. В комнате, куда он нас провел, мне сразу бросилась в глаза мебель из квартиры Некрича: сервант карельской березы, ореховый буфет с горкой, то самое бюро со множеством ящичков, которое отец Некрича якобы привез из Голливуда. В других комнатах Лепнинский показал нам потом и всю коллекцию нэцке в полном составе, и пианино «Zimmermann», и все остальное. Но хотя скрестивший ножки Дон-Кихот стоял на этажерке из красного дерева точно так же,

как у Некрича, все-таки вещи выглядели здесь слегка потерянно. Распалась связывавшая их круговая порука, и в ярком освещении стала заметна обшарпанность. По стенам, громоздясь одна над другой до самого потолка, висели картины в рамах: сочная масляная живопись, рисунки углем, карандашные наброски. Портреты героев труда, большие мозолистые руки, прямой взгляд, генералы в медалях, плотно сжатые губы, стальные глаза, пейзажи со свежевспаханной землей и каплями дождя, натюрморты с синим фаршем сирени, мытыми фруктами и прозрачными стаканами, вальяжные актеры и холеные актрисы, академик с микроскопом, марширующие пионеры, рабфаковцы, студенты, нежная заря над колхозными полями, цеха, озаренные светом мартеновских печей, жанровые сцены, легкое веселье, ветер, развевающий косынки работниц, горячее солнце на свежих правильных лицах. Я загляделся на полотно под названием «На стадионе»: женщина в черных трусах и таком же черном бюстгальтере, закусив нижнюю губу, сильно размахивалась, чтобы метнуть диск в направлении зрителя. Диск был в центре картины, вокруг него строилась вся композиция. В свой мощный замах метательница вовлекала разлетающиеся в стороны от диска облака, точно вместе с собственным торсом она закручивала разом все высокое сизое небо. Над ней, в голубизне, раскинув руки и выгнув спину, парил маленький ныряльщик: он прыгнул с вышки в реку, и художник запечатлел его в высшей точке траектории прыжка. Весь мир был остановлен в своей высшей точке, в предельном напряжении замаха и взлета, это был глубочайший вдох мира, в следующую секунду должно было начаться падение и разряжение, но на полотне все застыло в апофеозе. Задний план растворялся в солнечном тумане.

— Нравится? — спросил, подойдя сзади и беря меня под руку, Лепнинский. — Это авторская копия, оригинал датирован двумя годами раньше. Самохвалов, большой мастер. Знаете, за сколько она мне досталась? Не поверите. Даже стыдно сказать, за совершенно смешные деньги. А есть здесь полотна, которые я и вовсе даром приобрел или за чисто символические суммы. Настоящей цены на эту живопись пока еще нет. Но можете мне поверить, через несколько лет стоимость моей коллекции взлетит до небес, мои картины будут стоить тысячи, десятки тысяч. Я имею в виду, конечно, долларов. А у меня ведь есть не только картины. Я могу вам показать плакаты того же периода, почтовые открытки, киноафиши, большое собрание трубок, портсигаров, агитационный фарфор...

Оглянувшись на Гурия, я заметил, как он внимательно слушает.

— На втором этаже у меня одежда: френчи, кожанки, толстовки, регланы — все, что душе угодно, четыре битком набитых шкафа.

— Почему вы уверены, что все это поднимется в цене? — спросил Гурий.

— Можете мне поверить! Что до живописи, то мы стоим сегодня на пороге глобальной переоценки ценностей. Миф об авангарде исчерпал себя, обнаружив полную несостоятельность. Русским авангардом уже завалены все аукционы, он больше никому не интересен. Пришло время для гамбургского счета. Становится наконец ясно, что художники вроде Поповой, Малевича и иже с ними обязаны своей популярностью чисто политическим причинам и не идут ни в какое сравнение с такими классиками, как Налбандян, Ефанов, Соколов-Скалая, не говоря уже о Кончаловском или Корине. А произведем грядущую переоценку мы, коллекционеры, потому что мы и есть на самом деле подлинные революционеры в области вкуса...

Лепнинский достал платок, звучно высморкался и поморгал красноватыми веками над слезящимися глазами.

— Ну а вещи? — спросил Гурий с деланным безразличием, скрывающим явную заинтересованность. — Думаете, они тоже подорожают?

— Еще как! Вот увидите! Как только все поймут, что их эпоха действительно ушла и никогда больше не вернется, они снова войдут в моду. Коллекционная цена имеет мало общего с действительной стоимостью, она является мерой на-

шей сентиментальности и ностальгии, а эти чувства с течением времени только усиливаются... Вам не кажется, что от окна сквозит? Нет? А мне всюду мерещатся сквозняки...

Лепнинский задернул темные шторы на окне, запахнул потуже свою вязаную кофту. Полина Кузьминична внесла чай с коньяком и ликерами. «Физкультурник — будущий боец», — было наискось написано на чайнике.

— Мы, коллекционеры, проводим черту, отделяющую прошлое от настоящего. Мы приходим после того, как свершится суд над прошлым, после оглашения приговора. Суд над прошлым сам принадлежит прошлому и уходит вместе с ним. Мы определяем момент, когда минувшее становится безвозвратным, выходя из времени в вечность, и сохранившиеся вещи обретают коллекционную ценность. С этого момента они утрачивают обыденное назначение, приравняваясь к произведениям искусства и соответственно возрастая в цене. Как факты, пережив свое время, становятся легендами о себе, так и вещи, которые я собираю, больше самих себя — они представляют эпоху. Время — самый большой художник, оно наделяет особой ценностью все, что не уничтожает...

Заметив, что Гурий собирается закурить и хлопает себя по карманам в поисках зажигалки, Лепнинский протянул ему коробок с надписью «Канал Москва — Волга 1937 — 1947». Над надписью были нарисованы шлюзы канала, сквозь них плыл пароходик, сверху кружились чайки. Гурий покрутил коробок, рассматривая, осторожно чиркнул спичкой, пальцы его вздрогнули, точно он не ожидал, что она действительно зажжется.

— Кстати, об Андрюше у вас никаких новых сведений? — спросил Лепнинский как бы между прочим.

— А у вас?

— Нет, пока ничего... Взгляните, как его ваза сюда хорошо встала.— Лепнинский кивнул в сторону стоявшей рядом напольной вазы с портретом отца Некрича и, протянув руку, погладил ее по круто выгнутому боку, как женщину по бедру.— Странно, странно...

— Что вам странно? Что он не разгуливает по улице Горького, ища встречи с нами?

— Да нет, мне странно, что я так в нем ошибся. Мне казалось, что он способен на большее, нежели заурядное мошенничество, на нечто подлинно значительное... У меня создалось впечатление, что он человек масштабных жестов... А то, что он сделал,— это ведь так мелко, согласитесь... Обмануть людей, которые, доверяя ему, не потрудились проверить...

— Что вы имеете в виду под большим, чем мошенничество? — спросил я, вспомнив об угрозах Некрича в адрес Ирины.— Убийство?

— Разве в банальном убийстве есть подлинный масштаб поступка? Где-нибудь в сонной Европе еще может быть, но не у нас... Здесь это унылая обыденность, неблагодарный труд тупых чернорабочих от криминала...

Гурий взглянул на Лепнинского исподлобья, решая, кажется, стоит ли ему принимать последние слова на свой счет, затем снова погрузился в разглядывание спичечного коробка. Похоже, он впервые открывал для себя мир мелких вещей, оказывающихся способными пережить грандиозные эпохи.

— Что вы с ним делаете, если поймаете?

Вместо ответа Лепнинский высморкался, с выражением глубокого сожаления вытер нос и убрал платок в карман.

— Сначала поймать нужно, — сказал Гурий. — Ирина считает, что такой человек, как Некрич, как только у него появятся лишние деньги, первым делом отправится в бардак. Она его все-таки лучше любого из нас знает, поэтому я поручил одному из моих людей обойти все московские бардаки с его фотографией.

— Этого задания ему до конца жизни хватит... — сказал Лепнинский.— Жаль, что вы его тогда в театре упустили. Ну да ничего, найдется. Помните этот

стол из Андриюшиной квартиры? — Лепнинский показал на стол из кабинета отца. — Я три года такой искал. И вот, пожалуйста, он мой. Так и Некрич не пропадет, рано или поздно встретимся.

Потом, после того, как мы осмотрели несколько витрин со спортивными кубками, вымпелами и значками ГТО, ознакомились с небольшим, но представительным собранием отечественных зажигалок, поднялись на второй этаж, где Лепнинский продемонстрировал нам содержимое шкафов с одеждой, уже провожая нас в прихожей, он еще раз сказал:

— А Некрич отыщется, никуда не денется. Без него моя коллекция неполная.

Когда мы вышли от Лепнинского, Гурий не отпустил меня, а потащил с собой в ресторан. Большого желания идти с ним у меня не было, но он настаивал, я согласился.

— Ну как тебе этот кол-лек-ционер? — спросил Гурий, когда мы сели за столик, для пущей иронии произнеся последнее слово по слогам.

— Да так, постаревший мальчик. Как начал в детстве с марок или открыток, так до сих пор не может остановиться.

— А квартира у него ничего себе. Два этажа, не хило! Только от центра далековато.

— Для того чтобы запихнуть в нее целую эпоху, она все-таки мала. А он ведь к этому стремится, ни к чему другому: сконцентрировать время до размеров интерьера, сделать уютным мир гигантских масштабов, вместить его в четыре стены или сколько их там у него, чтобы было, как в опере, — уют одновременно с пафосом и размахом. Прошлое всегда уютно, когда оно прошло, каким бы оно ни было на самом деле.

— Думаешь, он не врет? — Гурий облокотился о стол, лицо его придвинулось ко мне, щетина на подбородке и скулах была полуседой. — Думаешь, все это тряпье и хлам, которые он собирает, действительно поднимутся в цене?

— Думаю, что для Лепнинского дело не в деньгах. Скорее в строительстве обороны от мира.

— На это мне плевать, я о другом. Может, чем разыскивать старье, выгоднее набрать нынешних вещей и подождать какое-то время, сейчас ведь все со страшной скоростью меняется? Глядишь, десяти лет не пройдет, и все начнут за нынешним гоняться. Теперь же вещи, особенно наши, советские, среди которых мы выросли, среди которых наша жизнь прошла, на глазах исчезают, скоро совсем не останется. За что ни хватись — ничего уже нет! А так я и в коллекционеры заделаюсь, и наварю еще на этом...

Мне стало ясно, что Гурий ищет способа изменить свой статус, избавиться от репутации разбогатевшего вора, войти в избранный круг, к которому, по его мнению, принадлежал Лепнинский.

— Проблема только в том, как угадать, на что из теперешнего будет спрос в будущем. То есть что исчезнет, а что останется. Нельзя же все подряд собирать, так никаких денег не хватит.

— Чтобы коллекционировать настоящее, нужно видеть его со стороны. Или из будущего. Невозможно собирать то, частью чего сам являешься, нужно ему не принадлежать. Тут бы тебе Некрич помог, у него ведь, если верить твоей подруге, нюх на будущее...

— Опять Некрич, Некрич, везде он! — Гурий покривился, точно нечаянно надавил языком на больной зуб. — Ирина с ним даже во сне вслух разговаривает...

Он вдруг придвинулся ко мне совсем близко, в его левом зрачке красной искрой отражался софит с ресторанной сцены, из-под пиджака на меня сильно пахнуло потом. Я подумал, что этот запах Ирине, наверное, нравится.левой рукой Гурий обнял меня за плечи, и в тот же момент я ощутил, как что-то твердое ткнулось мне под столом в живот.



— Говори, где он, я тебе не верю, что не знаешь!

От твердого прикосновения к животу внутри у меня ёкнуло, и я почувствовал, что все внутренности в теле подвешены в пустоте. Я опустил руку под стол и нашел руку Гурия с зажатым в ней маленьким пистолетом. Он дал мне ощупать его, и по тому, как он улыбался, я понял, что он, по крайней мере отчасти, шутит, попросту хвастается оружием.

— Понятия не имею, клянусь тебе.

Наши пальцы соприкасались на пистолете, я не решался ни отодвинуть его руку, ни убрать свою. Руки заключали свой сепаратный мир под столом, и, пока они касались друг друга, я мог быть, кажется, уверен, что Гурий угрожает мне не всерьез. Но и не опасаясь, что он в самом деле способен выстрелить, я все-таки чувствовал упор пистолета так, точно он врос в меня, превратившись в опухоль в животе.

— Что, перессал? — Гурий убрал наконец пистолет. — Не бойся, я человек вежливый, зря людей не обижаю. Смотри, какая подавальщица пошла! Вот это жаба, а?! Может, познакомимся?

Закончился вечер после закрытия ресторана, как и следовало ожидать, на складе — в громадном, тускло освещенном ангаре, доверху заставленном ящиками с шампанским. Пили вместе с красивой официанткой из ресторана и молчаливым охранником. В какой-то момент, когда выпито было уже много, Гурий поднялся, отошел, покачиваясь, на несколько шагов, достал пистолет и заорал в темную глубину ангара: «Некрич! Выходи, скотина!» Затем прозвучал первый выстрел. «Все равно узнаю, где прячешься! Все равно найду!» — кричал Гурий и палил, не целясь, во все стороны. От стрельбы в ушах стоял тонкий непрерывный писк, дребезжание разбиваемых бутылок, казалось, раздается в голове. Из пробитых в ящиках дыр, изгибаясь в воздухе блестящими струями, хлестало шампанское. Вспениваясь, оно растекалось ручьями по бетонному полу. Мы подставляли под струи рты, шампанское попадало в глаза, щекотало нос, стекало под рубаху. «Некрич, убью! Своими руками загашу!» Я не мог понять, дурачится Гурий спяну или у него развилась белая горячка и он на самом деле полагает, что Некрич где-то здесь, но довольно скоро мне это стало безразлично. Вытерев рукой залитое шампанским лицо, я почувствовал свою голову совершенно чужой. Белая кофточка официантки, промокнув, стала совсем прозрачной, а тускло блестящие выпуклые глаза под мокрыми веками еще больше, чем были, так что, встречаясь с ними, мой взгляд сам собою съезжал в сторону, поскользнувшись на уклоне глазной поверхности, и я окончательно терял опору под ногами. Когда Гурий обнял официантку, она повисла у него на плече. Он поднял ее на руки, как не умеющую ходить русалку, и унес за ящики.

Под утро, кое-как добравшись до дому, прежде чем упасть на постель, я взглянул в ванную. Возле зеркала над раковиной, именно там, где я и представлял себе, лежал Иринин браслет, тот самый, принадлежавший старухе костюмерше.

Общего прошлого у нас с нею не возникало. При каждой встрече с Ириной мне казалось, что мы только что познакомились и предыдущая встреча была первой. Дело было не только в том, что любое ее уже известное движение всякий раз виделось мне новым, словно, пока мы были не вместе, чужие руки стирали с нее всю привычность, — любовь ведь и есть в конце концов лишь способность к повторяющемуся изумлению перед одним и тем же, повторяющимся опять и опять. Причина заключалась еще и в ненадежности наших отношений, в непредсказуемости завтрашнего дня, в отсутствии будущего, которое, отражаясь в прошлом, стирало его у нас за спиной. Эта ненадежность оставалась неизменной с самых первых Ирининых приходов ко мне, поэтому каждый раз, имея все шансы стать последним, был похож на первый. Наше общее прошлое сжи-

малось в памяти до одной встречи, мы существовали в нерасчленном времени, без завтра и с единственным вчера.

Однажды мы встретились в центре и, вместо того чтобы поехать ко мне, решили зайти на некричеву квартиру, куда Ирина с Гурием еще не переехали, потому что Гурий затеял там капитальный ремонт, стремясь, очевидно, вытравить без остатка из помещения дух Некрича и всей его родни. Было воскресенье, значит, рабочих в квартире не было, она стояла пустой. Я открыл дверь тем же самым ключом, что и в прошлый раз. На днях белили потолок, поэтому пол и оставшиеся вещи были покрыты сплошным слоем газет, засыпанных белой пылью, газетный шрифт мутно проступал через нее. Сквозь заляпанные краской стекла падал блеклый, рассеянный свет. Опустевшие помещения, из которых Лепнинский вывез большую часть мебели, неузнаваемо выросли в размерах. Шурша газетами, мы входили в оглохшие от белизны комнаты, точно в застывшие среди солнечного дня зевки пространства, подавившиеся тишиной. Мы старались перемещаться осторожнее, чтобы не испачкаться в белилах. На месте вывезенных предметов мебели остались их силуэты, выделяющиеся на обоях, словно залитые более ярким светом. Когда, оставив Ирину в одной из комнат, я не обнаружил ее там, вернувшись через пару минут, мне пришла мысль, что она исчезла, превратившись в такой же сияющий силуэт на стене. Я вновь нашел ее в кабинете. Вывернув шею, она пыталась через плечо разглядеть свою спину, ища на ней белые пятна, которых там не было. Я тоже постоянно испытывал здесь желание заглянуть себе за спину, но не из опасения, что испачкался, а потому что каждый шаг и движение в этих странно увеличившихся комнатах исчезали позади, как не были, всасываясь белизной раньше, чем осознавались. Проходя по коридору, где пол не был закрыт газетами, мы оставляли за собой белые следы. Из столовой донеслось отчетливое «апчхи!». Войдя туда, я не нашел, хотя готов был к этому, старухи костюмерши, увидел лишь только что поднятое небольшое облако белесой пыли. Не то чтобы я всерьез рассчитывал встретиться с покойной некричевой бабушкой, допуская, что призрак продолжает оставаться в квартире, терпя все связанные с ремонтом неудобства, но меня не покидало ощущение, что мы обладаем с ней в этих стенах примерно одинаковой степенью реальности.

Я быстро вернулся к Ирине. Родинка над ее губой была единственной в поле зрения темной точкой, не поддающейся замутнению белизной. Я протянул руку. Пальцы легли на ее шею. К счастью для нас, Лепнинский не позарился на старую тахту, оставив ее стоять в кабинете.

— Может быть, ты хочешь поехать ко мне? — спросил я на всякий случай, снимая с тахты газеты.

— Нет, здесь, — ответила она. — Теперь тут все мое. Я у себя дома.

У меня была купленная по дороге бутылка вина, но, порывшись по карманам, я обнаружил, что забыл нож со штопором, который обычно ношу с собой.

— Можно спросить штопор этажом ниже, в квартире под нами, — предложила Ирина. — Там живет один старик, друживший с Некричем, Иннокентий Львович. Только я не пойду.

— Почему?

— Лень, одеваться неохота. — Она потянулась на тахте. — А главное, к нему идти — значит, разговаривать с ним, а это надолго. Ему же скучно одному. Некрич у него целыми вечерами просиживал.

На звонок дверь мне открыл сутулый старик с белыми усами, пучками волос в ушах и проступающей сквозь дряблую кожу щек сетью тонких склеротических сосудов. Он был в том возрасте, когда возраст определить уже невозможно. На вопрос о штопоре он прошамкал что-то невнятное, что могло означать «заходите», сделал приглашающий жест ручкой и, повернувшись, зашаркал в глубь квартиры. Я вошел в захламленный коридор, освещенный такой тусклой голой лампочкой, что она, казалось, не рассеивала, а наоборот, сгущала полу-

тму. При виде распятого под потолком черного каркаса велосипеда у меня возникло, как когда-то при первом посещении квартиры Некрича, ощущение, что я это уже где-то видел. Вернувшись, Иннокентий Львович стал говорить гораздо яснее, поставив на место вставную челюсть.

— Так вы от Андрюши? Что же вы стоите? Проходите, я сейчас... Что-то он давно ко мне не заходит... Не стряслось ли с ним чего?

— Нет, у Некрича все в полном порядке,— соврал я.

— Значит, штопор... штопор, вы говорите... Сейчас, сейчас... минуточку...

Старик открывал и закрывал дверцы буфета, ящики, шкафчики, полки, поднимал и клал на место кипы газет, которыми была завалена вся комната, на них стояли тарелки с засохшими остатками еды и чашки с заплесневевшей заваркой. Когда газеты падали на пол, он не подбирал их, торопясь и явно расстраиваясь, что не может сразу справиться с такой простой вещью — найти штопор. Слезящиеся блеклые глазки Иннокентия Львовича быстро перебегали от предмета к предмету, мечась, как пойманные рыбки, в сети морщин и красных жилок. Наконец, он нашел и протянул мне перочинный нож с пожелтевшей косяной ручкой.

— Вот же он! Давно мне не попадался... мне-то он, видите ли, без нужды. Тут и штопор есть, и все, что угодно... Самого атамана фон Панвица личный подарок!

— Атамана фон Панвица? — переспросил я, вспоминая, откуда мне знакомо это имя.

— Что, приходилось слышать? Генерал Гельмут фон Панвиц командовал казачьей дивизией в Хорватии, в конце войны казаки избрали его атаманом. А я у него при штабе переводчиком. Всю войну, до самой сдачи в плен.

— Вот оно что... — вспомнил я. — А помощником присяжного поверенного в Одессе вы случайно не служили? Самый красивый помощник самого красивого присяжного поверенного — это случайно не вы?

— Что вы! Это отец мой был. Вам, надо полагать, Андрюша рассказывал? Я в шестнадцать лет бежал из Крыма вместе с добровольцами, а отец остался в России, я его больше никогда не видел... Говорят, он работал в одесских расстрельных трибуналах...

— И на досуге сочинял вальсы...

— Нет, музыка была моим увлечением, отец всему предпочитал женщин. А у меня одна вещь даже была издана в Париже, да-да... Не верите? Если б жизнь сложилась иначе, я мог бы стать композитором, может быть, даже известным... Не верите? — еще раз, теперь с подчеркнутой иронией переспросил Иннокентий Львович. Улыбка, возникнув, осталась на его лице, словно он забыл о ней, понемногу развезжалась, расходясь в морщинах и придавая всему лицу беспомощное выражение.

Я не мог не верить. Мне было очевидно, что передо мной, мигая младенческими глазами, стоит источник всех историй Некрича о своих предках, правдивых, как я убедился, просидев у Иннокентия Львовича весь вечер, до последних деталей, но относящихся к нему, а не к ним.

Старика не нужно было заставлять рассказывать, достаточно было того, что я не уходил. Обрывочно и путано вспоминая, он производил впечатление человека, болтающегося в громадности прожитой жизни, как ключ или монета в глубоком кармане, теряющего себя в одном месте и времени, чтобы обнаружить в другом, всякий раз неожиданно оказываясь то в Крыму, то в Турции, во Франции, потом вдруг в Хорватии, снова в России. Чудом, только благодаря родственным связям с высоким чином в НКВД, ему удалось избежать после войны лагеря — общей судьбы всех находившихся под началом генерала фон Панвица. Потом жил в коммуналке, зарабатывал техническими переводами, затаился в глубокой норе времени, выжил, присоединил комнату умершего соседа... Если я о чем-то спрашивал, Иннокентий Львович часто, не расслышав, отвечал «да-да» и

продолжал совсем о другом. Когда он разливал чай, рука его в рябых пятнах так дрожала, что я поспешил поддержать чайник, чтобы не пролить на скатерть. Говоря, он часто сбивался, забывая, о чем шла речь минуту назад, и тогда смотрел на меня, умоляя взглядом подсказать ему раньше, чем придется просить об этом вслух. Если я приходил на помощь не сразу, пауза начинала стремительно разрастаться, как пропасть, угрожающая поглотить остатки памяти, а вместе с ними и самого Иннокентия Львовича, точно, не подскажи я ему, он один никогда уже не сумеет отыскать нить и замолчит навсегда, обреченный провести немногие оставшиеся годы с застывшей на лице бессмысленной ожидающей улыбкой. В девять старик внезапно оборвал себя на полуслове, сказав, что начинается программа «Время», которую он никогда не пропускает.

— Нужно быть в курсе, а как же... Такое в стране творится... Куда мы катимся, одному богу известно... Я только одних газет пять штук выписываю.— Он показал на газетные кипы.

Я поднялся из-за стола, Иннокентий Львович прошел за мной в прихожую. Когда я, уже стоя на пороге, хотел попрощаться, он вдруг как-то безотносительно и без повода вспомнил:

— Когда мне было лет двенадцать, мы были с отцом в Пицунде, я однажды ушел один в лес и заблудился... Представляете, совершенно потерялся! — Он смотрел не на меня, а перед собой, словно видя в темном свете голой лампочки глухие южные заросли вокруг.— А лес там был такой громадный, дикий... Я думал, что уже не выберусь... Но потом все-таки нашелся...

Он слабо похлопал меня по плечу напоследок, точно меня, а не себя обнадеживая благополучным концом.

— А ножик вы мне отдать, пожалуйста, не забудьте. Сами понимаете, личный подарок...

Вернувшись в квартиру Некрича, я пробрался на ощупь по коридору мимо неосвещенных комнат, ставших в темноте еще громаднее. Я был уверен, что Ирина, обидевшись, давно ушла, но застал ее там же, где оставил,— спящей, положив ладонь под щеку, на тахте в кабинете среди смутно белеющей разлухи ремонта.

Летом Гурий увез Ирину «на юга», и я остался один. Большинство моих учеников тоже разъехалось кто куда, поэтому заняться было особенно нечем. Иногда я ездил купаться за город, остальные дни сидел дома, чтобы не выходить лишний раз на опустошенные жарой улицы.

Вечерами, когда жара спадала и улицы становились просторнее, я шел гулять, проходя мимо сидящих на корточках у подъездов мужчин в тренировочных штанах и глядя вслед женщинам, оставляющим за собой расплывающиеся в воздухе следы запахов.

По ночам я почти не спал, начисто вдруг забыв технику исполнения того фокуса, посредством которого сон извлекается из ночи, как разноцветный платок из пустого черного цилиндра. В сотый раз переворачиваясь с боку на бок, я испытывал прилив внезапного счастья, если удавалось найти на измятой простыне кусок незалежанной прохладной ткани. Проезжающие под окнами грузовики становились слышны издали, рев их неумолимо нарастал до тех пор, пока не начинало казаться, что они один за другим проезжают по тоннелю, прорытому сквозь мою голову от уха до уха. Когда грузовики смолкали, тишина наполнялась комариным звоном. Повисая над черной пропастью бессонницы на дрожащей нитке комариного писка, я не мог отделаться от тревожной мысли, что время такими ночами идет гораздо быстрее, чем когда спишь, и, подходя по утрам к зеркалу, всякий раз обнаруживал у себя больше седых волос, чем накануне.

Пытаясь отоспаться днем, я занавешивал открытые окна шторами. Горячий ветер вздувал их пузырями, и в образовавшиеся между ними просветы в по-

лутемную комнату влетали, лопааясь, шары огня с улицы. Однажды, едва я задремал, телефонный звонок вырвал меня из короткого сна, в котором я успел почувствовать себя совершенно беспомощным и вспотеть. Звонил Некрич, предлагая встретиться. Еще как следует не проснувшись, я согласился и побрел в ванную умыться теплой водой. Потом надел белую рубашку и вышел на белую от солнца улицу.

Голова была полна плавающей, с каждым шагом уточняющейся боли, дужки темных очков сжимали виски, как щипцы. Если я снимал очки, сверкание листвы, громоздившейся шевелящимися грудями битого бутылочного стекла, невыносимо резало глаза. Когда мимо проезжали тяжелые машины, я открывал рот, надеясь, что не уместающийся в голове избыток боли выйдет из меня вместе с выдохом, выдавленный входящим в уши грохотом.

Когда я приехал на место, где договорились встретиться, Некрича еще не было. Очень хотелось пить, и, не найдя ларька, где можно было бы купить воды, я решил зайти на рынок поблизости. На рынке было битком, как в метро в час пик. С криком «Дорогу! Дорогу!», матерясь, расталкивали толпу грузчики с тележками. Люди вжимались друг в друга, терлись потной кожей, расчищая себе локтями место у прилавков, где громоздились горы овощей и фруктов, готовых разорваться от переполнявшей их спелости. Приторный запах клубники смешивался с запахом пота. Во рту у продавщиц с Востока блестели на солнце золотые зубы. Две старухи с соседних прилавков подрались, что-то не поделив. По подбородку одной из них текла кровь, серой от земли рукой она размазывала ее по всему лицу, вторая смеялась над ней черным беззубым ртом: «Что, получила? Еще получишь!» Толстая женщина с блестящим от пота лицом орала на усатую продавщицу, кричавшую, не слушая, в ответ, сильно размахивая руками, между ними тоже должна была, кажется, вот-вот вспыхнуть драка. Кто-то отпихнул, едва не сбив с ног, грузчика, и он, засучив рукава распахнутой на татуированной волосатой груди рубы, с хриплым акцентом грозился задушить того, кто его толкнул. «Сейчас они все здесь поубивают друг друга,— подумал я,— нужно быстрее уходить отсюда, пока не началась всеобщая бойня». Мне все-таки удалось пробиться к ларьку с газированной водой и купить бутылку, но на обратном пути я поскользнулся на раздавленном помидоре, упал и разбил ее. Когда поднимался, перед глазами у меня потемнело и в обступившей со всех сторон тьме осталось только одно сияющее пятно — залитая солнцем грязная белая шерсть свернувшейся у прилавка собаки. Почти на ощупь я выбрался с рынка, отдышался и в понемногу расступающейся тьме увидел поджидающего меня Некрича.

Он был весь в белом, в костюме из легчайшей марлевой ткани какого-то необыкновенного фасона, свисающем с него настолько свободными складками, как будто под ними и вовсе не было тела. Судя по этому костюму, денег, полученных за квартиру, он не жалел. Глаза Некрича вместе с половиной лица скрывали огромные темные очки с отражающими стеклами, в которых я увидел себя — взмокшего, с черными кругами под глазами. Язык его выглянул в щель между губ и облизал их.

Первое, что он мне сказал, было:

— Пить хочется. Идем на рынок, купим воды.

— Я только что оттуда, там смертоубийство, не протолкнуться.

— Пройдем в два счета. Я люблю рынки. Пошли! — Он повернулся, опустив руку в карман брюк, и тронулся, не глядя на меня, уверенный, что я последую за ним. Очевидно, это новый костюм, развевающийся на нем, как хитон, придавал ему такую уверенность. Я хотел было остаться на месте, но кругом не были ни клочка тени, и я подумал, что ждать Некрича на сведенной солнечной судорогой улице ничуть не лучше, чем толкаться по рынку. Пойдя с ним, я по крайней мере покажу ему, где продают воду, и мы быстрее выберемся оттуда.

Способность Некрича к передвижению в толпе на порядок превышала мою. Он проскальзывал между людьми с такой легкостью, как будто улавливал слитные колебания топчущейся человеческой массы и безошибочно предчувствовал, где в ней образуются просветы, чтобы всякий раз вовремя оказаться перед ними. Или это необыкновенная ткань его костюма обладала волшебным свойством обеспечивать ему скольжение без трения о тела. Наконец, может быть, люди просто инстинктивно старались избежать прикосновения к чему-то столь нездешнему и произвольно расступались перед ним. Так или иначе я двигался следом за Некричем, в его фарватере, удивляясь, как легко нам дается это движение, и слушая, как он говорит на ходу:

— Смотри, какие персики! Если б нам не предстояло важное дело, обязательно взяли б. А яблоки, взгляни, яблоки — натуральный Сезанн! А эти бабы, там, за прилавками, — это же чистый Малявин! Напротив девки семечки продают — настоящие григорьевские типажи. Где еще в городе таких встретишь!..

Мы нашли киоск, торгующий водой, купили по бутылке и стали перемещаться в направлении выхода.

— Люблю рынок... Когда народу много, среди него и затеряться легче... и не так страшно... Гляди, какой великолепный матиссовский арбуз! А это уже, пожалуй, репинская натура. — Некрич кивнул в сторону одноногого бородатого нищего на костылях, с лицом, красным от солнца.

Идя рядом с Некричем, я заметил, что на рынке сделалось не то чтобы свободней, но как-то спокойнее. Назревавшая всеобщая бойня, кажется, сама собой рассосалась. Стало немного легче дышать, можно было почувствовать некоторое движение воздуха. Бородатый нищий, повиснув на своих костылях, так пристально и неотступно рассматривал пыльный квадратный метр земли перед собой с плевками, окурками, бутылочными пробками и муравьями, точно вернулся в раннее детство, где каждый, даже самый ничтожный, предмет настолько нов, что его можно разглядывать бесконечно. Бронзоволикая баба за прилавком с картошкой, не обращая внимания на покупателей, смотрела, задумавшись, поверх их голов на облака. Тут только я обратил внимание, что рыночная площадь с трех сторон окружена плотной осадой встающих над крышами домов белоснежных облаков, сквозь которые просеивался мягкий свет, кладя на распаренные людские лица никем не замеченное нежное матовое сияние.

— Ну и какое такое важное дело нам предстоит? — спросил я Некрича, когда мы спустились в метро.

— Нужно встретиться с, по всей видимости, довольно малосимпатичными людьми. Мне не хочется этого делать в одиночку. Твое присутствие будет лишним, я уже договорился, что придем вдвоем.

— А зачем тебе с ними встречаться?

— Хочу купить себе пистолет, — сказал Некрич таким тоном, точно речь шла о батоне хлеба. — В моем положении оружие необходимо. — Он снял очки и поглядел на меня ставшими сразу беззащитными большими глазами. — Сам понимаешь.

В метро было сказочно прохладно и — особенно по сравнению с рынком — пустынно. Нарастающий с приближением поезда черный ветер из тоннеля сразу охладил покрывавший кожу пот, и по ней пробежала крупная ледяная дрожь. По кольцу мы доехали до «Комсомольской». Здесь было больше народу, но он весь стягивался, сносимый общим течением, в сторону выхода, оставляя за собой пустое пространство с распыляющимися на мраморных плитах пятнами света. Некрич осмотрелся в центре зала, где была назначена встреча.

— Та-ак, пока никого... Ну что ж, подождем...

Он задрал голову, разглядывая, приоткрыв рот, слепо блестящие коринские мозаики на похожем на гигантский кремовый торт с цукатами потолке станции, один вид которого вызывал у меня зубную боль, всегда возникающую от переизбытка сладкого.

— Знаешь, когда я там, у Кати, один остаюсь, в ее стандартной однокомнатной, и думаю, как меня Гурий с Лепнинским повсюду разыскивают, я иногда от страха себе таким маленьким кажусь, что в обычной комнате теряюсь. Стол, шкафы, вся мебель вокруг громадной видится и незнакомой. Только и остается, что сидеть в углу и ждать, пока это пройдет... А бывает, наоборот, я чувствую, что мог бы собой целый дворец заполнить или эту станцию, например, точно она специально по моей мерке под меня строилась...

Некрич провел, убирая волосы, рукой по мокрому лбу, улыбаясь несколько растерянно, сам, похоже, ошеломленный грандиозностью своего размаха. Я без труда представил его ростом до потолка, идущим гигантскими шагами среди маленьких пассажиров, как «Большевик» Кустодиева и с такими же остекленевшими глазами, вынужденным наклонять голову то в одну, то в другую сторону, чтобы не задевать за люстры.

— На старых станциях вообще чувствуешь себя как дома. Или даже больше чем дома — как в нашем театре, который и был мне настоящим домом! Нигде в этом городе я не ощущаю себя настолько в безопасности, как в метро. Здесь ведь все, как у нас на сцене, а эти проходящие толпы — просто массовка, к которой и я принадлежу, от которой неотличим, один из многих, такой же, как все, попробуй отыщи меня в ней! (Из очередного поезда выходят одни некричи, каждый пассажир — Некрич, они заполняют всю станцию, и, понемногу редая, толпа их вытягивается в направлении эскалатора; отставшие некричи, разъезжаясь по мраморному полу, как по льду, торопятся догнать основную массу; последним семенит маленький Некрич, лапти и армячок выдают его отличие от остальных, и он спешит поскорее скрыться из виду.) Но больше всего сходства с нашим театром в том, что метро, как и он, навсегда. Может быть, даже еще более навсегда, если это возможно! Язык устареет, книги истлеют, прошлое сгниет в архивах, а метро останется! Оно ведь как пирамиды — кто теперь думает о рабах, их строивших?! Остаются только имена фараонов и архитектура. История со всеми своими реформами, разоблачениями и прочими мелкими беспорядками проходит поверху, как рябь по воде, ничего здесь, на глубине, не меняя. Капитализм там у них наверху или коммунизм — здесь это безразлично. И все-таки иногда мне кажется... Взгляни-ка,— Некрич оборвал себя и, не оборачиваясь, кивком головы указал себе за спину на стриженного наголо человека с синеватым выскобленным подбородком в темных царапинах от бритвы,— не нас ли этот тип высматривает?

Стриженный действительно приглядывался к нам, спрятав руки за спину.

— Иногда мне кажется,— закончил Некрич, прежде чем обернуться,— что наше будущее приходит к нам оттуда.— Он показал на полный глухого шума черный вход в тоннель, всосавший только что, как макаронину, поезд, на котором приехал стриженный. Я не успел спросить Некрича, что он имеет в виду, потому что тот быстро подошел и, заглянув в лицо, обратился к нему:

— Андрей, если не ошибаюсь?

Наш провожатый шел впереди, руки в карманах, не оборачиваясь на нас и не говоря ни слова. Присмотревшись, я разглядел на его сером бугристом черепе такие же запекшиеся царапины, как на подбородке. Поплутав переулками, так что я быстро утратил представление о том, где мы находимся, он вывел нас к пятиэтажной хрущобе с киснущими от жары деревенскими старухами на лавочках у подъездов. После слепящего солнца на улице я сначала не мог ничего разглядеть в темной квартире, где мы оказались. Двое с неразличимыми лицами быстро прошли мимо по коридору, один из них невнятно выругался, столкнувшись с Некричем. В квартире были еще другие люди, но трудно было понять, сколько. В комнату, куда нас провел стриженный, заглянула дебелая нечесаная блондинка в распахнувшемся халате, но он сказал ей коротко и зло: «Уйди отсюда!» — и она исчезла. Присутствие здесь женщины меня слегка успокоило, но

ненадолго — я давно уже пожалел, что согласился пойти с Некричем, и утешал себя только тем, что денег с собой почти не взял, поэтому если нас решат тут ограбить, я не много потеряю. Вместо блондинки в комнату вошло сразу двое: один, со свернутым набок носом и землистым лицом, встал у двери, другой, в расстегнутом спортивном костюме, распространяя кисло-соленый запах пота, прошел к окну и сел на подоконник. Это выглядело так, точно они перекрывают для нас возможности бегства.

— Выбирай, — сказал стриженный, открыл шкаф и стал выкладывать из него на стол оружие. Один за другим он клал перед Некричем пистолеты различных марок, наши и импортные, ленивым тоном называя их характеристики и цену.

Некрич нерешительно смотрел на оружие, кажется, опасаясь протянуть руку и дотронуться до него.

— Патронов у нас, как грязи, — сказал стоявший у двери, — отдаем считай что даром.

Он поднял левую руку и потер скулу. Тот, что был в спортивном костюме, вытирая пот, провел ладонью по лицу. Стриженный закурил папиросу. Все их действия легко прочитывались, как заранее обговоренные знаки, которыми они обмениваются. Вокруг пластмассового абажура кружилась упрямо жужжащая муха, резкими зигзагами часто меняя направление, словно ища выход из ей одной видимого лабиринта под потолком. Когда стриженный докурил, в комнату вошел и встал у нас за спиной еще один человек, одетый в тренировочные штаны и майку. Его торс выглядел, как мешок из кожи, туго набитый шарами мускулов, так что и совершенно круглая, лишенная волос голова с мелкими чертами лица была похожа на еще один мускульный шар, не уместившийся в мешке и выскочивший наружу на короткой толстой шее... «Денег не жалко, — подумал я, — живым бы отсюда выбраться».

Сидевший на подоконнике открыл окно, и стриженный выбросил в него окурок. Человек со свернутым набок носом барабанил пальцами по дверному косяку. Некрич, показалось мне, не столько выбирает оружие, пропуская мимо ушей то, что ему говорят, сколько прислушивается, напряженно застыв, к этой дробь. Пространство в раме окна было так натянуто, что попытавшаяся влететь в комнату бабочка («К нам на помощь», — отчаянно подумалось мне), спружинив, отлетела назад. Стоявший у нас за спиной, когда я к нему обернулся, осторожно потрогал пальцем ссадину на губе. Медленная птица, распластав крылья, косо пролетела за окном, барабанная дробь по косяку прекратилась, и в наступившей тишине я увидел, как от замершего Некрича отделился маленький Некрич, не обращая ни на кого внимания, словно загнипнотизированный видом оружия, тихо подошел к столу и принялся рассматривать пистолеты.

Детскими пальцами с довольно грязными ногтями он провел по стволу парабеллума, подержался за рукоятку вальтера. Теперь, без усов и бородки, как и нынешний Некрич, он вполне выглядел на свои двенадцать или тринадцать лет, крестьянский армячок был ему, пожалуй, немного великоват, а может, бабушка его специально таким сшила. Взяв в руку тяжелый магнум, он повертел его так и этак и заглянул одним глазом в дуло. Ствол нашего «Макарова» маленький Некрич недоверчиво понюхал, поморщился и положил пистолет на место. Сощурив левый глаз и скривив рот, он прицелился из браунинга в муху под потолком. Никто не мешал ему, потому что никто, конечно, не видел его, кроме меня, во мне же с его появлением почему-то сразу возникла уверенность, что все обойдется и мы выйдем отсюда целые и невредимые — грабить нас никто не будет.

В конце концов Некрич купил себе магнум — самый большой и страшный с виду из предложенных на выбор пистолетов. Кроме того, он приобрел бронжилет и еще одно убойное орудие — телескопическую дубинку с тяжелым железным шаром на пружине, сустав за суставом выдвигающуюся из рукоятки. Среди прочего холодного оружия он отдал ей предпочтение, похоже, благодаря



скрытому сходству с самим собой — долговязо-костлявого Некрича, кажется, тоже можно было в несколько раз сложить по тому же принципу. Когда он держал дубинку в руке и убийственный шар жутко раскачивался на пружине из стороны в сторону, представлялось несомненным, что первой его жертвой будет сам Некрич. Мне он по моей просьбе купил автоответчик, предлагавшийся в нагрузку к оружию, — вещь по тем временам в Москве еще сравнительно редкую. Конечно, о том, что я каждый день жду звонка его бывшей жены и мне не дает покоя, что она может позвонить в мое отсутствие, я ему не сказал.

— Ответь мне честно, ты стрелять-то умеешь? — спросил я Некрича в баре, куда мы зашли передохнуть от жары.

— Плевое дело, научимся.— Он положил локти на стойку и небрежным тоном заказал виски со льдом, подмигнув официантке, — усталый ковбой с Дикого Запада, Буффало Билл проездом в Москве.— Главное, ствол есть, это самое важное. Если есть ствол, все равно, как ты стреляешь, к тебе и так никто не сунется. Вся эта шушера, — он кивнул в сторону пяти или шести человек, сидевших в баре, — ствол на расстоянии чувствует, подсознательно, яйцами. Видишь, как сразу зашустрила, — сказал Некрич про поставившую перед нами два стакана официантку, очевидно, и ее расторопность приписывая магическому действию «ствола».

— Вон тому я всадил бы пулю прямо в брюхо.— Некрич показал на вошедшего в бар отдувающегося толстяка.— В такое не промахнешься.

К полным людям он испытывал классовую ненависть болезненно худого человека.

— Второй пулей я разбил бы эту пакость на стене.— Андрей отхлебнул виски, прищурился и, выставив вперед подбородок, сделал вид, что целится в направлении безвкусных настенных часов.— Третьим выстрелом я убью телевизор.— Он повернулся на крутящемся табурете к телеэкрану в углу бара, на котором плясала и пела какая-то эстрада.

После каждого глотка виски, целясь то одним, то другим глазом, Некрич намечал себе новую мишень. Разлетались вдребезги одна за другой расстрелянные с близкого расстояния разноцветные бутылки за стойкой, падали сбитые с крюков картины доморощенных сюрреалистов, сидевшие за столиками роняли прошитые пулями головы в тарелки с недоеденной пищей, цветочные горшки взрывались фонтанами земли, из расколотого аквариума хлестала вода, и на мокром полу, приликая к нему плавниками, трепыхались золотые рыбки. Изображая выстрел, Некрич произносил себе под нос: «Дж. Дж. Дж.». Из всех, кто был в баре, он пощадил одну официантку, пожалев ее за родинку над губой — такую же, как у Ирины.

Звонок был не междугородным, поэтому я не ожидал, что в трубке раздастся Иринин голос. Значит, она уже вернулась. Голос был таким, точно она стоит возле аппарата на цыпочках, вытягиваясь как можно выше.

— Ты меня слышишь?

— Да-да, слышу! — В аппарате скрипело и шуршало, но не настолько, чтобы я не мог разобрать ее слов.

— Слышишь? Слышишь? — почему-то она никак не могла в это поверить.

— Я тебя отлично слышу.

— Они его убили...

— Кого? — спросил я, хотя сразу понял.

— Они убили Некрича! Коля с Толей. Гурий сказал, что они не хотели, но он оказался вооруженным, первым достал пистолет, им пришлось стрелять. Они его застрелили. Его больше нет! Слышишь? Слышишь меня?!

— Не может быть... Как они его отыскали? — спросил я, чтобы не имеющими никакого значения обстоятельствами происшедшего загородиться от растраивающегося смысла ее слов.

— Какая-то Жанна его выдала, шлюха вокзальная. Они же чуть ли не всех шлюх в Москве обошли! Некрич у ее подруги отсиживался, она адрес им назвала, когда ее спросили. Я ему всегда говорила: Некрич, погубят тебя бабы! Я его предупреждала...

Она говорила еще что-то, я молчал. Никогда не знаю, как реагировать на известие о смерти. Жалеть умершего поздно — некого больше жалеть, оставшихся — неуместно, все-таки они живы. Единственным несомненно подлинным ощущением становится эта невозможность адекватной реакции, чувство запертости и тупика при столкновении с событием, о котором необходимо что-то сказать, но сказать нечего. Потом вдруг в тупике распаивается дверь в пустоту, к которой прислонился, приняв ее за стену, — так понимаешь наконец, что случившееся имеет прямое отношение к тебе, потому что и с тобой абсолютно неизбежно произойдет то же самое — раньше или позже, таким способом или иначе, но, главное, будет тем же. Тогда уже рад ухватиться за первые попавшиеся случайные слова («Я только сейчас, только теперь поняла, что он для меня значил!» — доносился из трубки Ирнин голос), лишь бы не вывалиться в распавшуюся пустоту. Не вывалишься, но из-за этой двери еще долго будет тянуть сквозняком, делающим любые слова случайными. Умершие уходят, оставляя за собой двери открытыми.

— Ну не молчи, я тебя умоляю, пожалуйста, скажи что-нибудь...

— Приезжай ко мне. Если, конечно, можешь.

Что еще я мог ей сказать на этом сквозняке?

*(Окончание следует.)*



## Всё было музыкой...

\* \* \*

В том довоенном, давнем, до,  
уже как будто допотопном,  
всё было музыкою: топнем —  
и раздаётся сразу: до-о-о,

а после — ре, и дальше — ми...  
Какие гаммы, гаммы, гаммы!  
Мы спим.

Не спят над нами мамы,  
мечтают: «Вырастут людьми!»

И керосинщика рожок  
трубит внезапно  
на рассвете,  
на звук его сбегутся дети,  
собьются весело в кружок.

И вдруг, сверху,— аэроплан,  
а там, на улице,— трамваи,  
а за углом вбивают свай...  
И у ребят в глазах — туман.

Всё было музыкою, всё.  
И тут срывал куда-то с места  
гром настоящего оркестра!  
Крутилось века колесо,

солдаты шли. И от и до  
кругом звенело и звучало!  
Такое славное начало —  
до... ре... ми... до — еще раз до-о-о...

А где же этот воронок?  
Где эти толпы, толпы, толпы?  
За ними тоже ты пошел бы?  
Пока не знаю...

Невдомек...

Всё было музыкою, всё.  
Какие песни! Что за марши!  
Ну, что я слышал про ОСО?  
Тогда я был себя не старше.

Я засыпал под этот гром.  
И просыпался с этим громом.  
И сердце полнилось добром,  
и дом еще казался домом.

Всё было музыкаю...

1983

\* \* \*

Одинокий борец за свободу  
ничего на Земле не достиг,  
одному лишь безумью в угоду  
распрявился на миг.

И не знал, что с восторгом смотрели  
на его распрявившийся стан  
сумасброды и менестрели  
всех столетий и стран.

Никакого особого места  
он не занял в народной судьбе,  
но запомнился вольностью жеста,  
недоступного мне и тебе.

1989

\* \* \*

Вот оно вышло наружу —  
смутное, темное, злое.  
Вытащило оружие,  
гнившее под землю.

Вышло. Оскалилось. Встало.  
Двинулось. Заговорило.  
Светит еще вполнакала.  
Но ощущается: сила!

Как оно долго таилось!  
Как осторожно терпело!  
Как безнадежно томилось!  
Как непонятно робело!

Скоро начнется такое!  
Скоро такое случится!  
Как перегаром, тоскою  
дышит в померкшие лица.

1989

\* \* \*

Кто, скажи, виноват,  
 что меняется мир?  
 Друг народа — Марат?  
 Враг народа — Якир?

Кто, скажи, виноват,  
 что свалился кумир?  
 Друг народа — Марат?  
 Враг народа — Якир?

Неподвижно лежат,  
 каждый жалок и сир,  
 друг народа — Марат,  
 враг народа — Якир.

1976

\* \* \*

Рабы вчерашней власти  
 расправили горбы,  
 уже о новом счастье  
 задумались рабы.  
 Вчерашние невзгоды...  
 Иных понятий ряд...  
 Смотрю: рабы свободы  
 на площади шумят.

1989

\* \* \*

Люди устанут от крови,  
 люди устанут от свар,  
 стихнут на полуслове,  
 скажут: «Какой кошмар!»

И оглянутся устало —  
 столько пустой кутерьмы!  
 — Надо начать сначала,  
 все-таки люди мы!

1989

\* \* \*

Человек стареет не от возраста,  
 человек стареет иногда  
 от почти бессмысленного возгласа,  
 старит человека ерунда:  
 взгляд косой, случайные обиды,  
 детский легкомысленный вопрос,  
 и слова, которые забыты  
 через час, под быстрый стук колес.  
 Человек стареет не от старости,  
 не от вдруг отяжелевших век,  
 от напрасной, безысходной ярости  
 в миг один стареет человек.

1989

*Уход*

Три четверти жизни якшался с Глазковым —  
веселым, улыбочивым и бестолковым.

Три четверти жизни якшался с Глазковым —  
упрямым, отчаянным, очень толковым.

И вот я в Москву, как всегда, приезжаю,  
она для меня и сейчас не чужая.

Но в ней не хватает теперь мне чего-то,  
как будто возникли провалы, пустоты,

как будто аллеи слегка поредели,  
как будто в гостинице жестче постели,

и Пушкин — на площади возле маршруток —  
задумчивей чуть и печальней как будто!..

1979

\* \* \*

Плащик небрежно надену.  
Ветрено. Ладно, и пусть.  
Жизни веселую сцену  
вспомню — и вдруг улыбнусь.

Страшное что-нибудь вспомню,  
горькое что-то пойму.  
Так отчего же легко мне?  
Непостижимо уму.

Так неуместна улыбка,  
но улыбаюсь светло.  
Прошлое сладко и зыбко,  
прошлое в прошлом.  
Прошло!

1990

\* \* \*

О, эти ранние стихи —  
себя, вчерашнего, набросок,  
в них столько было всяких блесков  
и столько детской чепухи!

Я перечитываю их,  
скольжу по строчке зыбкой-зыбкой,  
со снисходительной улыбкой  
я отмечаю каждый штрих

той молодости, тех повадок,  
которые теперь смешат...  
Но почему так странно сладок  
забытых строчек звонкий лад?

Но почему, но почему,  
читая их, вздыхаю часто?  
Что для меня они сейчас-то?  
И сам, пожалуй, не пойму...

Не оторвешься, хоть умри,  
от этих строчек-замарашек,  
от рифм плохих, от всех натяжек...  
И света, скрытого внутри!

1980



## О п а с н ы е с в я з и

**О**НИ ПОЗВОНИЛИ в дверь часов в девять утра. Двое стояли вплотную к порогу. Третий подальше — у лифта. Они сразу показали документы и пробормотали что-то невнятное. Дошло только: надо подъехать... мы подождем... быстренько... одевайтесь. Я стоял в трусах и мокрый. Только что отбегал свои три километра и собирался принять душ.

— Кто там? — спросила Наташа из детской комнаты. Она занималась маленькой Дашкой.

— А что за срочность? — довольно нелепо спросил я двоих у порога. — Я сейчас никак не могу.

— Очень надо. Вы одевайтесь. Мы внизу подождем. В машине.

— Да вы заходите. Сейчас кофе выпьем и поедем.

— Ну уж... — усмехнулся один, а второй пошел вниз по лестнице. Третий — в глубине — нажал на кнопку лифта.

Я спокойно пил кофе и ел яичницу.

— Это кто? Что им нужно? — спросила Наташа. — Куда ты собрался?

— Кажется, в Большой Дом. Концерт, наверно.

— С утра?

Я действительно прокручивал в голове и такой вариант. В те годы мои выступления были нарасхват. Страху еще не было. Вот если бы стали обыскивать квартиру, тогда, может быть... может быть, и было бы страшно... А так... ну поговорим. О чем? Там видно будет. Я чувствовал себя хорошо защищенным. Я известный артист, меня все по кино знают... Я работаю в знаменитом театре, мой шеф — великий Товстоногов. Да и вообще... — в 12 часов у меня репетиция. К тому же особая — вводим в «Ревизора» на роль городничего венгерского прима — актера Ференца Калаи. Он у нас гастролирует. Я играю Осипа. Заменить меня некому. Спектакль завтра. Что ж, они пойдут на международный скандал? Да нет, я чувствовал себя совершенно защищенным.

В машине я спросил: «А что за надобность во мне? Выступление, что ли?»

«Да сейчас приедем, вам все расскажут. Вы паспорт не забыли захватить?»

В кабинете N, не помню каком, было светло и тоже не страшно. Человек за столом смотрел на меня с печальной, очень понимающей улыбкой и, склонив голову набок, постукивал карандашом по стопке бумаг.

«Сергей Юрьевич... — произнес он и умолк надолго. А потом: — Как вы думаете, почему мы вас сюда пригласили?»

Как бывший следователь, я отметил, что он действует хотя и незаконно, но весьма эффективно. Вновь наступила тишина, и в голове моей закрутились все мои грехи, грешки и ошибки. Еще ничего не было сказано. Обязательные слова: «Вы вызваны сюда как свидетель», или «Мы побеспокоили вас как эксперта», или «Вы арестованы», — ни одна из этих фраз не была произнесена, а я уже



был сам у себя на подозрении: что было? было ли что-нибудь? Что-нибудь, конечно, было. Но что? К чему они клонят? Что они знают?.. А они ни к чему пока не клонят. Они дают мне время испугаться. Испугался ли я? Пожалуй, еще нет.

### *Проводы*

Острыми точками вспыхивали опасные воспоминания. Прага, шестьдесят восьмой год? Мой отчет? Давно было... Книги, тексты... «Хроники»? «Хроники текущих событий»? — очень опасно, за это берут. Читал. Изредка, больше случайно, но читал. Дома не держу, все отдал... Кажется, все?.. Солженицын! Конечно. Однако дома не держу. Обращение Сахарова к ЦК и правительству... «Дело Петра Григоренко». Это дома. Ай-ай-ай, это дома. Бродский? Ну, разумеется, но это в порядке: Иосиф — мой знакомый, я его поклонник — и точка. Дальше, дальше... Болтовня... где-то что-то ляпнул... шуточки, анекдот... Ну было... было... Но что конкретно? Откуда вонь?

А на дне сознания уже маячит нечто определенное, несомненное — баба Ася! Нянька нашей маленькой Дашки. При чем тут старая баба Ася? А вот при чем: в первый год жизни Дашки Наталья от нее не отходила. А уж на второй надо было возвращаться на сцену. Искали няньку. Позвонил Ефим Эткинд: «Ищите? А у меня внучка выросла, наша нянька могла бы перейти к вам. Поговорим?» Поговорили. Познакомились, и баба Ася, добрая и бестолковая, стала Дашкиной опекуницей. Вот и все!.. Все? Но время-то ломалось. И ломало все вокруг себя.

С ЕФИМОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ЭТКИНДОМ нас свела работа еще в 63-м году. В нашем театре была поставлена «Карьера Артура Уи» Брехта. Ставил выдающийся польский режиссер Эрвин Аксер. А перевод пьесы сделал Ефим Эткинд. Спектакль вышел классный и гремющий. Публика ломилась. И мы — все участники спектакля — как-то спаялись, сдружились в необычной работе. Тогда и возникло это радостное знакомство. Мы процветали, и он процветал. Ефим Григорьевич был блестящим профессором Педагогического института. На его лекции шли толпами. Его литературоведческие книжки раскупали как бестселлеры.

Не скажу, что мы стали очень близки. Пожалуй, нет. В работе мы после «Карьеры» не соприкасались. Но было много общих знакомых. Мы были, так сказать, в поле внимания друг друга. Книжки его я читал и многому научился в понимании литературы через эти книжки. А он... тут такое особое обстоятельство: младшая его дочь Катя стала моей постоянной зрительницей и, можно сказать, поклонницей — концерты мои, кажется, никогда не пропускала. Ну и Ефим Григорьевич стал проявлять любопытство. А вообще-то времени было мало. Каждый занимался своим делом. За Эткиндом хвостом ходили восторженные студентки — в нем были черты настоящего героя. Его авторитет безоговорочно признавали и скептические юноши: он был прирожденным лидером.

Но время-то ломалось. Эткинд дружил и с Солженицыным, и с Бродским. Близко дружил. А в это время — конец шестидесятых — начались и взлеты, и пропасти будущих нобелевских лауреатов. Горько сознавать, что дружба, абсолютная доверительность, проверенная годами опасностей и гонений в СССР, в эмиграции сменились у них отчуждением, разъединением. А между тем Эткинд вовсе не утих в эмиграции. Слава его не была столь широка, как слава его бывших друзей, но в кругах знатоков, литературоведов, переводчиков он стал одной из фигур уже мирового масштаба.

Вспоминаю нашу встречу в начале девяностых. Центральная Франция. Овернь. Фестиваль русской поэзии. Городок Ланжак. Нас поселили в старинном

замке Шавиньяк-Лафайетт. Парк. Пруды, боскеты. Старые деревья. Старый мажордом с прямой спиной, гордым профилем и весьма ехидным юмором. Утренний колокол, созывающий жильцов замка на скромный, но добротный завтрак в общую столовую. Мы — это российские представители: Алла Демидова, Дмитрий Александрович Пригов с женой, переводчица Маша Зонина, мы с Натшей Теняковой. Я вел мастер-класс для молодых французских актеров. Работали мы в старинном монастыре километрах в двадцати от замка. В мое распоряжение предоставили машину, и я наслаждался трудовой благоустроенной жизнью, симпатичными учениками, мебелью в нашей комнате и пейзажем за окном, почти не изменившимися с XVIII века, отличными дорогами, отличным автомобилем и... отсутствием телевизора. Телевизоров в замке не было. Может быть, поэтому спать ложились рано, по-деревенски. На вторую ночь раздался стук во входную дверь. Стучали, как стучат в театре в пьесах из старинной жизни или в сказках, — стучали железной скобой о мощные дубовые доски. С трудом находя дорогу в полуосвещенных лабиринтах старинного замка, я спустился и открыл дверь. На пороге Эткинд. Бодрый, улыбающийся. С ним дама, сильная, выразительная внешность, говорит по-немецки. Ефим Григорьевич, вдовствующий уже несколько лет, представил нам свою новую жену — Эльке. Они проехали километров пятьсот на машине, но вовсе не собирались отдыхать. Напротив, предлагали немедленно отметить встречу. И мы отметили. И довольно крепко отметили. Эткинд перечислял свои последние работы, затеи, передвижения по миру — конференции, лекции... Список был внушительный. Еще выпили, и Ефим предложил пойти погулять по ночному парку... Крепко подхватил свою подругу, и они тронулись первой парой... Ефиму Григорьевичу было тогда семьдесят три года.

Я пишу эти строки в первые дни нового, 2000 года. Прошло пять недель со дня смерти Ефима Эткинды. Он умер, когда в Женевском университете собирались торжественно и весьма международно-представительно отметить его 80-летие. Похоронили его в Бретани, на севере Франции. Эльке исполнила завещание похоронить его рядом с могилой первой жены — Екатерины Федоровны. На похоронах были обе дочери — Маша и Катя. Герой Ленинграда времен шестидесятых нашел упокоение на далеком берегу. Но никак нельзя сказать — на чужом берегу. Эткинд так органично вписался в Европу... И в Америку... Этот полиглот и несравненный знаток русской поэзии действительно стал гражданином мира. Нет, нет, не подумайте — не в смысле «почетным», которому кланяются подобострастно. Нет! Никогда он не был близок ни к каким властям. Он был частным лицом, лучше всех знающим литературу, особенно русскую. И до последнего дня не потерявшим любопытства к жизни.

Не забыть, как мы ехали тогда вместе из Ланжака в Париж, меняясь за рулем. Более пятисот километров. С разговорами, с остановками. Потому что Эткинду было интересно очень многое — в новом ресторане отведать новое блюдо, в старом кафе выпить традиционный особенный кофе, посмотреть сверху на пейзаж с вулканами, показать нам собор в Бурже, который он хорошо знает и любит.

В последний раз мы виделись совсем недавно — года не прошло — в феврале 99-го. В Париже, в новой его квартире. Далековато — от Дефанс еще на трамвае и потом пешком. Квартира в громадном многоподъездном и многоэтажном доме. Планировка тут стандартная. Но какое это имеет значение! Книжки! Библиотека определяет форму и дух всех эткиндовских квартир. И здесь тоже. Как крепко Ефим жмет руку! Он ведь бегаёт до сих пор по утрам — несколько километров ежедневно. Разговор о книгах. Ефим дарит мне последние свои труды — «Там, внутри» — о русской поэзии XX века и «Очерки психопэтики русской литературы XVIII—XIX веков». Каждая страниц по пятьсот. (Грешная мысль — как же я их повезу в Москву, тяжесть-то какая!) Он говорит: «Сереза, а можете еще захватить рукопись в Москву? Там за ней придут. Мо-

жете?...» Я мнусь: «Большая?» «Честно говоря, большая, больше тысячи страниц...» — и вынимает пачку листов — рукой не обхватить. И я не взял! Не могу, говорю, некуда, простите, говорю!

Вот и теперь говорю: прости, Ефим Григорьевич! За все прости! Я не смог перевести эту тысячу страниц, но ты-то смог НАПИСАТЬ их! После всего, что было написано ранее. И перед тем, что еще могло быть написано. Прости! Земля пусть будет пухом тебе там — в далекой, неведомой мне Бретани.

Но вернемся в конец шестидесятых. К временам его дружбы с Бродским и отдельно с Солженицыным.

Отношение властей к Александру Исаевичу — бывшему зеку — за несколько лет претерпело поразительные изменения. Можно проследить целую гамму оттенков. Он был... восторженно-узнаваемым, официально поддержанным; приемлемым, но не поддержанным; допустимым, но подозрительным; незамечаемым, пугающим, обвиняемым, проклинаемым...

В этот период он был уже неприкасаемым, прокаженным.

В 68-м первой постановкой БДТ после вхождения танков в Прагу была «Цена» Артура Миллера в переводе с английского Константина Симонова и его сына Алексея Симонова. Поставила спектакль Роза Сирота, Царствие ей Небесное. Играли мы четвером — Валентина Ковель (Ц. Н.), Вадим Медведев (Ц. Н.), Владислав Стржельчик (Ц. Н.) и я. Спектакль был показан 1 октября и сразу запрещен. Миллер (председатель ПЕН-клуба) высказался по поводу вторжения наших войск в Чехословакию, и его имя сразу попало в черный список. Раз в две недели мы играли тайно — под видом просмотра, не продавая билетов. Зал был переполнен каждый раз. Товстоногов пытался воздействовать на вершителей судеб, но власти были непреклонны. Им говорили: это, поверьте, о простом американце, который сохранил честь среди торгашеского общества. А они отвечали: а это, видите ли, не имеет значения, фамилия врага Советского Союза — господина А. Миллера — на афише не появится.

Но тут включилась тяжелая артиллерия — влиятельный, дипломатичный, могущественный Константин Симонов. Все начали колебаться. А мы все играли тайно, раз в две недели, чтоб спектакль не умер. А публика все ходила. И слухи о спектакле волнами расходились по всему городу и далее — в столицу. Это, кстати, типичный пример того, как во времена социализма ЗАПРЕТ ЗАМЕНИЛ ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ. Это было посильнее нынешних зазывных телероликов и ярких журнальных обложек. Народ доверял властям, доверял полностью ИХ вкусу. Народ знал: плохое, всякую муру не запретят. Если ОНИ запретили — значит, дело стоящее, значит, хорошее. ОНИ не ошибаются.

Поэтому, когда наконец появилась афиша и на 10 декабря была назначена премьера — о-о! В нашем огромном зале кого только не было! Тогда-то Симонов привел в мою гримерную Солженицына. По традиции, гости расписывались здесь краской на потолке. Расписался и Александр Исаевич. Был короткий разговор. Знакомство. Мне запомнились и понравились цепкость, внимательность его взгляда. Плотность речи. Совсем без пустословия. Задает вопрос и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ждет на него ответа. От этого и сам подбираешься, чувствуешь ответственность. Не болтовня, а диалог.

Потом я получил от него записку с пожеланием повидаться. Но как-то все не могли условиться. Прошло время. Годы прошли. И вдруг однажды звонок Эткинды: «Зайдите ко мне завтра в такой-то час. Вас хочет видеть один человек, он вам присылал записку, помните?»

Я шел тогда по залитому солнцем городу, и сердце билось неровно. Я скорее чувствовал, чем понимал, что вот сейчас, в этот момент, я переступаю опасную черту в моих отношениях с властью. Солженицыну была уже присуждена Нобелевская премия. Он был уже освистан и проклят советской прессой. «Ар-

хипелаг ГУЛАГ» ходил по рукам. Пряча на день в укромные места наших жилищ, мы вытаскивали ночью эти листки, переворачивающие душу и ломающие покой, и читали до утра. Листков было много. И бессонных ночей было много. Солженицын был совестью, болью, стыдом, испытанием, тайной, надеждой всей читающей России. Вспомним это сейчас, когда Александр Исаевич после всемирного признания, после абсолютной авторитетности и для сильных мира сего, и для толпы, после всего этого — живет рядом с нами в Москве, думает, говорит, пишет, и ленивая неблагодарная читающая Россия отмахивается от его мыслей со словами: «Ну знаем, ну все мы знаем, нечего нас учить, все мы слышали», — и открывает книжку Марининой в цветной обложке.

В тот год Солженицын был не просто одиозной фигурой. Он был зверем, на которого шла охота. На него и на его произведения. И на каждого, кто читал, взял, передал, перепечатал. Охота шла сетью — громадной сетью соглядатаев, доносчиков, кураторов, сексотов, платных и бесплатных агентов, топтунов, провокаторов, карьеристов, не давших подписку и давших подписку о сотрудничестве с органами, с самыми многоликими из возможных органами и их отделами, отделами отделов, секторами — бесконечными щупальцами этих органов. Все они следили за каждым шагом Солженицына, за каждым его контактом.

А я... разумеется, по простой принадлежности к своему кругу как потомственный интеллигент, как артист, как человек, лично переживший взлет и падение Пражской весны, да просто как сын своих родителей я был либералом и находился во внутренней оппозиции к власти. Мои либеральные взгляды и отражались, и ВЫЯВЛЯЛИСЬ в том, ЧТО я исполнял, играл на сцене, на эстраде, на экране, и в том, КАК я это исполнял. И потому у меня был свой — тоже либеральный — круг зрителей. Это так! Однако повторю еще раз: я не был диссидентом. Я был... надеюсь, не конформистом, но... я был законопослушным гражданином. Если теперь кто спросит: «А чего же ты... это самое... а? Эх ты! А почему же ты не... это самое... а?» — и так далее, я, пожалуй, отвечу так: у меня не было времени, мой темперамент и моя борьба исчерпывались в искусстве — это первое. А второе — когда мне случалось приближаться к диссидентам или диссидентствующим компаниям, я всегда ощущал в них крутую смесь искренних безоглядных борцов, наивных лопухов — подражателей и очевидных провокаторов. От запаха этой смеси мутило. Охватывала такая тоска, что я бежал куда подальше. Еще в те годы я выбрал свободу от любых кланов и беспартийность. Этому выбору я обязан хорошим творческим импульсом, который не покидал меня. А с другой стороны... обязан ему, этому выбору, своим... одиночеством.

Только Наташа Тенякова, моя жена, могла понять и простить мои решения на крутых поворотах. Потому что она думала и чувствовала так же. Может быть, были еще люди, понявшие и простившие меня? Может быть. Те, кто называл себя друзьями, учениками, поклонницами и подругами. Но никто из них не рисковал так безоглядно и окончательно, как Наталья Максимовна Тенякова. Это надо помнить. Всегда. Тем более что Наташа имела все шансы на отдельную судьбу, отличную от моей.

Итак, я шел по залитому солнцем Ленинграду. В руке у меня была большая книга-альбом безумно одаренного безумного венгерского художника Чонтвари. Я нес его в подарок Солженицыну. Нес с какой-то, наверное, тайной мыслью придать нашей встрече не заговорщицкий (не дай Боже!), а скорее эмоциональный характер. Ну чего особенного: он писатель, я его читатель... артист, натура эмоциональная... дарю книгу, выражаю уважение... Все тихо, все мирно, не правда ли?..

Дом Эткинды приближался, и походка моя становилась все более небрежной. Такая, знаете ли, прогулочная, фланирующая походка. Иду себе, и никто ведь не может знать, куда я, собственно, иду. Пока не остановлюсь. Вот я и шел

— не быстро, не медленно... и не останавливаясь. Между тем я поглядывал на машины, стоявшие у обочины: просто так стоит, или там сидит кто-нибудь и книжку читает? Чего же это он в машине читает? Такая погода хорошая — можно там вон на скамейке посидеть, там... А там тоже двое сидят, газеты читают. Ну что ж, наверное, что-нибудь интересное напечатали в газетах. Никогда не печатали ничего такого интересного, а сегодня как раз напечатали. Вот они и уткнулись в листы и оторваться не могут. Ах ты черт, как сердце колотится с непривычки-то! Пройти, что ли, мимо парадной, посмотреть, как обстановка за углом? Или еще хуже получится: пошел, вернулся — значит, знает, значит, боится. А чего это я в самом деле? Струсил, что ли? Может, вообще все это мне кажется? Подумаешь, книжку человек читает! Интеллигент потому что, вот и читает книжку. А день такой роскошный, солнце светит так славно... Ой, смотри-ка, на крыше дома, что напротив Эткинда, тоже двое сидят. Одетые — значит, не загорают. Это ремонтники, наверное, они крышу ремонтируют, а сейчас у них перекур. Вот и сидят. Правда, оба не курят. А не курят, потому что оба некурящие.

У-о-о-ох! Вот я и в парадной. Прямо как в холодную воду прыгнул — на улице было почти жарко, а тут сыростью обдало, и стало промозгло. Подымаюсь. Между вторым и третьим этажами один сидит на подоконнике. Этот курит. Сверху женщина пожилая с маленьким ребенком спускается. Ну что я в самом деле?! Тут-то все нормально! С ума-то не сходи! Это четырехлетний мальчик вышагивает корявой походкой по слишком высоким для него ступенькам, а вовсе не переодетый лилипутот топтун.

Звонок. Открылась дверь. Вот я и в опекаемой квартире. Эткинд испуганно улыбается, щурится, курит. Александр Исаевич собран, серьезен. Сразу ставит рамки — у него на этот разговор пятнадцать минут, дальше другие дела. А наше дело оказалось до обидного простым и, говоря откровенно, практически меня не касающимся. Александр Исаевич передал мне конверт с официальной бумагой внутри. Это было приглашение в Стокгольм или в посольство Швеции в Москве на «церемонию вручения Нобелевской премии г-ну Солженицыну А. И.» для... г-на Товстоногова Г. А. Лауреат объяснил мне, что контакты с ним достаточно опасны и чреватые последствиями и что он это вполне понимает и потому не хотел бы ставить уважаемого товарища Товстоногова в неловкое положение, а вызвал меня, чтобы я передал ему этот конверт. Он предполагает, что приезд Георгия Александровича в Стокгольм и даже в шведское посольство маловероятен, но счел своим долгом хотя бы формально пригласить столь уважаемого человека. Вот и все. Наше время исчерпано. И тема нашей встречи исчерпана. А за альбом Чонтвари он меня искренне благодарит. И еще раз хочет высказать свое восхищение моим исполнением роли полицейского Виктора Франка в «Цене» Артура Миллера.

Солженицын уходит. Ефим Эткинд предлагает чай, кофе. Расспрашивает о домашних делах, о театре... Я отвечаю и тоже о чем-то расспрашиваю... Оба много курим... Я говорю, что между вторым и третьим этажами сидит человек и тоже много курит — целая горка окурков. Видимо, дома запрещают курить, а курить охота... Вот и вышел на лестницу... Эткинд посмеивается, говорит, что все возможно... Прощаемся, что-то привычно-шутливое говорим... Но все немножко механически, «на автопилоте»... Покидаю квартиру и медленно иду обратным курсом. Между вторым и третьим этажами курильщик никак не может остановиться и на моих глазах зажигает очередную сигарету. На скамейке сидит один читатель газет. Второй ушел. Машина с книголюбом исчезла. Ремонт кровли, видимо, завершен — крышников нет. Солнце пожелтело и пожухло. Потянуло холодком. Ветерок сквозит, поигрывает на тротуаре мелким мусором.

А может, все это кажется? Кто узнает? Кого спросишь?

«НУ ТАК ЧТО, Сергей Юрьевич, надумали?» — Следователь все постукивает карандашиком по бумаге и головой покачивает утвердительно.

Вот так бывает — видишь сон, долгий, подробный, как двухсерийное кино со сложным сюжетом и множеством персонажей, а потом оказывается, что спал всего-то пару минут в неудобной позе. Я очнулся.

«Нет, не знаю... представления не имею. А вы в каком качестве меня сюда вызвали? (Молчание, улыбка, опускание глаз.) У меня ведь репетиция в театре в двенадцать... (Молчание. Взгляд глаза в глаза.) Мы венгерского актера вводим в «Ревизора»».

«Да?.. Это здорово... что венгерского... вводите. Да не волнуйтесь, мы вас на машине доставим ко времени».

«Так мне еще домой надо за женой».

«И домой можно... и за женой... Вот интересно, вы, когда в концертах выступаете, вы свою программу с кем-нибудь оговариваете? Советуетесь?»

(А-а! Вот оно куда! Ну тут я недосягаем. То есть, конечно, как посмотреть... В этом учреждении весь мой репертуар может вызвать подозрения: Булгаков, Пастернак... Зощенко... да и Шукшин... да, да, и Шукшин... и впервые мной опробованный молодой автор, работающий у Райкина, — Миша Жванецкий. Да-а... в определенном смысле все зависит от того, как посмотреть... и кто смотрит... Но, с другой стороны, авторы это, прямо скажем, не рекомендованные, но ведь и не запрещенные... уже... теперь...)

«А вот как вы к Иосифу Бродскому относитесь, Сергей Юрьевич?»

«Это большой талант. Даже громадный».

«Да?»

«Да».

«Думаете?»

(Ну тут я тверд, тут волноваться нечего. О вкусах не спорят.)

«А вы вот в концертах его читаете. Это литовано? Это проверку прошло?»

«Я никогда его в концертах не читал».

«Да?»

«Да».

«Полагаете?»

Нет, тут все чисто. Может быть, давно, может быть, один-два раза какое-нибудь одно стихотворение — на пробу, «на бис»... А вообще нет — в концертах действительно не читал. Дома в компании — да! Часто. В концертах — нет. Мало того — Аркадий Исаакович Райкин рассказал мне о замечательном цензоре, который сидит на Невском в Доме книги. Райкин задолго до премьеры несет ему свои новые номера. Тот читает, смеется и ставит «лит». Райкин посоветовал мне с ним познакомиться. И я пошел.

Принес на рассмотрение маленькую пьеску Александра Володина «Приблизительно в сторону солнца» и подборку стихов Бродского. Цензор вычеркнул из пьесы Володина две фразы и спросил: «А что вы с ней собираетесь делать?»

«Мы собираемся ее играть с Теняковой на эстраде».

«Она дочку, значит, будет играть? А вы этого обкомовского папашу? Думаете, будут смотреть?»

«Я думаю, будут. Автор-то замечательный».

«Да, Александр Моисеевич — наша гордость. А что касается Бродского, он, я слышал, эмигрировал?»

«Он был вынужден уехать. Но, я думаю, он настоящий патриот и настоящий поэт».

«Ну, конечно... Я ведь обязан рассматривать не человека как личность, а только его произведение: есть в нем, в произведении, что-нибудь вредное для советского народа или нет? Так ведь? Так вот, в этих стихах ничего такого нехорошего, вредного я не нахожу. Для вашего исполнения я их «литоую». Все».

Смотрит на меня пристально и хитро улыбается. «Это хорошо, что вы теперь пришли, а не позже. А то я скоро, наверное, уйду отсюда. Меня Аркадий Исаакович зовет к себе заливом. Мне здесь что-то тяжело стало».

Вот такие бывали цензоры в самые цензурные времена!  
Так что — залитовано!

«А что вы скажете об этом вот стихотворении?» — Следователь достает из стопки один листок и протягивает его мне.

Это был небольшой стишок о старухе, которая живет в маленькой комнате, где почти темно, потому что праздники и окно перекрыто снаружи портретом кого-то из членов Политбюро... или Сталина? Я сейчас плохо помню это стихотворение.

«Что скажете?»

«Это мне, прямо скажу, не очень нравится».

«Да что там «не очень». Это антисоветчина!»

«Не знаю... Я этого стихотворения никогда не видел. Но ведь Бродский вообще-то совершенно неполитичный поэт. Он выдающийся лирик. Вот послушайте...» — И я читаю (да, так было!), читаю следовательно стихотворение Бродского «Шесть лет спустя»:

Так долго вместе прожили, что вновь  
Второе января пришлось на вторник...

Читаю, а сам думаю: сейчас начнется про его процесс, про эмиграцию, длинный будет разговор. Что бы еще ему прочесть? «Новые стансы», что ли? (А, кстати, этот, с окном, закрытым портретом, я использовал потом через много лет в фильме «Чернов/Снегов» в сцене майского праздника.)

«А кого из друзей Бродского вы знаете?»

«Мы с ним были знакомы довольно поверхностно. Много общих знакомых, а друзей... нет друзей — нет».

«Эткинд?»

(Вот оно! Ах, все-таки сюда, остальное было только прелюдией!)

«Вы знаете, что Ефим Эткинд собирается уезжать?»

«Нет, не знаю».

(Я вправду этого не знал, и я ошеломлен.)

«А он собирается. Как вы к этому относитесь?»

«Это ужасно. Это громадная потеря для нас».

«А для него?»

«И для него. Колоссальная. Он — неотъемлемая часть Ленинграда».

(Я пытаюсь натянуть на себя маску прямодушного дурачка.)

«Как вы к нему относитесь?»

«Я его высоко ценю. Он замечательный переводчик. В его переводе мы играли антифашистскую пьесу Бертольда Брехта».

«Когда вы с ним в последний раз виделись?»

«Ну-у... давно... А вы в каком качестве меня сюда вызвали?»

Мы перебрасываемся фразами все менее содержательными. Я жду появления имени «Солженицын», и оно появляется.

«Читали? Что? Кто дал?»

«Читал то, что было опубликовано».

«А что не было?»

«„Раковый корпус“».

«Кто давал?»

«Я не помню. Это давно было».

«„В круге первом“?»

«Нет».

«Нет?»

«Нет».

Про «Архипелаг» вопроса нет. Странно. Миновали Солженицына. С улыбками недоверия, с усталым покачиванием головой, но миновали. А куда же все клонится-то? Время-то утекает.

«Ну ладно, Сергей Юрьевич. Вы понимаете, надеюсь, что о нашем с вами разговоре никто не должен знать? Понимаете?»

«Понимаю».

Это ошибка! Не надо было произносить этого слова! Но уж очень хотелось скорее уйти отсюда, а он занес ручку, чтобы подписать мой пропуск, и задержал в воздухе, ожидая моего ответа.

«Понимаете?»

«Понимаю».

Эх, моя ошибка!..

«Я вам запишу мой телефон. Вы позвоните, если придут в голову какие мысли».

«По поводу чего?»

«Да по любым поводам. Вот телефон. Вам пригодится. Спросить товарища Чехонина».

Репетировали. О чем-то говорили. Кажется, шутили... Помню — смеялись. После репетиции поехал по какому-то мелкому делу на Ленфильм. С кем-то встречался, что-то обсуждали... Вышел из подъезда студии, перешел проспект Горького и, миновав вход в метро, углубился в парк Ленина. Сел на скамейку недалеко от памятника «Стерегущему», поставил локти на колени и сжал голову руками. «Спокойно, спокойно,— сказал сам себе мысленно,— сейчас разберемся... во всем... с самого начала».

ЭТО БЫЛО ДАВНО. Это было в другой жизни. Это было четверть века назад. Я с трудом идентифицирую себя нынешнего с собой тех лет. Но я всей душой сочувствую этому человеку, возрастом под сорок, сидящему в парке Ленина возле памятника «Стерегущему», обхватив голову руками. Он очень неумело и слишком нервно решал возникшую перед ним задачу.

А задача, в сущности, была простая. Надо сообщить Эткинду, что им сильно интересуются. Но телефон Эткинда наверняка прослушивается. И явиться к нему нельзя: и ему можно навредить, и этим товарищам прямой вызов бросать опасно — мне совсем не хочется продолжать встречи с товарищем Чехониным. Значит, надо найти нейтрального общего знакомого, которому можно довериться, но который сам при этом не находится «на крючке». Но еще это должен быть человек, который постоянно общается с Ефимом, иначе, если он вдруг туда сунется, получится, что я его впутал в неприятности. Простая задача? Если не сам ее решаешь, то очень простая. А если сам...

Задача решилась. Перебрав в уме многих, я выбрал писательницу Долину. И разыскал ее. Рассказал. Она только хмыкнула: «Да Фима все это знает, вокруг него эта бесовщина идет совсем в открытую. Они уезжают, это вопрос решенный. Только бы сил хватило все это вынести. Но он сильный. Они все сильные. И Екатерина Федоровна, и девочки...»

Вот вся эта элементарная история. Но не вся история взаимоотношений гражданина со скамейки в парке Ленина с властями.

Эткинд позвонил мне перед самым отъездом, и я пришел прощаться. Голые стены, окна без занавесок. Длинных разговоров не было.

Потом, когда я стал в Ленинграде запретным и с таким трудом «эмигрировал» из родного города в Москву, ходили слухи, что причиной всех неприятнос-



тей была моя речь, произнесенная якобы на аэродроме на бурных проводах Эткинда. И меня всё спрашивали шепотком и друзья, и недруги: «А что ты на самом деле там наговорил?»

На самом деле мы стояли вдвоем посреди опустевшей комнаты без мебели, и я сказал: «Ефим Григорьевич, увидимся ли мы?» А он сказал: «Будем надеяться».

### *Под сеткой*

Начались случайные неприятности. Или неприятные случайности. Предложили роль в новом фильме. Прошли пробы, состоялось утверждение. Обо всем договорились. Но что-то произошло. Кто-то что-то посоветовал. Пробы посмотрели еще раз. То, что нравилось, вдруг перестало нравиться. Режиссер сопротивлялся, но на него нажали. Мы расстались, не начав. А ведь я был уже опытным и даже весьма популярным актером. Ну бывает... ну срыв... во вкусах не сошлись...

Когда это же случилось со второй картиной, настроение стало постоянно угнетенным.

Товстоногов на репетиции отвел в сторону: «Сереза, я очень огорчен, но вас окончательно вычеркнули из списка на присвоение звания. Надеюсь, вы понимаете, что для меня это личная неприятность. Я им объяснял, что это нарушает весь баланс внутри театра (я играл тогда главные роли в семи спектаклях), но мне дали понять, что это не от них зависит. Сереза, у вас что-нибудь произошло?»

Готовились к началу съемок фильма-спектакля «Беспокойная старость», где я играл профессора Полежаева. Товстоногов вызвал меня к себе: «Сереза, я не понимаю, что происходит, но нам закрыли «Беспокойную старость» (спектакль о революции, посвященный 100-летию со дня рождения Ленина, и при этом без всяких скидок, очень хороший спектакль) и предложили вместо него снимать «Хануму». По тональности разговора я чувствую, что тут какая-то добавочная причина. Это не простая замена. Слишком резко. Что происходит?»

И тогда рассказал я Георгию Александровичу все, как оно было. Он был сильно огорчен и сильно встревожен: «Вам надо выйти на прямой контакт. Этот узел надо разрубить. Вы должны задать им прямой вопрос. Если действительно, как вы говорите, ничего не было, а я вам верю, то, может быть, это просто бумажная бюрократическая волокита — нелепый шлейф от того вызова. Вы должны говорить... не отмалчиваться... Иначе они могут испортить всю жизнь».

И я позвонил ТУДА.

Меня принял не Чехонин, а некий гораздо более высокий чин. Он был рассеян и неприветлив.

«Я не могу работать,— сказал я.— Мне повсюду обрубают возможности, перекрывают дорогу. Какие у вас ко мне претензии?»

«А-а... — разочарованно протянул начальник.— Я думал, вы к нам с другим пришли... Нет, претензий у нас к вам нет, а вот дружбы у нас с вами не получилось».

«Но что происходит вокруг меня?»

«Не знаю. Это вы попробуйте прояснить в партийных органах. Может, у них к вам что есть».

Я вышел из Большого Дома, проклиная и этот день, и себя, и Гогу за этот визит. Я чувствовал себя оплеванным и сознавал, что сам виноват. Такое унижение — и никакого результата. И, самое главное, может быть, и вправду это не эти органы, а те? Но кто именно? И почему?

ВЛАСТЬ! В-л-с! Власть! Волость. В-Л-С! Влезть! Во власть.

Влезть во власть,

И будет всласть!

В-Л-С. Волос. Власть на волосе. На волоске? Власть висит на волоске?!

В-Л-С. Власть! — Вялость??? Это конкретно про нашу российскую или вообще? Власть... Лассо!

Какая она, наша власть, где она гнездится? Вот милиционер. Он власть. Но если с ним говоришь по-хорошему, по-человечески, он смягчает и говорит: «А что я? Мне приказали!» — и показывает пальцем куда-то вверх и назад. Значит, он не власть, а... Начальник его, стало быть, власть? Говаривал я и с начальниками. И с начальниками начальников. Они иногда очень милые и разумные люди. И улыбочивые... Во всяком случае, в разговоре с артистами. Так вот, они тоже говорят: «Жмут на нас, работать стало невозможно. ОНИ ж ничего видеть не хотят!» — И тоже показывают пальцами в какую-нибудь сторону, в потолок или в окно кабинета.

А за окном еще более высокие кабинеты. И там случалось бывать. Если при закрытых дверях, так сказать, «без галстуков», то проводят ладонью по горлу и говорят: «Вот так уже достали? Все на пределе! Так долго продолжаться не может». — И глазами показывают вверх, вверх.

Да кто же там такой на горе засел? Секретари? Генеральные секретари?? Президенты??? Может, не поверите, но... видел. Очень редко, скорее, можно сказать, случайно, но... и ИХ видел! Ну совсем не похожи на Кашея Бессмертного. (Какая умница все-таки Евгений Шварц! ...В комнату входит Дракон. Костюм тройка, на голове шляпа. В руке портфель. «Видите,— говорит,— до чего ОНИ довели? Но я ИХ приведу в чувство».)

А ОНИ-то где? Как же я ИХ пропустил на этой лестнице власти, по которой в силу обстоятельств и по причине профессии прошелся сверху донизу? Есть, правда, две абсолютные величины, одна наверху, другая внизу. Верх — Сталин! Вот это хозяин, это концентрат власти, это сама власть. Потому и вспоминают, потому и ходят с его портретами, как упрек нынешним — видали, какая власть бывает?! То-то! Этот умел и казнить (часто!), и миловать. (Ну, не всех же казнили, кто-то ведь и выжил.) Но Сталин умер. Нет «верхнего» абсолюта власти. А если воскреснет (ну вдруг, ну предположим!), то тут и те, кто призывает сейчас его дух, опомнятся, остынут и языки проглотят.

Но есть еще один абсолют власти — «нижний». Всю жизнь в ушах: «Вся власть народу!», «Народовластие», «Депутаты — слуги народа». Хорошо, депутаты — слуги. А исполнительная власть — слуги слуг народа. А шоферы, домработницы, денщики, охрана исполнительной власти — это слуги слуг слуг народа. И так далее. И еще «Искусство принадлежит народу», и еще «Хлеб — народное достояние. Берегите его!» Ну так что с народом-то? Он власть?

Да ну ладно! Перестаньте! Народ, он слоистый. И пассажиры троллейбуса народ, и деревенские старухи... и банковские служащие... и актеры — народ (многие не верят, но это так). И бомжи — народ. Все народ! Так поговорите, поговорите с народом — с пассажирами, со старухами, с экономистами, с актерами и с бомжами! Все слою единодушно вам скажут, что ОНИ ТАМ — совсем без голы, и при этом покажут пальцем вверх.

Где же она, эта ВЛАСТЬ? Как она умеет бить — знаем, как она мучает — пробовали. Как она организует (нас), защищает (в основном себя), благоустраивает (для своих близких) — замечали. У нее органы — раздутые, крепкие. Партийные, госбезопасные, правопорядка, управления... Органы, органы... работают на всю катушку... А сама ВЛАСТЬ... где? Не видно ее. Имеется в виду, что власть есть. Но увидеть ее нельзя. Крутись между ее органами и попытайся выжить!

Пришел ко мне мой близкий приятель. Человек заметный, публичный. Заходит ко мне часто. Болтаем всегда весело, шутливо. А на этот раз что-то заметно нервничает и разговаривать зовет куда-нибудь в садик. В садике и рассказывает: «Вызывали. ТУДА. Беседовали. О тебе спрашивали. Назначили место, где будем встречаться регулярно. Будем разговаривать. Я не могу больше. Либо сбегу отсюда, либо повешусь».

Друг подошел в театре: «Куратор вызывал в связи с предстоящей международной поездкой. Просил подробно рассказать о тебе. Говорит, что это в твоих же интересах».

После закрытия спектакля «Фиеста» по роману Хемингуэя я сделал телефильм с тем же названием. Фильм имел, как сказали бы сейчас, звездный состав: Михаил Волков, Наталья Тенякова, Владислав Стржельчик, Григорий Гай, Владимир Рецептер, Эмилия Попова, Михаил Данилов. И еще — художник Эдуард Кочергин. Не забудем и того, что выдающийся театральный композитор Семен Розенцвейг написал для «Фиесты» замечательную музыку. И, наконец, еще одна «изюминка» — впервые драматическую роль играл любимец балетной публики, прима-солист Миша Барышников. Фильм получился. Это подтвердили первые просмотры. Кажется невероятным, но пленка низкого качества (съемка с экрана кинескопа), пригодная только для показа на маленьком экране, несколько раз демонстрировалась в больших кинотеатрах при битком набитых залах.

А вот на телеэкран фильм никак не выпускали. Я выяснял, просил, настаивал, ездил в Москву на прием к министру. Вдруг картину пустили — без объявлений, в неудобное время, ночью, один раз, без надежды на повтор. И тут грянул гром — на зарубежных гастролях Михаил Барышников попросил политического убежища и стал невозвращенцем. «Фиесту» запретили окончательно. Был даже приказ сменить пленку, но — спасибо неизвестным смельчакам — приказ выполнен не был. А у меня что-то очень часто стали появляться люди, слишком живо интересующиеся: как там Миша устроился, не пишет ли чего, не присылает ли с оказией? Поддерживаю ли я с ним контакты, и если да, то как? И не помочь ли мне в этих контактах — есть ходы, и есть влиятельные люди, которые могли бы...

Позвонил режиссер торжественного вечера в Октябрьском зале в честь 7 ноября: «Решено, что ты в первом отделении исполняешь в гриме речь профессора Полежаева перед матросами, весь этот знаменитый монолог: „Господа! Да, да, я не оговорился, это вы теперь господа“... и так далее».

Я говорю: «Ребята, это ошибка. Такого монолога в нашем спектакле нет, потому что его в пьесе нет. Это добавка сделана была для фильма, где Полежаева играл Черкасов, и, откровенно говоря, мы с Товстоноговым это обсуждали на репетициях, и такой монолог принципиально не может быть в нашем спектакле. Так что вы перепутали».

Второй звонок: «Сережа, концерт курирует сам секретарь Обкома по идеологии. Он настаивает».

«Но я не исполняю этого монолога, его нет! У меня нет этого текста! Он отсутствует. Я не приду».

Концерт прошел без меня. Коллега, входящий в кабинеты, шепнул: «Тобой недовольны. ЭТОТ сказал: он меня попомнит, это у него последний шанс был».

Я выпустил булгаковского «Мольера», снял по своему сценарию на телевидении «Младенцев в джунглях» по О'Генри. И тут рвануло! На еженедельной планерке работников радио было официально объявлено: все передачи с участием Юрского снять, к новым передачам не допускать, прежние передачи с его участием в эфир не давать, следить, чтобы были изъяты все упоминания фамилии. Точно такое же распоряжение последовало на телевидении.

Я пришел в дом на улице Чапыгина, в дом, куда в течение двадцати лет ходил почти ежедневно, — на студию телевидения. Мой пропуск оказался аннулированным. Несколько дней я дозванивался главному режиссеру. Наконец он назначил встречу. Он отвел меня в угол своего кабинета и сказал почти на ухо: «Я ничего не могу вам объяснить, я уверен, что все выяснится, все будет хорошо... Но я прошу вас больше мне никогда не звонить и не пытаться войти на телевидение. У меня есть распоряжение».

Ленинград для меня закрылся. Но есть Москва! А вот и приглашение в столицу — участие в передаче из Дома актера к новому, 1976 году. Приезжаю в столицу и как будто свежего воздуха вдохнул — все спокойно, весело, доброжелательно. Идет съемка. Я в одном сюжете с вратарем Владиславом Третьяком. Он говорит о хоккее, я играю комический «Монолог тренера» М. Жванецкого. Наш блок идет после выступления новой прелестной звезды на эстрадном небосклоне — она здорово исполняет песенку «Арлекино», и зовут ее Алла Пугачева. На репетиции она меня просто покорила, и во время передачи я шлю ей через соседей восторженную записку. Мы обмениваемся кивками, улыбками. Вообще, кажется, у меня первый раз за несколько лет хорошее настроение. Говорит Третьяк. В него влюблена вся страна. Потом я играю «Тренера». Монолог смешной, и присутствующие заливаются смехом. Еду обратно в Ленинград и думаю в поезде: если есть Москва, то все наши ленинградские запреты — просто провинциальные амбиции и капризы. Да и вообще, наверное, я все преувеличиваю. Скоро Новый год, скоро премьера. Надо сбросить все эти глупые подозрения, забыть недоразумения и заниматься своим делом.

В это время я репетировал в БДТ пьесу Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева». Я режиссировал спектакль и играл роль Фарятьева... В спектакле был блистательный женский состав: Наталья Тенякова, Нина Ольхина, Зинаида Шарко, Эмилия Попова, Светлана Крючкова. Пьеса мне очень нравилась, но я жутко нервничал. И со всех сторон набросились на меня разные болезни. Появился психологический дисбаланс.

Декабрь 75-го. До премьеры неделя. Шел прогон. В конце первого акта я почувствовал боль в глазах. В антракте глянул в зеркало — сразу несколько сосудов лопнули. Глаза кровавые... Но ничего, продолжим; надел черные очки — можно себе позволить, — прогон рабочий, в зале только автор и те, кто технически обслуживает спектакль. В последней картине я должен сыграть эпилептический припадок — сажу на корточках, обхватив руками колени, и падаю на правый бок. Делал это на репетициях уже десятки раз. Боль в глазах усиливается, очень трудно сконцентрироваться. И сцена такая напряженная. Итак, присаживаюсь, обхватываю колени руками, валюсь на правый бок. Чувствую острую, обжигающую боль в плече. Несколько секунд не могу шевельнуться, не могу произнести ни слова. Потом беру себя в руки, если можно так выразиться, а вернее, левой рукой беру правую, потому что правая отнялась. Кое-как прогон дошел до конца. Потом «Скорая помощь». Ночевал я уже в больнице. ЛИТО — Институт травматологии, возле Петропавловской крепости, в углу того самого парка Ленина, где я сживал не так давно на скамеечке возле памятника эсминцу «Стерегающему». Я заполучил тяжелый перелом ключицы с разрывом суставной сумки.

**ВСАДИЛИ СТАЛЬНЫЕ СПИЦЫ** и поставили на плечо аппарат Иллизарова. Как пела в известном фильме моя подруга Люся Гурченко, «Новый год настает / Он у самого порога». Премьера полетела в тартарары. Тревоги возобновились. Будущее затуманилось.

Вечерами всё отделение (не только ходячие, но и лежачих вывозили на кроватях в коридор) собиралось возле телевизора. 30 декабря не отрываясь смотрели «С легким паром» Эльдара Рязанова, хохотал народ. А 2 января будет НАША

«Театральная гостиная». В центральных газетах объявлено среди других и мое участие. Да кто тут в больнице газеты читает, да еще центральные! Я и помалкиваю, но про себя готовлюсь. Волнуюсь, как жених перед свадьбой. Как будто в первый раз — вот сейчас покажут меня на голубом экране на всю страну и на все наше второе отделение, в Новый год мы будем вместе с Третьяком, с Пугачевой, с Михаилом Жаровым — и всё... И сойдет наваждение последних лет.

Началось! В нашем колченогом, колчеруком коридоре аншлаг. Вот представляют участников передачи. Камера движется по лицам слева направо. Жаров... Алла Пугачева (какая она все-таки обаятельная!), вот Третьяк и... малюсенький, почти незаметный скачок, просто дрогнула пленка... И пошли разные другие лица. Случайность? Или... Возникшее подозрение было хуже того, что случилось потом. А случилось потом — чудо! Чудо техники.

Я ведь был там! Я это знаю! Это реальность! Мы сидели с Владиславом Третьяком плечо к плечу, и я начинал свой монолог прямо встык с его речью. Так было, я помню: мы же просматривали это в Москве на экране. И сейчас все, как прежде, как было раньше, но меня там... не было! Ни нашего разговора с Третьяком, ни монолога тренера, ни моих реплик с места — ничего не осталось. Меня вырезали. Как корова языком слизала. Пришла другая реальность.

Наутро после бессонной ночи прямо из больницы я начал названивать в Москву — самому Лапину, министру, Председателю Комитета по телевидению и радиовещанию. На удивление самому себе я дозвонился. И к полному моему удивлению он сам взял трубку. Я рассказал, что и как было, и спросил — почему? А он очень просто и совсем не в официальной манере проговорил, подумав: «Ну что вам расстраиваться? Это не первая у вас передача. И не последняя».

«Но я хочу знать, кто распорядился это сделать и почему?»

«А это вы не у нас ответа ищите, а там, у себя. Мы далеко. А вы близко посмотрите, рядом».

**ВОТ ТУТ МНЕ СТАЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО.** Скудная, вялотекущая многолетняя операция по вдавливанию головы в плечи одного из граждан города Ленинграда была завершена.

Я рассказал все это столь подробно, чтобы обнажить механизм, действию которого подверглись десятки тысяч или более моих земляков. Я рассказал это столь подробно, чтобы меня больше не спрашивали: «А вы уехали тогда из-за Товстоногова? У вас были разногласия? Он не давал вам работать?»

У нас были разногласия! Но он давал мне работать. Именно он открыл передо мной совершенно новое понимание театра, он открыл во мне неизвестные ранее возможности. Он — Георгий Александрович Товстоногов — мой главный учитель, мой самый главный и любимый режиссер. Я счастлив и горд, что двадцать лет шел с ним рядом. Двадцать лет играл главные роли во многих спектаклях его замечательного театра. А развели нас ОРГАНЫ неуловимой, непознаваемой власти, которые давили на каждого из нас, которые лишали нас перспективы, солидарности, надежды.

Кто же он, мой персональный злодей, мой давитель, мой угнетатель? Кто тот, от кого я начал свой побег из Питера, а он меня не выпускал? Долго не выпускал — годы прошли, а он все не выпускал. Не за рубеж, не в эмиграцию, а в столицу нашей родины — в Москву, в другой академический театр! ОН ЗНАЛ обо всех моих передвижениях и намерениях и везде перекрывал мне дорогу. И таких, как я — повторяю! — десятки тысяч по крайней мере. И КАЖДОГО ИЗ НАС надо было держать в поле зрения, чтобы держать в узде, и каждому напоминать: «Ты не свой, ты мой, и ты мне очень не нравишься!»

Кто же он? Не знаю! Не вижу лица. Иногда он снился мне. Облики бывали разные. Мне снилась месть. Мне снилась личная встреча. И находились слова, которые называли наконец, чья вина, и кто виноват, и какое наказание за испор-

ченную жизнь, и как вернуть и пережить заново эти лучшие годы, пережить их без уныния, без сводящей с ума тревоги, без постоянного ожидания запрета, отказа.

Но это сны, сны... коловращение подсознания, ил, поднявшийся со дна души.

Страшна ли моя судьба? Да вовсе нет! Я счастливец! Какие ужасы испытывали люди вокруг меня, рядом со мной! Некоторые ожесточились. Некоторые научились хитрить настолько ловко, что потеряли и позабыли начальную точку — ради чего, собственно, хитрить-то надо было. Некоторые притворились «на время», а оказалось — навсегда. Некоторые не выдержали и просто ушли из жизни.

Виноват строй? Виновата власть?

(Меня тогда выпустили на время из больницы. День и ночь ходил по квартире — думал. И надумал: написать САМОМУ — ПЕРВОМУ секретарю обкома, ХОЗЯИНУ Ленинграда. Сел за машинку и начал печатать — у меня сохранился этот текст! *«Многоуважаемый Григорий Васильевич!..... Я считаю себя настоящим советским человеком...»* Две страницы напечатал жалобного текста... и снова отнялась рука!!! Правду говорю — отнялась! И боль началась. Я не допечатал, и меня увезли в больницу на новую операцию. Может быть, тогда укололо — Бог есть!)

Виноват строй? Виновата власть?

Теперь нет этого строя. И власть другая. Теперь все в порядке? Не жмет? Комфортно? Не совсем? А что такое? Нас же выпустили, мы же на свободе!

(Шел троллейбус по Москве, по Бульварному кольцу. Человек в дорогой, но слегка истершейся папаше поздоровался со мной кивком головы. Я ответил. Он назвал меня по фамилии и стал вспоминать Ленинград, БДТ... А я все вспоминал: кто это? И только когда мы раскланялись и за ним стали закрываться двери, я по затылку узнал — ОН, ХОЗЯИН, ПЕРВЫЙ — тогдашний! Хотелось ли догнать, высказать не высказанное тогда? Пожалуй, нет... Хотелось ехать дальше.)

Теперь нет того строя! Мы все тут гуляем рядом — и те, кого давили, и те, кто давил. Кто ответит за прошлое? Кого привлечь? «Ищите рядом!» — сказал мне министр.

«Ищи близко!» — сказали мне мои соученики-следователи, когда я пришел за советом.

Где близко? Смотрю: знакомые... товарищи... приятели... друзья... семья? Остановись! Так весь свет попадет под подозрение. Были и тайные недруги... Конечно, могли настроить власти определенным образом... шепнуть, нажать... Но, как говаривал мой отец, самое страшное превратиться в типа с лицом обиженного, которому человечество задолжало рубль восемьдесят пять копеек.

Правы мои следователи, правы: ближе гляди, ближе... вокруг оглянись... Вот твоя комната (тепло... не в комнате тепло, а в смысле — ближе к разгадке), твои вещи, книги, стол, стул... (горячо! дальше!) диван... телевизор... (ой, горячо!) зеркало... (горит!) стоп!

Посмотри на себя. На отражение свое. И подумай о том, что ты ЧАСТЬ этого ВСЕГО, ты позволил ему быть таким. Ты позволил себе слишком от него зависеть. Это ты не удивился, когда тебя спрашивали в ТОМ кабинете, что именно Солженицына ты читал. Ты только думал, как скрыть, что читал ВСЕ. Ты признал тем самым ИХ право над тобой. Ты надеялся их перехитрить, но ты признал факт ИХ существования. А потом, ты ЖДАЛ перемен и полагал, что

внешние перемены сделают тебя свободным?! Это ты все хотел рая на земле и мечтал методом общенародного тыка избрать (будет же и у нас демократия!) идеального правителя, митингом выкрикнуть имя нового... нового... спасителя... Спасителя?

Тут начинается религия, и надо умолкнуть.

### *Vanessa*

ВО-ПЕРВЫХ, ОНА ОДНА ИЗ ТРЕХ лучших актрис в мире. Убежден в этом. Только не надо меня спрашивать, кто две остальные. Я имел счастье видеть ее не только на экране, но и на сцене в бродвейском спектакле, и в репетиционном зале в качестве исполнительницы и режиссера, я выступал с ней в концертах на большой сцене в Лондоне и в малюсеньком мемориальном зале в Тбилиси. Я утверждаю: на всем свете есть три лучших актрисы! И она одна из них!

Во-вторых, горжусь тем, что она моя подруга. Уже давно — с начала 80-х.

В-третьих, Ванесса поверх всего и прежде всего занимается политикой. Политика определяет ее решения и поступки. Искусством, для которого создал ее Бог, она занимается легко, как чем-то вспомогательным.

Именно как политик, а не как великая женщина — актриса она вошла в эту главу ОПАСНЫХ СВЯЗЕЙ моей жизни.

Говорят, что люди Запада (того мира), особенно состоятельные — скользкие люди. «Скользкие» буквально — зацепиться не за что. Улыбка, вежливость, поверхностное внимание — это пожалуйста! А вот поближе, «по-нашему», чтоб «раз и навсегда», чтоб «от души!» и сердечно — не-а! Не могут! Выскальзывают! Это, конечно, абсурдная точка зрения, как всякое неоправданное обобщение. Словечки эти: «И вообще все они...» или: «Да никто из них никогда...» и прочее — это все плоды нашей ксенофобии. А чуть поближе к корешкам, чуть поглубже копнуть — и национализмом да и расизмом пахнет. Но сейчас разговор не про всех иностранцев (среди которых и вправду немало и скользких, и холодных, и бездушных), речь про одну — единственную и уникальную.

Ванесса появилась у нас в Театре Моссовета на утреннем спектакле «Правда — хорошо, а счастье лучше». Привел ее молодой актер, снимавшийся вместе с ней в московских сценах американского фильма. Она тогда совсем не знала порусски. Я удивился: каково смотреть сугубо разговорную пьесу, не понимая языка?! Об этом говорили с ней в антракте. Однако она осталась и досмотрела пьесу до конца.

Я в то время уже знал ее по кино и восхищался ею. Она понятия не имела ни о ком из нас. Но в разговоре возникла тема, которая заставила ее проявить очень личные, глубокие качества. Ее отец Майкл Редгрейв был выдающимся актером театра и кино. На сцене я видел его в «Гамлете». Хорошо помню — это был особенный спектакль. На гастролях в Ленинграде перед началом объявили, что Майкл Редгрейв сильно простужен, но не хочет срывать спектакль. Он просит прощения, что в нарушение рисунка роли Гамлет будет все время держать в руке носовой платок и пользоваться им по необходимости. На этот белый платок мы смотрели не отрываясь. За весь спектакль Гамлет, может быть, пару раз, не более, приложил его к лицу. Но белая тряпочка гипнотизировала. Этот Гамлет с насморком почему-то производил особое впечатление. Красавец Редгрейв приобрел еще черты трогательности и какой-то особой интимной достоверности. Во всяком случае, я запомнил этот спектакль навсегда, и Гамлет этот выделялся для меня из всех Гамлетов.

А потом меня пригласили дублировать английский фильм. Работали мы в паре с асом дубляжа — Сашей Демьяненко. Работа была интересная и сверхсложная — «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда. Сплошной быстрый диалог в течение двух часов. Я дублировал Майкла Редгрейва. Две недели подряд по четыре-пять часов в день я вглядывался в его лицо на экране, учился подражать его артикуляции. Я учил эти английские губы произносить русские слова. И как многому я сам научился от этого великолепного англичанина.

Я вспомнил об этом теперь, познакомившись с его дочерью. Ванесса обожала отца. Она унаследовала от него высокий рост, стать и его красоту — в женском, разумеется, варианте. Талант у нее собственный — ни на кого не похожий. Что еще очень важно — она и ее брат (с ним мы познакомились позже), вся эта семья, все они исповедовали последовательно демократические взгляды, деятельную самоотверженность в борьбе за справедливость — исповедовали как наследственную черту характера, как свойство отца — Майкла Редгрейва.

Ванесса ненавидела капитализм. Знаменитая английская актриса приехала в СССР сниматься в американском фильме. Но куда больше фильма ее интересовал социализм. Сталинский режим и его отголоски, как всякая несправедливость, как всякое насилие, вызывали в ней ненависть. Она видела и осуждала ханжество и ложь брежневского правления. Но все это было для нее ИЗВРАЩЕНИЕМ СВЕТЛЫХ ЧЕРТ подлинного социализма. Она страстно сочувствует диссидентам. В них она видит братьев по борьбе за подлинную свободу.

Приехав в Москву, она знала целый список непокорных художников, тех, кто протестует, тех, кто страдает. Она собиралась встретиться со многими из них. Но — удивительное дело! — она не знала (или забыла? или не успела подумать?), что едет в страну, где в феврале бывают настоящие морозы. Она совершенно не позаботилась о себе. В тот день в Москве было минус тридцать. Когда мы вышли из театра, я ахнул — на госпоже Редгрейв было тонкое пальто, легкие туфли и не было головного убора. У нее ничего не было. А у меня тогда не было машины. Достать же такси в Москве было тогда... Это было как крупно выиграть в лотерею... Мои ровесники помнят, что это было такое. Я метался по улице, пытаюсь остановить частника. Но частный извоз — вспомните! — в то время считался почти криминалом.

Госпожа Ванесса стояла под ледяным ветром, заметаемая снегом, и как будто не замечала этого. Она не думала о том, что может простудиться, заболеть, что сорвутся съемки. Она думала о том, как успеть сегодня вечером на дальнюю окраину Москвы, чтобы посмотреть в малюсеньком кинотеатре полузапрещенный фильм Алеши Германа.

Однажды, снова приехав в Москву, она позвонила мне и спросила: что надо смотреть в столице. Увиделись мы в клубе университета на отчаянно ярком и резком спектакле студенческой политсатиры. Рядом с Ванессой был широкоплечий приземистый старик. Ванесса оказывала ему все знаки почтения и заботы. Имя его было Джерри Хили.

Я недолго изобретал, чем бы удивить их в Москве. На следующий день повез их в тихий Ново-Ивановский переулок — в полуразрушенный дом с лестницами без перил и дверями с ободранной обшивкой. Здесь доживала последние месяцы мастерская моего друга — театрального художника ПЕТРА БЕЛОВА.

Петр Алексеевич переживал в это время (без преувеличения говорю!) вдохновенный период духовного прозрения. Он — известный декоратор, в свободное время писавший мирные пейзажи, — вдруг создал большую серию странных и страшных картин. Это были сгущенные до символов обвинения тоталитарному монстру эпохи — сталинизму. Вот иллюзорно-точно написанная, совсем как настоящая, ПАЧКА ПАПИРОС «БЕЛОМОРКАНАЛ». Пачка разорвана. Из нее просыпались какие-то ... крошки... табак, что ли... Но, если подойти поближе, взглядеться, не табак... Люди, сотни людей, втекающих внутрь



этой пачки, этого незабываемого Беломоро-Балтийского канала, перемоловшего десятки, сотни тысяч жизней.

Вот САПОГИ ВОЖДЯ (сразу узнаваемые) на поле одуванчиков, где в каждом одуванчике — их бесчисленное множество — мутно просвечивают лики... лица... души растоптанных.

Вот ПАСТЕРНАК, вмурованный в стену, из которой пробились только лицо и кисть руки.

Два десятка таких картин висели в полуразрушенной мастерской главного художника Театра Советской Армии. Они были его тайной. Тайна доверялась только друзьям под обещание «не болтать, помнить, но забыть... Забыть, но... помнить». Вот я и вспомнил. И привел иностранцев посмотреть на клейма жителя нашего народа.

Ванесса была поражена. Джерри Хили сидел посреди комнаты на колченогом стуле и астматически тяжело дышал. Лысый смуглый череп, низко посаженная на плечи голова, внимательный остановившийся взгляд. Он напоминал замершую черепаху, выглядывающую из своего панциря.

Ужинали вместе в Доме актера. Ванесса говорила, что Белов должен привезти свои картины в Лондон, что он непременно должен оформить там какой-нибудь спектакль и вообще... проявить себя в Европе. Петя смущенно улыбался и все переспрашивал, правильно ли я перевожу, может, что путаю.

А потом, один на один, сказал, что выслушал все эти предложения, как добрую сказку на ночь. Все это настолько не совпадало с реальной жизнью и реальными возможностями, что казалось то ли наивностью, то ли насмешкой.

А потом Петя умер. Он написал еще несколько замечательных картин. Последней была такая: БЕЛОЕ СНЕЖНОЕ ПОЛЕ, следы от первого плана в глубину. Далеко-далеко человек, который уходит по этой целине. А на самом первом плане чья-то рука ДЕРЖИТ эту картинку... И рядом с ней ключи лежат... Это он сам? Картина называлась «УХОД» и была написана за месяц до смертельного инфаркта. Тема «прихода Белова в Европу» никогда больше не поднималась. Он и забыл про это.

А Ванесса не забыла. Стараниями жены Петра Марьяны и дочери Кати, стараниями друзей работы Белова превратились в передвижную выставку. Ванесса пригласила Марьяну и Катю в Англию, и картина Пети «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» стала маркой, символом выставки русского искусства в Лондоне. Выставка побывала во Франции, Германии, Польше, странах Балтии.

Ванесса и Джерри Хили снова появились в Москве. И я узнал, что мистер Хили не только бывший морской офицер, интересующийся Россией, но еще и нынешний глава троцкистской партии, а Ванесса — адепт этого учения, и опора, и спонсор, и душа этой неведомой мне, пугающей своим названием, партии — пугающей, потому что я ведь ЗДЕСЬ воспитан, я ведь советский.

Снова мы отсидели вместе длинный спектакль в скромном театрике во второстепенном Доме культуры, и англичане, не понимающие по-русски, внимательно (гораздо внимательнее, чем я) выслушали и отсмотрели это зрелище с острыми, но трудно расшифровываемыми намеками. Потом я повел их в ресторан НИЛ (Наука—Искусство—Литература) — был такой на улице Фучика. Там сперва действительно бывали и актеры, и ученые, а потом обосновались крутые ребята из чеченской мафии Москвы, нас потеснили, вытеснили, а через некоторое время... вообще все перевернулось. Но тогда — в 88-м — можно было еще позвонить по телефону и сказать: «У меня друзья из Англии. Ванессу Редгрейв знаете? Так вот, это она... Ну конечно, поужинать и поговорить... Надо, чтобы ничто не мешало...» И понимали, и так все и было, и платить за это надо было сравнительно разумные деньги, сопоставимые с заработками в театре и в кино.

Итак, мы уселись за хорошо накрытый стол в уголке ресторана НИЛ. На этот раз говорил Джерри Хили. Он говорил долго на непонятном для меня английском языке. Ванесса исправно переводила на французский, а я в уме старался перевести это с французского на привычные для меня слова и понятия. Чередовались имена: Троцкий, Сталин, Солженицын, Волкогонов... Речь шла о справедливости и несправедливости, о страданиях, но одеяния политических концепций, надетые поверх людских судеб, часто скрывали от меня истинную суть явлений. Фигуры то прояснялись, то затуманивались. Речь шла о том, что в современном мире человек живет в невыносимом напряжении, на грани возможного. Речь шла о неизбежном и близком крахе фальшивой капиталистической системы. Иногда формулировки были похожи на знакомые «предмайские» призывы ЦК родной партии. Но интонация! Не ханжеская, мнимо-мужественная, при этом подхалимская речь наемника, а искренняя, опирающаяся на знание, на собственный опыт, убежденная и убедительная речь человека ОТТУДА. В другие минуты монолог совпадал с тоже знакомыми мыслями наших диссидентов и борцов с «нашим» строем. Это я знал хорошо и вполне мог добавить фактов невыносимости нашей «тутошной» жизни. Все это так причудливо переплеталось. Да плюс к этому напряжение в понимании языка. Да плюс к этому в глубине сознания вопрос — к чему? К чему все это клонится? Это ведь совсем не походило на наши «кухонные» разговоры, которые чаще всего не клонились ни к чему конкретному и ни к чему не обязывали.

Я никогда не был членом партии. Комсомол — да! О, как я стремился, и как я был горд стать членом ВЛКСМ в 1949 году. «Едем мы, друзья/ В дальние края./ Станем новоселами и ты, и я». Хотел ехать, хотел стать, хотел быть... «со всеми»! Но через три года меня чуть не исключили с треском из этой великолепной организации, и тогда... прощай, университет, прощай, нормальная биография... Ну что там еще «прощай»? Да, все «прощай»! — шел 52-й год. Меня объявили «борцом против колхозного строя и соцсоревнования». Это после студенческих работ «на картошке» за мои высказывания на собрании. Я не боролся с колхозным строем (к сожалению, не боролся — было бы сейчас чем похвастаться), я просто пытался найти логику в окружающей действительности. Когда разбирали мое «дело» на факультетском общем собрании, все было предрешено. Но секретарь курсовой организации Валя Томин тоже жаждал логики и смысла. Он один выступил против готового мнения, и — удивительно — этого оказалось достаточно. Он меня спас.

Потом я всегда помнил: не ходи в партию! Не ходи в организацию! Меня звали (позже), меня соблазняли, мне даже угрожали — я не шел. Передо мной был пример «шефа» — беспартийного Г. А. Товстоногова. Он меня вдохновлял.

Вернемся в наш разговор за столиком ресторана НИЛ. 88-й год. В нашей стране снизу широкой волной идет «деидеологизация». Борьба за право человека НЕ БЫТЬ СО ВСЕМИ, быть собой. Право не быть с большинством, право быть одиноким, грустным... Да что же может быть слаще этого! Но вот мой *vis-a-vis* Джерри Хили убежденно говорит о необходимости идеологии, о большой правде троцкизма.

Впервые в жизни я вижу перед собой ЧЕЛОВЕКА ИЗ ДРУГОЙ ПАРТИИ. Иностранцев видал, а вот партийных иностранцев... не видал, это первый. Мало того, он не просто из другой партии, он из самой опасной другой партии, ибо никакие буржуи не были так проклинаемы нашей властью, как «троцкистские прихвостни буржуев». И вот он теперь передо мной — глава партии зарубежного государства, убежденный старый человек и (вот как вышло!) давний мой знакомый. Я уважаю его самоотверженность. Я верю Ванессе, рассказывающей о его мужестве и несгибаемости. Но идеи... Идеи его меня не убеждают. Внутренне я заслоняюсь и отталкиваюсь от его речей. У меня другие, смутно еще осознаваемые задачи в жизни. Я не могу и не хочу ни к кому присоединиться.

ВАНЕССА ЗАТЕЯЛА В ЛОНДОНЕ благотворительный вечер — весь сбор на памятник жертвам сталинизма. Памятник должен быть установлен в Москве. От нас должны были ехать Евтушенко как поэт-трибун, несколько представителей общества «Мемориал» и я как актер — читать стихи в концерте. Всю организацию и все расходы Ванесса взяла на себя. В Москве проявляли привычную подозрительность и скаредность — требовали включения дополнительных людей по собственному списку «за счет приглашающей стороны», вставляли палки в колеса с оформлением документов. В результате Евтушенко не смог вылететь в Лондон из Нью-Йорка, а в Москве вдруг отказали в разрешении на выезд ВСЕМ членам делегации. И остался я один — нейтральный беспартийный артист.

Меня принимали как представителя страны. Кто-то жал мне руку и что-то говорил. Кого-то я должен был ждать и потом вместе куда-то идти. Помнить, что через час будет интервью. А потом встреча с кем-то. А весь визит — двое суток. Весь огромный Лондон за окном. Так хотелось в город, на улицу, в парк, на скамейку, в магазин, в метро, в собственный номер в отеле. Понимал, что мысли это грешные, но... хотелось.

«Представителя России» разыскала молодая журналистка со множеством сумок через плечо и большим фотоаппаратом на изготовку. Она задала вопрос. Я попросил ее повторить сказанное еще раз и медленнее. Она это сделала. И я, к своему ужасу, убедился, что с первого раза понял правильно. Она сообщала, что завтра в два часа будет демонстрация гомосексуалистов, и спрашивала, собираюсь ли я принять в ней участие.

Мысли мои запрыгали, как кузнечики в вечерний час летнего дня на краю поля:

Почему она спрашивает об этом МЕНЯ?

Почему ОНА спрашивает об этом меня?

Не наврежу ли я любимым ответом моей дорогой Ванессе?

Не влип ли я в международный скандал? и т. д.

Я спросил девицу, почему ее интересует именно эта проблема. Она удивленно приподняла брови: «А чем же еще интересоваться? Сейчас весь Лондон шумит по поводу завтрашней демонстрации». Опустив глаза, я сказал негромко и вежливо, что я далек (I am far to, если не вру) от этого. Она еще больше удивилась и спросила, зачем же я тогда приехал. Я ответил, что приехал участвовать в акции-концерте, сбор от которого пойдет на памятник жертвам сталинизма (Victims of stalinism — это, кажется, так).

Журналистка сказала: «Но ведь от сталинизма страдали и гомосексуалисты, не так ли?» «Так!» — сказал я. (Yes it is! — это точно неправильно.) Девица бросила сигарету, захлопнула объектив своего фотоаппарата и, не особо прощаясь, удалилась.

Часов в семь участники завтрашнего вечера собрались на квартире у Ванессы. Толкотня в коридоре и в комнатах. Многоязычный разговор. Чай, кофе, пиво, закуски. Атмосфера штаба армии перед боем. Итальянский журналист, испанские актрисы, греки, американцы и, естественно, много англичан. Знакомлюсь с миловидной испанкой, пытаюсь поцеловать руку. Она вырывает руку, и лицо ее делается суровым. В резкой форме она напоминает мне, что она не дама, а товарищ и что в обращении с ней я должен из этого исходить. Пожилая англичанка рассказывает мне о Москве, и я не могу не восхититься ее рассказом — то, что она увидела и поняла в Москве за неделю, мне не удалось ни понять, ни увидеть за десятки лет жизни в этом городе. Приходит даже в голову мысль, что мы говорим о разных городах, носящих почему-то одинаковое название.

В толчее и шуме кто-то несколько раз громко произносит мою фамилию. Я откликаюсь, и меня... зовут к телефону!!! Сперва я просто отпирался и не хотел идти — у меня нет знакомых в Лондоне. А если и могут быть, то они понятия не имеют, что я приехал и уж ни в каком случае не могут знать, что я нахожусь на квартире у Ванессы. Телефонный гонец настаивал, и я наконец взял трубку.

Говорили по-русски. Мягкий баритон.

«Мы, Сергей Юрьевич, так рады, что вы приехали. Мы так ценим вашего Остапа Бендера. Очень бы хотелось вам показать культурные достопримечательности Лондона... Так жаль, что вы не надолго... Вы когда уезжаете?»

«Послезавтра на рассвете. А кто это говорит?»

«А это из посольства. Может, вас отвезти послезавтра в аэропорт?»

«Да нет, не беспокойтесь, думаю, что все будет организовано».

«Ах, как это хорошо и как интересно! Вы тогда по дороге в аэропорт заезжайте к нам в посольство. Кофе поьем».

«В шесть тридцать утра?»

«Ну да. Я вас встречу... на минуточку...»

«А зачем?»

«А вы ведь единственный приехали от СССР. На вечере соберут деньги на памятник жертвам, так?»

«Так».

«И передадут их вам, потому что вы единственный приехали, так?»

«Да, это возможно».

«Ну вот... А вы передадите их нам».

«В шесть тридцать утра?»

«Ну да... Я вас встречу».

«Извините, но я не смогу это сделать. Здесь люди из многих стран тратят свое время и свои деньги. Они и леди Редгрейв прежде всего... они стараются для нас... они собирались передать весь сбор обществу «Мемориал» на памятник. И если это поручат мне...»

«Так вот мы и передадим».

«Но я выполняю конкретное поручение».

«А мы вам и хотим помочь его выполнить. Зачем вам с этим возиться? Вы актер, вот и выступайте на сцене, а с деньгами мы все уладим».

«Вы знаете, нет. Если меня попросят, я сделаю то, что должен сделать».

«Какой вы упрямый! Я сейчас приеду. Поговорим».

«Не надо. Пожалуйста, не надо. Здесь неподходящая обстановка. И потом, я все равно сделаю так, как скажет Ванесса».

«Ну так я с ней поговорю».

И человек приехал. Для меня это был довольно знакомый тип функционера — крепкий, респектабельный, недурно одет, совсем свободно говорит по-английски, улыбочивый, но с такими глазами, что и три рубля такому человеку доверить — большой риск. Однако общество иностранцев, собравшееся на этой квартире, смотрело иначе и видело другое. Приехавший поговорил с Ванессой, помахал руками перед ее носом, заглянул ей в глаза, ударил себя кулаком в грудь, выпил чашку кофе, потом сделал мне издали знак, означавший «полный порядок!» и «эх, ты, приходится за тебя работать», и уехал.

На следующий день был концерт, митинг, собрание — все вместе. Вечер шел в старом театре «Лирико» в центре британской столицы. На сцене сидел президиум и в центре, рядом с председателем, наш человек из посольства. Все шло по плану. Говорили о сталинизме и его жертвах на разных языках. Говорили о прошлом. Говорили о будущем памятнике жертвам посреди Москвы. Я го-

ворил слова благодарности и читал стихи. А потом Ванесса поднесла сверток нашему человеку из президиума, на чем закончилось все мероприятие.

Опять сидели у Ванессы дома. Настроение почему-то вконец испортилось. Хотелось выпить. Но и это не получалось. Не пьянел. Джерри Хили отозвал меня в отдельную комнату и с расстановкой, очень медленно изложил просьбу-поручение. Я должен доставить в Москву и передать для распространения ВСЕ труды Льва Троцкого в нескольких экземплярах. Это будет очень важно для определения пути нашей страны в новых условиях. Он указал мне на довольно большой ящик, стоявший в углу комнаты. Я долго не мог найти подходящих слов. Не мог я найти и подходящих мыслей. Я пребывал в мире чувств и ощущений. Передо мной сидел старый человек, отдавший жизнь учению, пришедшему из моей страны, и теперь всей душой желающий *научить нас этому учению*. А мы в это самое время мучительно пытаемся *освободиться от всех вариантов этого учения*. И вдобавок в эти годы само имя Троцкого все еще было пугалом, страшнее фашизма.

Никак не складывалась моя миссия порученца в тот день. Ни в ту, ни в другую сторону. Я отказался. Я извинился, я запутался в словах в поисках объяснений, я устал от английского языка, остатки которого покинули меня, я про себя обозвал себя трусом, при этом я прекрасно понимал, что мои отношения с человеком из посольства могут иметь продолжение, и в этом случае ящик на границе привлечет ненужное внимание, я не хотел становиться пропагандистом идей Троцкого, но я испытывал восторженную благодарность к этим людям... В голове стоял туман, губы больше не разлеплялись. Я отказался.

Гости разошлись только к полуночи. Итальянский журналист и я остались ночевать, чтобы утром прямо отсюда ехать в аэропорт. В час ночи Ванесса еще убиралась. А потом (совсем по-московски) позвала нас в кухню выпить еще по рюмке и закусить яичницей с колбасой. Только вот дальше случилась совсем не московская сцена.

Поговорили о прошедшем вечере. Поздравили друг друга с окончанием. И Ванесса предложила... спеть «Интернационал» на трех языках. Мы запели. Вернее, запели они, а я с трудом разжимал губы, вполголоса произносил слова, стараясь уверить себя в реальности происходящего.

В 6.30 утра мы уже катили вместе на машине к аэропорту Hithrow. Ванесса была за рулем. Мы сошли, а она поехала дальше — в Манчестер, где у нее *в этот вечер* была премьера пьесы Ибсена, и она играла в ней главную роль. Потом мне рассказывали, что премьера прошла блестяще. Спектакль этот с ее участием шел в Англии и в других странах с огромным успехом.

Вспоминала ли она о нем в эти два дня ее бурной политической затее? Во всяком случае, только при прощании возле аэропорта она впервые о нем заговорила.

Что же это за фантастическое создание — Ванесса Редгрейв?! Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира, которая живет в весьма скромной квартире и сама жарит ночью яичницу гостям. Борец за чужие права, смело вступающая за обиженных в самых разных уголках мира. Безоглядная восторженная помощница главного троцкиста Англии, а после смерти Джерри Хили сама возглавившая партию. Великая актриса, которая одинаково убедительна на экране и на сцене, в Ибсене и Шекспире, Тенесси Уильямсе и Борисе Васильеве, блистательно превращающаяся в царицу Египта, и в старую одесситку, и в крестную мать мафии. Кто она? Почему эта англичанка так взволнована, когда она говорит о жизни и ужасной гибели российского трибуна и изгнанника? Статьи Троцкого и убийство Троцкого для нее не страницы прошлого, а сегодняшний импульс и боль. Внутреннее напряжение достигает кульминации, к глазам подступают слезы — я сам это видел во время ее доклада на международной конференции... В конце-то концов «что ей Гекуба»? И однако...

Могу только предполагать и осмелюсь свое предположение высказать, потому что волнует меня феномен этой божественно одаренной актрисы. Превыше всех чувств (мне кажется) в ней развито чувство сострадания. Трагическая судьба Льва Давидовича — взлет, смелость, колоссальное влияние, травля, изгнание, преследование, жизнь в осаде, покушения, предательство, подлое убийство — вот источник ее многолетнего сострадания и деятельного поклонения. Страдание — прошлое и настоящее — вызывает ее мгновенную реакцию и побуждает к действию. Мир переполнен страданием, и стоны слышатся из всех углов. Ванесса кидается на помощь. Для стороннего наблюдателя ее порывы могут казаться проявлением непоследовательности: она поддерживает евреев, страдающих от антисемитизма и в России, и в Штатах, а потом спешит на помощь палестинцам, права которых ущемлены Израилем. В одиночку затевает и проводит международные конференции со сбором средств в пользу беженцев, организует митинги, гигантские благотворительные концерты звезд. Сколько же, помилуй Господи, у нее возможностей убежать с этими звездами под ручку в мир балов и цветных обложек, сколько способов на уровне элиты НЕ ЗНАТЬ, что вокруг торчит людское неблагополучие! Как уютно могла бы она баюкать собственный талант, вкушая рай всех видов комфорта! Чего надо ей, это высокой леди?

Политик от сердца. Жертвование деньгами, удобствами, временем, силами. Она спит по три-четыре часа в сутки. Она объявляет свой концерт и при огромной толпе зрителей превращает его в митинг. Она митингует и вдруг среди речей играет отрывки из спектаклей и целые пьесы. Она невероятно рискует, она безоглядна... И в этой безоглядности победа! Талант ее не иссякает. Особым образом относится она к заложенному в ней дару Божьему. Он для нее не сокровище и не товар... А инструмент, которым осуществляет она желаемое ее душой.

Не смею вторгаться в ее внутренний мир, тем более ставить под сомнение ее убеждения, могу только предположить: Троцкий для нее скорее избранный объект религиозного поклонения, чем вождь-идеолог. Для таких атеистов, как она, христианская заповедь деятельной любви к ближнему значит гораздо больше, чем для многих осеменяющих себя крестом и еженедельно выстаивающих церковную службу.

Евангелие наполнено призывами идти против течения. Противостоять злу, жертвовать, отказываться от чего-то во имя постижения истинного смысла Бытия в Боге, воплощенного в Иисусе Христе. Поэтому излишнее богатство, пышность, излишнее многолюдство, когда уже «все-все» вместе, когда буквально «всем миром» празднуют и негодуют, когда человек уже «не в своей полноте», а лишь частичка общей полноты... излишняя огромность храмов, излишнее самодовольство как священников, так и паствы, утверждающих себя, свой обряд как лучший, единственно правильный — только наш к Богу путь правильный, только этими словами, только в этой последовательности — все это противно (так чувствую) евангельскому духу. И дело не в конфессии, ибо грешат этим и католики, и протестанты, и православные. Не людское дело устраивать или даже стремиться устроить всемирный храм единой веры на всей Земле. Это задача для Бога. Для людей это всегда будет причиной раздоров, войн, ненависти... Во всяком случае, причиной отсутствия смирения.

Против течения с ясной целью и открытым сердцем. Против течения — значит, не с большинством.

Восхищаешься, когда встречаешь таких среди «своих». Но вот — удивительное дело! — так живут и проявляют себя и некоторые инославные... и иноверцы... и... богоборцы!.. Может, они только думают, что они атеисты и бого

борцы, сами не понимая, что это Господь их ведет? В конце-то концов что важнее: куда идешь или каким манером стрижен?

Для того ли разночинцы  
Рассохлые топтали сапоги,  
Чтоб я теперь их предал?

О. Мандельштам

Перевернулась коробочка наших убеждений. Общественная мысль отвернулась от борцов, от революционеров и восславилась... охранителей. Причина понятна — пострадались! Но забывают, что пострадались-то как раз не от революционеров, а от их преемников, которые успели стать охранителями, — это так быстро происходит!

Признаюсь, у меня осталось преклонение перед героями моей молодости: Чаадаев, декабристы и Герцен... Белинский, Чернышевский, Герман Лопатин... И другие (о них узнал гораздо позже), в Боге прожившие жизнь и в Боге ушедшие, — о. Павел Флоренский, о. Александр Мень... Они для меня (прости, Господи!) в одном ряду с теми — в ряду борцов, трагически противостоящих течению зла.

Отвлекся. Далеко завели меня ассоциации. Но вот возникают они в связи с этой странной женщиной — действительно великой актрисой нашего времени и действительно борца по зову сердца, обращенного только на благо отвергнутым, на помощь страдающим — Ванессой Редгрейв.

### *Post scriptum*

Джерри Хили скончался в холодный декабрьский день, в тот самый, когда в Москве хоронили Великого... Одинок Идущего Против Течения — Андрея Дмитриевича Сахарова. Ванесса страдала за того и за другого. В Москву и в Лондон пошли телеграммы соболезнования.

А весной участники собраний конференции посетили могилу Джерри Хили. Обнажили головы. Помолчали. И сказали слова. Поклонились. И перешли к могиле Маркса. Здесь, подняв кулаки в упругом жесте согнутых рук, запели «Интернационал». И снова вспыхивали в сознании образы, противоречившие друг другу. Путались мысли о правде и неправде, о «левых» и «правых», о сверкающей нравственной чистоте и о притворстве, которое надевает любые одежды и готово выдавать себя за что угодно.

Как легко вскинуть кулак вместе со всеми. Так же легко, как вместе со всеми перекреститься. Или вместе со всеми... бросить камень в обреченного. Или подписаться под анафемой. Или захлопать в ладоши и встать «в общем порыве». Как легко... особенно если ты по профессии актер и в ролях пробовал уже совершать все эти действия.

Но я не смог поднять кулак со всеми... и не смог решиться перекреститься в этот момент... И не мог решить, прав ли я или правы они... или все, кроме них, или... нас...

Я просто стоял, опустив руки по швам и чувствовал, как неласковым ветром проносятся мимо путаница и мука... и надежда... моего XX века.

### *Post post scriptum*

В 93-м году некоторое время я играл в труппе Национального театра в Брюсселе. Готовилась постановка изысканной и довольно занятой пьесы Фернана Кроммелинка «Les Amants Puerils», что можно перевести как «Незрелые любовники».

Обстановка перед премьерой сложилась нервная. Наша героиня — известная довольно пожилая французская актриса, назовем ее Мишель N., репетировавшая превосходно, вдруг впала в меланхолию. Замкнулась, появилась неумеренная раздражительность, стала злоупотреблять красным вином. На генеральной репетиции с публикой, уже в первом акте я почувствовал, что она на грани срыва. В антракте я постучал к ней в гримерную. Она не откликнулась. Дверь была заперта. Антракт затягивался. Пришел за кулисы режиссер М. Лейзер. Снова стучали в дверь. Не открывая дверь, Мишель сказала, что играть больше не будет. Режиссер вышел к публике и извинился. Приехали врачи, приехал муж Мишель. Ее увезли от нас. Навсегда. У меня осталась добрая память о ней и... маленькая извинительная записочка (без объяснения причин). Спектакли первой недели были отменены. Из Парижа была приглашена другая актриса — Клэр Вотьон, за неделю она вошла в роль, и мы начали играть. Ежедневно.

В атмосфере спектакля, однако, осталась некоторая нервность. Поэтому, наверное, я столь обостренно среагировал на то, что случилось однажды в антракте... В моей гримерной под настольным зеркалом лежала записка, принесенная из зала. По-русски. Вот что было в записке:

«Уважаемый господин Юрский!

Когда-то мы жили с Вами в одном городе. И так случилось, что я знал Вас довольно близко. Короче, я был чином в известном Вам учреждении и был поставлен за Вами следить.

Сейчас другое время. Я давно живу здесь, в Бельгии, и вот зашел на Вас поглядеть.

Не знаю, захотите ли Вы увидеть меня, но было бы интересно потолковать. Вы могли бы кое-что новое узнать о себе и о своих знакомых».

Без подписи.

Я играл второй акт, а в голове гвоздем торчала одна мысль: кто же это сидит в зрительном зале и смотрит сейчас на меня? Неужели тот товарищ Чехонин? А если не он, то кто? Тот, кто вызывал на постоянные «дружеские встречи» в секретный номер «Европейской» гостиницы одного моего друга? Тот, кто звонил по моему поводу Товстоногову и говорил: «Не рекомендуем, мы потом все объясним»?

Ходил я по сцене в гриме полубезумного барона Казу и поглядывал в зал. ГДЕ ЖЕ ЭТО ОН ТАМ среди молодых очкариков и благопристойных бельгийских старушек? И надо же так всему перевернуться, чтобы бывшие гэбисты, ловцы душ, преспокойно жили в натовской берлоге среди сверкающего капитализма и ходили в театр поглядеть Кроммелинка на французском языке! Какая же могучая непотопляемость! Как они живучи и как приспособляются к любым изменениям этого разнообразного мира!

«Кто принес записку?» — спросил я дежурную.

«Передали из буфета».

Финал. Поклоны. В зале зажегся свет. Вглядываюсь в лица аплодирующих. Поди разбери — их же много. Переодеваюсь у себя в гримерной и все не могу принять решение. Переоделся, посидел, выкурил сигарету... и пошел в буфет.

У них там буфет общий — для зрителей и для актеров. Актерам скидка 50 процентов. А зрители имеют возможность, попивая вино и пиво, поглядывать «на живых актеров», которые только что на сцене... ну и так далее... Людей это привлекает. Можно и познакомиться. И вот сидят — человек двадцать в разных углах. А МОЙ где же? Ушел? Ну и черт с ним, так лучше.

Сзади руки легли на мои плечи: «Ну так что, пообщаемся, Сергей Юрьевич?»

Обернулся — Адольф Шапиро, старинный мой товарищ, в прошлом худрук замечательного Рижского ТЮЗа, теперь знаменитый свободный режиссер.



РОЗЫГРЫШ! Да, оказался розыгрыш!

Я разозлился на Адольфа. Глупо! Глупо и грубо!

«Ну да? А ведь, похоже, клюнул же, поверил?»

«Поверил! Именно потому, что неостроумно, грубо, прямолинейно... Потому и поверил!»

Адольф даже удивился, что я так нервничаю из-за пустяков. Это же он для смеха! А вот мне не смешно!

Я напомнил ему, как в советское время провожали мы с ним в Риге поезд на Москву. Уезжала труппа нашего театра, а я еще оставался. Провожали весело, были слегка навеселе, а пожалуй, что и не слегка. По давней традиции не только руками махали, но и бежали вместе с поездом, а потом дождались последнего вагона, плюнули под последнее колесо и глянули на три удаляющихся красных огня. Тут меня под руки взяли двое в форме, а третий — в штатском — в угрожающей тональности потребовал двигаться за ним. Оказалось, последним к поезду был прицеплен... правительственный вагон, и мой плевок расценен как политическое хулиганство. Мы пытались объяснить, свести к шутке. Но вдруг остро запахло совсем не шуткой. Меня забирали. Выручил Адольф — он перешел на латышский язык и на крик, стали останавливаться люди. И вот уже целая толпа.

«Помнишь, Адольф, как это было? Не шуткой пахло, и ты понимал это лучше моего».

«Помню. Так времена-то какие! А теперь-то...»

А теперь... мы посидели в кафе на бульваре Анспах. Адольф сказал, что он здесь на пару дней — на театральной конференции. Простились. И уже было весело — все-таки тон записки он убедительный нашел.

Я шел к себе в гостиницу и вглядывался в лица прохожих. А вообще-то могла быть и такая встреча. Люди-то живы... большей частью... живы... И мой... тот... и десятки, сотни, которые бессменно пасли Солженицына, сидели в машинах, на крышах... И еще сотни, тысячи, ведь мощная машина-то была... Распалась на части, на частички, но частички-то живы... вся страна, чуть ли не полмира, была тогда в их руках... Такое не забывается. Теперь, конечно, свобода... Но ведь и им стало посвободнее, вон как мир открылся... Вот, вот знакомое лицо... Ей-богу, вот этого человека я... или показалось?

Тянутся, тянутся ниточки из прошлого, путаются, переплетаются... завязываются напрямую с ниточками наших нервов.

Все мы из такой большой страны... из такой большой истории... Хорошо бы один раз подробно-подробно все вспомнить, представить ярко — и забыть! Раз и навсегда! Вздохнуть полной грудью... Эх, не получается!.. Курить надо меньше. Да и воздух какой-то... сырой... колючий.



## Два рассказа

### *НЮСЯ И МИЛЬТОН АРТЕМ*

Например, сидит Нюся на вокзале. Пока она не вошла в зал, все смотрели мимо друг друга, щадя свои силы для сельскохозяйственных работ. Когда Нюся появилась — причем она до этого видела яблоневоцветы на асфальте и по ним восстановила ход свадьбы, которая здесь текла час назад, — все поняли, для чего они занимаются дачными работами: чтобы не умереть и вечно видеть таких девушек, словно выходящих из сияющих раковин.

В зале примерно сорок человек, из них большинство — женщины. Нежный мужской пол исчезает под радиацией жизни. Нюся спешит пересчитать мужчин, которые в наличии. Оказывается, здесь их пятнадцать. Из них большинство пожилые, старше тридцати — они сами собой перестают замечаться, сереют, выцветают и уходят в ненаблюдаемую часть. Осталось четыре молодых. Один сразу скрылся за валом обручального кольца. Другого отмечаем за ухабы на лице, хоть он и не виноват. Оставшиеся два — это просто Буриданов осел. Нюся чуть ли не с болью принимает волевое решение: отбрасывает мужественного красавца почти с печатью мудреца плюс будущего надежного главу многочисленной семьи. Ладно, говорит она мысленно, пусть его возьмет кто-нибудь другой, другая. А того, которого Нюся выбрала, она начала облучать сильным сигнальным взглядом, дающим знать, что она уже здесь, вся жизнь сложилась для того, чтобы вот сейчас... Но тут к избранному подошла какая-то с челюстью, и он, дрожа, наклонился над ней, будто она — с челюстью — что-то единственное на свете, будто Нюси вообще на свете никогда не будет. Нюся спохватилась искать того домовитого красавца, но он уже протискивался к выходу. Может, тоже поедет в Жабрии вместе с ней? Но он, проходя мимо, слегка споткнулся и матом прокомментировал свою неуклюжесть. Не нужен! Свободен!

В вагоне электрички Нюся опять за свое. Сидит примерно сотня, как всегда — большинство женщины. Сестры по жизни... И так каждый раз, всякую секунду, ежедневно. А Лена еще в девятом классе ей сказала, что у нее этот выбор и поиск совсем по-другому идет. Брожу-брожу, она говорит, по городу, естественно, никого не считаю... Раз! Вижу лицо! И тут уповаю на судьбу! Если он уплывет за угол, значит, не мой... А Оле в десятом классе мама внушила: «Если хочешь, чтобы прилетели скворцы, нужно построить скворечник». И Оля каждое утро полчаса строила перед зеркалом свое лицо: закладывала фундамент в виде тонального крема... нет, сначала котлован (шел в дело скраб). Два вида пудры и три вида теней она накладывала по схеме, приведенной в книге «Красивая навсегда».

После окончания школы Нюся пыталась поступить в Институт культуры, чтобы потом быть дизайнером, но в результате в начале сентября уже стояла у ЦУМа и торговала цветами. Через час ей казалось, что прошел день. Оценка всех прохожих (ходячие кошельки) растягивает время неимоверно! Вдруг к обеду она поняла, что уже не ищет никого каждую минуту, как было раньше. Нюся исколола все пальцы розами. А учебник ботаники меланхолически повествовал ей в свое время: «Роза обладает острыми выростами эпидермиса». Для Нюси

каждый учебник был каким-то немощным старичком предельного возраста, и она, бывало, посреди зубрежки говорила ему: «Держись, друг! Мы с тобой вместе доковыляем до конца этого ужасного сказания». А Лена говорила, что учебники разговаривают с нею бодрым голосом Дроздова, ведущего телепередачи «В мире животных». А Оля уверяла, что автор учебника, падла, захлебывается скороговоркой, как будто он работает ди-джемем на радио «Максимум»...

На каждый шип розы Нюся смотрела с тревогой, как однажды — на своего одноклассника Тимку, который кинул в рот лезвие безопасной бритвы и моточек ниток, после этого он с хрустом все жевал, а когда стал доставать, то на нитке оказались кусочки лезвия, как бусы нанизаны...

Подошел молодой милиционер, представился: «Артем», — и улыбнулся так, что Нюсе показалось — его уголки рта сейчас с треском встретятся на затылке. Так улыбался еще учитель истории, который только недавно окончил университет и на котором старшеклассницы шлифовали свои первые приемы кокетства. Он говорил то, чего нельзя встретить в учебнике истории: «Древние греки были настолько умны, что не изобрели атомную бомбу!»

У Артема, мильтона, по рельефу щеки сбежал шрам, уходил почти внутрь.

— Мне этот шрам один чеченский боевик подарил, — бросил Артем.

— Дружба народов, — печально сказала Нюся.

И в эту секунду их осенило чувство совместимости: как будто не встретились, а никогда и не расставались.

— Я хотела поступить в институт... чувствую, что Бог в меня что-то вложил, но...

— Кстати, о Боге. У нас есть милиционер на работе, кришнаит, он повесил над умывальником мантру, а ниже плакат — вырезал буквы из газеты: «Мойте за собой посуду!»

Слова Нюси и Артема были первыми попавшимися, темы тоже, но оба они считывали с лиц друг друга неслучайность этой встречи. Нюся не поступила в институт и пошатнулась внутри себя, а сейчас вот наконец поняла, что выпрямляется там, внутри, словно мысленно опершись на локоть Артема...

Запищала рация, заскребла по барабанной перепонке:

— Артем, в ЦУМе задержание, зайди к Савченке!

— Нюся, я пошел, а ты смотри — Фамилия не выбери, он скупец, а вот этот, с духами, Муханов, философ, преподает в пед... Я скоро приду!

Фамиль и Муханов — два молодых хозяина двух соседних палаток (фруктовой и парфюмерной). Фамиль был лыс, но глазел на Нюсю так, словно не понимал, что лысые составляют второй эшелон, страховый, — за них выходят тогда, когда разбился первый брак. Философ Муханов пересчитывал коробки с духами и говорил:

— Любовь — это восторги жизни перед бездной... Там, в этой точке, осознаешь, как схлестнулись жизнь и смерть... Да вы, дорогая, — это он своей продавщице, — внимательнее записывайте все, что продали!..

Отец Нюси вечером скажет, что он лично встречал в Перми уже трех философов с практической жилкой — все они имеют свои киоски и продавщиц!.. И все они порядочные люди, а это очень много, это почти все, добавил отец. Но Нюся уже выбрала Артема, хотя в этот же первый вечер Муханов ей звонил, советовал подержать руки в содовом растворе. А утром с ироничной улыбкой якобы рассказывал Артему: «Нюсе звоню — весь трясусь, голос в трубку не заходит...» На лице Муханова было написано примерно следующее: «Соломон премудрый говорил: бабочка иногда пролетает мимо цветка и садится на дерьмо — утешения нет...» При этом он не забывал делать замечания своей продавщице: «Да вы считайте внимательнее!»

Дня через три Муханов сказал так: «У человека есть выбор, отчего ему надорваться», — и у Нюси завяли самые крупные розы, а может, они завяли часом ранее, просто она заметила сейчас. Хозяин (его звали Наби) задешево брал все цветы и почти не огорчался, когда попадалась партия, почти тут же жухнущая, а Нюся почему-то расстраивалась. Еще Нюся чуть не поссорилась с Валентиной,

торговавшей духами у Муханова. Эта Валентина окончила филфак и говорила: «Я, право, не знаю, может, вы купите эти?» Про Артема она выражалась пренебрежительно:

— Мой брат тоже из Чечни пришел, но ни он сам, ни его товарищи, там воевавшие, ни-ког-да не говорят про бои! Все они молчат. И все раненые тоже! Один даже часть печени потерял... Это очень тяжелое ранение!

Нюся защищала своего мильтона: люди ведь разные, одним легче молчать и забыть, Артему легче выговориться... Он не может в себе консервировать эту бойню.

И Валентина тут же уткнулась в кроссворд, а вскоре спросила:

— Славянский самурай из пяти букв?

— Казак? — предположила Нюся.

— Точно! Второе «а».

И так через день Валентина критиковала Артема — не мог он коньяк из Грозного привезти (они его выпили еще там, коньяк, через месяц после того, как разбомбили завод коньячный). Нюся тут же объявляла Валентине войну: округжала, разбивала и с победой возвращалась за свой прилавок. Коньяк Артем привез, потому что спрятал в одном подвале канистру! Ну, возражала Валентина, его с ранением отправили в Москву, если не врет, как же он мог захватить эту канистру-то?! А очень просто: на другой день друг Артема, знающий про подвал, захватил...

В общем, в ноябре Нюся сказала родителям, что вскоре приведет Артема и надо перед сим покрасить заново дверь в кухню.

— Надо Ленина убрать из туалета,— сказал отец.

Огромный Ленин висел там с весны, чтоб холст разгладилась (Нюся собиралась на нем писать — поверх, но не поступила). Отец Нюси уверял, что со временем это будет антиквариат, чуть ли не в цене Рафаэля, внукам наследство. Нюся хорошо понимала юмор: «Ты считаешь, надо убрать Ленина, чтобы Артем не женился на мне по расчету?»

Вокруг ЦУМа легал смоговый дракон, но любовь была, как фильтр, она прокачивала все, поэтому для Нюси и Артема деревья казались зелеными, как будто только что они вернулись из леса, где гостили у своих родственников, и облака были белыми, чтобы их, влюбленных, не огорчать. На самом же деле в этих облаках были примеси соляной и серной кислот.

— Мы купим этот ЦУМ.— Артем сделал обнимающий жест к витрине, вдаль, или это был загребающий жест.

— Как купим? — Нюся вздрогнула, и витрину начало затягивать чем-то таким, словно она опустила веки (на самом деле солнце выбежало к окнам и слепо отразилось в стеклах).

— Ну, летом следующего года я поступлю в Высшую школу милиции и через десять лет буду главой МВД области! Генералом.

— Да, мой генерал?

Даже без увлечения, твердо, ясным обеспеченным голосом Артем продолжил:

— Этот пятиэтажный дом мы купим тоже, в нем будем жить. А этот, соседний, купим для детей. И их гувернеров...

«Тяжело»,— подумала Нюся.

— А скоро повезу тебя на рыбалку. Место такое знаю, — Артем чувствовал, что почему-то ЦУМ не прошел,— там рыба до того нетерпеливая! Подойдешь с крючком в руках, а она высигивает аж — хочет насадиться! В лодке плывешь, только от берега отчалил — тебя по щуче с каждой стороны конвоируют, высматривают, нет ли крючка, чтоб насадиться...

Нюся покрылась невидимым миру цементом. Он все понял. Значит, рыбы тоже не прошли. Щуки на него грустно посмотрели: «Извини, не удалось тебе помочь»,— и уплыли вдаль по Советской улице, пожимая плавниками.

Процесс создания миров завораживал Артема: факты и сведения в виде бревен в голове лежат, грудой, а так — в процессе выдумывания — бревна вос-

стают и складываются в дома, в каждом кто-то живет, и жизнь этого кого-то начинает зависеть от тебя, от того, что ты выдумашь...

— Боже мой, Нюся, да о какой рыбалке я говорю?! Думаешь, для чего я все это несу? Да чтобы забыть... У меня же все руки в крови! По локоть в крови, да. После Чечни.

— Ты же выполнял приказ...

— Да, конечно, я выполнял приказ... Но почему я не успокаиваюсь?

Тут бы ему замолчать, однако, как у всякого творческого человека, у Артема не было чувства меры. И он сказал блаженно мягким ртом:

— Уеду в Югославию. Там всем по дому дают, кто за них повоевал! А меня будешь ждать?

Тут Нюся повернулась и пошла, пытаясь что-то думать, но в голове после слов Артема не осталось ни одного думающего уголка. Такое свойство имеют речи фантазеров: они гипнотизируют слегка. Отец Нюси говорил, что под воздействием ТВ фантазеров больше стало.

Ну что такое, думал Артем, почему они все меня так не любят? Ведь я же лишь одну из ста мечт рассказываю, а то бы вообще меня в милицию не взяли... Эх, перейти бы в частную охрану! Но там... памперсы надо на свои деньги покупать, в туалет не отлучишься. И все время нужно тренироваться, Нюся тогда другому достанется, а без нее я не могу жить. Проплыли строки из пособия: «Если по вам открыли стрельбу из автоматического оружия, то не думайте, что вы обречены. Реактивные силы, возникающие в дуле, отклоняют автомат вверх и вправо, значит, вы должны начать кувырок влево и вниз...»

Нюся перешла на Центральный рынок и не вспоминала об Артеме до той минуты, пока снова не увидела его. Это был уже не любящий взгляд, а лишь физический, она его разглядывала, как предмет. Артем пытался сказать ей то и се, но видел, что все бесполезно, она от него отчаливает. Ненадежный причал. А хотел казаться надежным причалом, а может, где-то даже и портом.

После Нюся встретила Валентину, ну, которая говорила: «Я, право, не знаю», и она с усмешкой передавала: мол, Артем говорит, что Нюся, наверное, пожалела о нем, ведь его родители фирму открыли, ему за руководство охранной платят по три тыщи баксов. Но Нюся поступила в то лето в институт, и случайно имя Артема всплыло в ее жизни лишь через три года, когда она праздновала Новый год в одной компании, где было несколько милиционеров. Нюся сразу начала прикидывать, делить на неравные части, отсеивать, в конце остался скромный отряд из трех человек. Тут она спохватилась: она же три дня назад вышла замуж! И пора уже отвыкать от постоянного перебора кандидатур, от этой трудной исследовательской работы. Уже ведь не нужно... Тем более что муж — следователь. И тут вдруг муж посмотрел на нее взглядом профессиональным, как будто послал ей повестку взглядом: мол, дорогая жена, завтра утром в девять ноль-ноль приглашаю на беседу в кухню (подпись, печать). Но Нюся тут же так помяла его локоть: я только с тобой, одним тобой, ты мой единственный Эркюль Пуаро! Ну он тогда это... повестку отозвал.

— Артем сказал, что у его невесты платье будет за четыре тысячи баксов, ну и весь ЦУМ высыпал посмотреть, но никакого платья вообще не было — так, костюм из голубой шерсти, что ли... А еще он обещал нам ящик водки из «Пермалко», неделю напоминали, расщедрился — купил в ларьке одну бутылку на всех. Бодяжки.

Все смеялись. Нюся решила справедливости ради заступиться за Артема:

— Слушайте, все-таки он ранен в Чечне, можно понять!

— В какой Чечне? Он со мной в Бершети служил, тут, близко...

— А шрам откуда? — Нюся растерянно замерла.

— Шрам? С детства у него этот шрам, Чечня тут ни при чем. Я же в параллельном классе учился с Артемом.

Через неделю Нюся стояла на остановке и ждала троллейбус. Мимо прошел Артем с беременной женой, которая еще долго оглядывалась на Нюсю. В ее широко открытых глазах ужас был смешан с любопытством. Что же Артем

сказал ей такое замечательное про нее, Нюсю? Скорее всего история вот такая: я обещала выйти за него замуж, если он даст десять тысяч баксов на открытие своего дела. А потом... и замуж не вышла, и деньги тю-тю. Не вернула баксы! Да мало этого — еще хотела крышу свою на Артема натравить, но не на того напала!

Нюся увидела облако с человеческим лицом: медленно открылся рот, глаз поплыл на затылок, а клочки седины с головы стали течь в сторону Камы.

### СЛУЧАЙ НА РАДОНИЦУ

Почему Светлана (Фотина) решила, что он наводчик? А стоял он на их лестничной площадке и читал газету с таким видом, словно ему за это потом заплатят. Ну что вот я грешу — подзреваю, конечно, ему заплатят: разговорами, улыбками, а то и ночью любви вознаградят потом... за зябкое ожидание утром. Но как его любить, если Светлана (Фотина) уже через минуту его не могла вспомнить, как мечтать об этом лице цвета серого крахмала!

Надо было раньше отсечь эти мысли, с досадой подумала она, а то спохватилась, когда церковная ограда уже под носом. Боковым зрением она поймала надпись на доме через дорогу, что-то похожее на стихи. Она повернулась: «Не смогли юнкерсы — победили сникерсы». Наверное, это тот самый, у которого борода словно под напором лезет, опять закусил почвеннические удила... И он тут как тут — в церковной ограде стоит с бородой дыбом и раздает свои очередные листки. Он ей мягко улыбнулся как старой знакомой, вручая стихи:

Честная Сербия —  
твердости край.  
Верность до смерти —  
лестница в рай...

(И так обе стороны исписаны густо, впритирку.)

Поэт кланялся всем входящим, и две колонны взгляда выдавливались из его глазниц. Светлана (Фотина) назвала бы этот почерк астматическим из-за крохотных промежутков внутри слов. Светлана (Фотина) была химик, доцент, и она быстро для объективности нарисовала другую картину: в некоей мечети стоит горячий горбоносый мусульманин и с болью призывает биться за косоваров против сербов. Искре Даниловне эти стихи покажу! Она сама проблем никогда не решает, но так неожиданно что-нибудь скажет, что твоя позиция выскочит сама собой, а потом твердеет и кристаллизуется.

Вот вчера Искра говорит: «При коммунистах я была молодая, а при демократах мы постарели, что хотят — то и делают». При этом она с ожиданием глядит за окно с пятого этажа, словно там собрались массы, которые на полном серьезе так думают. Но это не означало, что она, Искра, за демократов готова сложить свою единственную голову. У Искры Даниловны были два ордена: Красного Знамени и Красной Звезды, на Невской Дубровке ее и ранило, в общем, пенсии ветерана ей хватало. Но, чтоб купить новый телевизор, когда лопнул от старости «Горизонт» и осколки просвистели мимо чашки с чаем, она попросила взаймы у сына. Хорошо, что рискнула родить во время войны. Она часто со смехом рассказывала, как кормила Аркадия грудью в землянке, а муж, командир танкового дивизиона, крепко в это время спал. Форточка была на уровне с землей почти, и у них хватило ума вывесить наружу гуся, которого ординарец раздобыл для кормящей матери. И вот она кормит, видит: остановились плохо начищенные сапоги, мелькнула рука, и все исчезло вместе с гусем. Она жалобно закричала: «Петя! Петя!» Он продолжал спать, но командирским голосом крикнул: «Стоять!» А потом ее укорял: «Ты че — жена военного и не понимаешь? Не “Петя, Петя”, а “Тревога! В ружье!»» Потом Искра всю жизнь проработала на заводе и вдруг однажды видит: главный инженер в шесть часов утра идет и, оглядываясь, бутылки собирает. Бывший, конечно, главный инженер, а ныне — пенсионер...

Когда Светлана (Фотина) после развода и размена квартиры переехала в этот дом, ее долго не считали своей. Ведь она из центра приехала! Искра Даниловна, приглашая ее по-соседски на Пасху или День Победы, говорила: «А у нас, у мотовилихинских, уже все накрыто, у нас, у мотовилихинских, всегда так!»

Эти все застолья у Искры Даниловны были испытанием для Светланы (Фотины), потому что там всегда немного подсмеивались над ее выписыванием всех журналов, устремленностью в мир романов или там югославских примитивистов. (Тут нужна реплика в сторону: тем, кто любил этих югославских самобытных гениев — Генералич-старший, младший, Рабузин! — не так-то уж просто было выносить войну в Югославию.) Да и как было не подсмеиваться, если после одного бокала шампанского она могла заявить, что Толстого ставит сразу после Стругацких.

— Которого из Толстых? — спрашивала Искра Даниловна.

— И как ставишь? — прикидывался более пьяным Петр Алексеевич.

Кстати, он так танцевал степ, что ноги, как резиновые шланги, забрасывались одна на другую. Всю жизнь до смерти почти участвовал в художественной самодеятельности (чечеточник). Еще он был кулинар: фаршировал яйца, помидоры, чуть ли не виноград. Как герой Возрождения, говорила Искра. А что, Возрождение — хорошее, что ли, было время, возражала Светлана (Фотина), травили друг друга, как при Сталине, один клан Борджиа чего стоит...

Искра Даниловна переводила срочно разговор:

— А что будет, если в России будут и духовность, и деньги?

— Вывернется как-нибудь.

— Вот за это надо выпить. — И Петр Алексеевич поспорил с женой, что выпьет вино, не коснувшись рюмки руками (не будем описывать сложную механику, как рюмка ставилась на тарелку и пр.).

Подойдя к своему подъезду, она, Светлана, набрала на цифровом замке триста четырнадцать. Когда ставили дверь, все в подъезде, оказалось, помнили значение числа пи (три целых, четырнадцать сотых). Так родился их секретный код. Страшно секретный. Понятно, почему наводчики легко проникают. И вдруг веселье слетело с нее — наводчик все еще стоял на площадке в полутьме и читал уже неизвестно какую по счету газету, а может, ту же самую. Вокруг него слоями вырос неподвижный запах, который молодежь называет конкретным. Если конкретизировать все-таки, то это будет какой-то газовый сплав перегной зубов, спиртового распада и измученных многодневной эксплуатацией носков. От мусорки изредка так пахнет, а от нестираных носков всегда, потому что на ногах находятся особые железы, которые конкретным ароматом помогали первобытному человеку находить свое племя.

Светлана вошла к Искре с просфорой и с порога предупредила:

— Там стоит ведь... маргинал! На нашей площадке... маргинал...

— Кромешник, — перевела Искра Даниловна. — Пойдем к Инне Валентиновне, посоветуемся. Она в торговле двадцать лет, понимает...

Они вышли, прошли сквозь сферы конкретного запаха, которые собственную замкнутую вселенную строили здесь. Все рассказали Инне Валентиновне. И она посоветовала: не нужно сегодня ездить на могилки — ТАМ поймут, родные ведь, они не хотят, чтобы вас обокрали. И она оборвала свою речь, а тишина вместо нее многозначительно сказала: «Вы грамотные — думайте».

— А я к Пете пойду! — сказала Искра.

— И я к маме пойду, — добавила Светлана (Фотина). — Есть побогаче нас на площадке...

Они имели в виду немаленькую железную дверь в стене, которая по утрам всех будила, с грохотом захлопываясь и выпуская пальцекрута, которого они знали с детства (еще пять лет назад звали Максей). Он разбогател, женившись на дочери нового русского, но по любви.

Ведь целый год копились легкие слезы, чтобы в Радоницу их можно было донести до могилы родной! И они отправились: Светлана — на Южное, а Искра — на Северное кладбище.

Кажется, что везде можно общаться с умершими родными, но... именно в Родительский день Светлана (Фотина) ощущала, что на Южном радость от воспоминаний жизни с родителями в воздухе разлита. И даже если не было хороших у тебя родителей, чужое утешение проливается на тебя (для чего и ездит все разом).

Светлана поспешила вернуться к трем часам: должен был позвонить ее дипломник и отчитаться, как прошел эксперимент с комплексонами. Дипломник не позвонил, но она даже обрадовалась: ощущение от разговора на кладбище с матерью — долгого и доброго — стремительно, как провод, вилось за нею в автобусе (с того места, где лежала могильная плита, до кухни, где Светлана сейчас ставит белоснежный «Тефаль» на его электрический пьедестал). «Видишь, мама, — говорила она, — хороший чайник я купила, только энергии трескает много — нисколько о нас этот “Тефаль” не думает...»

— Света! Света!

Светлана бросилась к соседке, оставляя клочки эмоций на углах мебели. А дело было вот в чем: Искра увидела, что дверь взломана, «Шарпа» нет, шифоньер разинут настежь. В голове у Искры просто трезвон: вот-вот, сейчас покажутся милые предметы из своих пряталок — немного подшутили, и ладно. Замелькали контуры телевизора туманом в пустом углу, а в открытом шкафу, кажется, самоцветный ворох мелькнул из полупрозрачных одежд. Но сил у Искры не хватало наполнить эти объемы твердыми атомами и вернуть к жизни утраченные предметы. И она надорвалась, зарыдала и заголосила: «Света, Света!»

— ...мяса пять килограмм! — Искра бросилась к холодильнику — пусто.

Когда Светлана вошла, она так и стояла, держа отвисшую заиндевевшую челюсть пустого морозильника.

...В перерыве между двумя нашествиями горя они вызвали оперативника. Он прорысил на середину комнаты. Обычно у людей в глазах такие точки блестящие стоят, а у него от быстрых движений зигзаги световые, зазубрины!.. Он выпускал световые колючки в Светлану, слушая ее подробный рассказ, где что стояло и как выглядело.

— ...а на телевизоре диагональная царапина.

Она поймала его подозрительный взгляд: не ты ли наводчица, слишком уж хорошо все знаешь!

Она сразу легкую испарину почувствовала на лбу.

— Мы обе видели наводчика — читал на площадке газету целых пять часов! Или четыре.

— Или три, — с сомнением добавила Искра.

Он горько на них посмотрел: «Бабье, дуры».

— Как выглядел наводчик? Портрет! Портрет давайте.

— То горбился, то прямой... Усы такие... Читал газету. На площадке стоял.

— Какие усы: пегие, рыжие, белокурые, черные?

— Обычные усы.

— Вы кем работаете?

— Я доцент университета.

Оперативник сказал обреченным голосом: «Понятно». Видно, что в его жизни было много доцентов-свидетелей и толку от них никакого. Научные работники углублены в свои мысли, бескрайние научные просторы, а внешний мир они рассматривают как приложение к вечным законам.

— Вы его найдете, вора? — спросила Искра детским голосом.— Да?

— Не знаю, не знаю, ничего не обещаю! — отрезал оперативник.

— Это надо же: в Радоницу воровать идти! Грех-то какой! Бог его накажет! Ведь что есть более святое... чем пойти на родную могилу... в Родительский день! А они в это самое время людей грабят! Нет, Бог обязательно накажет его! Их! — Светлана бормотала это бесконечно.— Бог накажет за такое!

— Ничего не обещаю, — твердил свое оперативник.— Мало людей у нас. Не хватает средств. Подпишитесь, свидетельница. Вас как зовут?

— По паспорту я Светлана, но в святцах нет этого имени. Так что я Фотина. Однокоренные слова: фотография, фотон, фосфор...



— Хватит! — взмолился оперативник.

— Вот какие у него были усы: псевдоницшеанские.

— Вот этого не надо! — Он выставил руку защитным движением. — У вас есть телефон, Искра Даниловна?

— Телефон у меня, — ответила Светлана.

Он вяло записал номер.

— Вот увидите: они попадутся, Бог их накажет — в такой день воровать! — Светлана смотрела, как следователь пальцем чертил на лбу какие-то мучительные круги, как бы ловил мысль, которая уходила от него, а если б не уходила, то помогла бы сдвинуть с места это тухлое дело.

— Мы сразу поняли, что он тут не зря стоит, что наводчик! — кричали они ему вдоль лестницы — вслед.

— Портрет, портрет дайте! Я позвоню вечером! — Он словно в два прыжка исчез.

Вечером он не позвонил. Светлана, как и все в подъезде, думала: ограбление — как ползучая заразная болезнь. Завтра это может случиться с каждым, но не дай Бог!

Драма в том, что добро и зло в чистом виде не существуют. Украли злые у добрых? Однако если Господь допустил это, то за что-то... Слова все какие-то примитивные, думала Светлана, но там, где пытаешься дойти до глубины смыслов, сложные слова не нужны. Там, где глубина, там и литература кончается, там начинается вера.

Ну почему вот этот грабеж совпал с Родительским днем? Если бы в другой день ограбили, то понятно — в назидание за что-то... А тут как все понять? Господи, дай мне знать во сне, где же смысл!

Она сначала услышала звонок телефона, а потом уже поняла, что задремала. Звук будто ударил по всему телу снаружи и изнутри. Она — крупно дрожа — сняла трубку.

— А Бог-то нашелся! — ликующим голосом сказал следователь.

— Как нашелся? Он всегда был, есть и будет.

— То есть это... телевизор нашелся! Идите к пострадавшей и скажите.

Светлана протерла глаза, вызвав под веками каскад картин в стиле Хуана Миро.

А следователь веско продолжал:

— Я ведь сразу обещал, что приложу все усилия, чтобы найти вора!

Что-то было не то в его словах. Она притянула к себе из прошлого кусочек Родительского дня, и усталый осыпавшийся голос оперативника повторил: «Не знаю, не знаю, ничего не обещаю... не хватает людей».

Сейчас голос у оперативника был другой: казалось, что сама телефонная трубка улыбается.

— Завтра в пять часов привезем телевизор и артиста... для следственного эксперимента. Вы будете дома?.. Они продавали без документов «Шарп»...

Искра Даниловна первое, что сказала, сомневающимся тоном:

— Наверное, уже что-то там не работает — такой «Шарп» хороший-то был... — Но наткнулась на Светланин удивленный взгляд и зачастила: — Не врет ведь Маринина — на самом деле оперативники ночами работают, убиваются, ловят... А мясо-то? Мясо не нашли?

Светлана собрала на лбу удивленную гармошку...

Вор вздрагивал, потел и пойкивал от каждой вспышки фотоаппарата. Он походил на того, кто стоял на площадке, но был в два раза меньше. А усы были большие, неопрятные, словно они приобрели собственный разум и выбросили в разные стороны длинные волосины как органы чувств. Пришло пять мужиков: вор, участковый, оперативник, конвоир и фотограф. Из них трое были с усами. Значит, сейчас, чтобы раствориться в толпе, надо носить усы.

Этот небольшой взломщик переходил с места на место и показывал:

— Вот так открыл дверь, выломал замок, вот так прошел, этак взял, сюда упаковал...— И все его жесты на ломти резались белесым сварочным сиянием фотовспышек, которые смутно предупреждали о других, более серьезных проявлениях Высшего гнева.

Оперативник в это время говорил на кухне Светлане, кипуче улыбаясь:

— Вчера вы на меня произвели... большое впечатление! — И зигзаги в его глазах округлялись, оплывали.

А ей такого не говорили уже девять лет, три месяца и несколько дней (не было времени сейчас сосчитать точно!).

В голове у нее все приятно смешалось: какой уж тут подсчет дней и часов... Сохраняя на лице привычное выражение преподавателя, она рывками думала: «Серьезного ничего не будет, но хотя бы я знаю, что на меня стойку делают еще... И глаза у него стоящие, и плечи плотные, но вот складки на лице... очень уж семейные!»

Он коснулся ее руки непривычным движением, гребущим. Казалось: вот-вот последует болевой захват. Это еще больше ее растрогало. Ну насколько эти мужики беспокойны, подумала она с одобрением, почти готовая сдаться. Глаза его горели неслужебно, он весь был стремление к одной ему известной цели.

И тут он сказал:

— Напишите благодарность от всего подъезда, мне это поможет...

Она-то думала, что тут дело такое простое и древнее: мужчина и женщина. А оказалось все сложнее и новее: современный мужик говорит комплименты, чтобы добиться благодарности от начальства и благ для семьи (премия и пр.). Света думала: она — цель для него, а оказалось — средство... для... Но! «Вот возьму да и откажусь написать благодарность,— подумала она.— Не получит он премии! А вдруг от злобы возьмет у мафии взятку? Спасу я его лучше от этого! Я его спасаю сейчас». И она чуть ли не стала привычно искать глазами горящую избу, куда бы войти... Села писать: «Очень благодарны мы все, жильцы...»

— Вы не то пишете, я продиктую! — поспешно сказал оперативник.— «Начальнику Мотовилихинского райотдела милиции города Перми... Просим вынести благодарность опергруппе вверенного вам подразделения...»

С лица его сошли все остатки комплиментарности, а на пустое место пролилась служебная радость.

А уже в июле 1999-го они забыли об этом. С выражением маленькой девочки на лице Искра говорила: «Целый куль нарциссов у нас на даче расцвел». Светлана: «Зато у вас тюльпаны червь съел, а у нас их море». «А зато у нас скоро ирисы пойдут...»

*г. Пермь*



## Меж двух ударов пульса...

\* \* \*

Прощай! Ужели не смешно  
Делить судьбу с одной из пифий?  
Пусть зазвонит монетой дно!  
Мы это выпили вино —  
Ты помнишь? — в праздничном Коринфе!

Звонят! Звонят колокола!  
И все, что прежде было нашим,—  
Весь путь от решки до орла —  
На дне последней этой чаши.  
Не спрашивай, как я смогла  
Уйти за первым же попавшим  
В круг света сцены площадной,  
За круг истории площадной.  
Прощай! Еще бы по одной!  
И ладно!

Немыслимый в гортани жар —  
Названья глиняные эти:  
Коринф, Микены, Эпидавр,  
Гомера профиль на монете,  
Что брошен нищему певцу  
В прибрежной праздничной таверне.  
Ему и плющ, и лавр — к лицу,  
Да и венец любой... Поверь мне,  
Когда он пел и пил вино.  
И снова пел — гортанно, гордо,  
Я знала только лишь одно —  
Что я хочу его!..

И твердо

Вонзала нож в овечий сыр  
Его ревнивая критянка.  
Но знала я — и целый мир! —  
Что утром мы покинем пир  
И кто-то бросит вслед медяк нам

С Гомером выпукло-слепым  
Взамен орла самодержавья.  
И так же я уйду с любимым,  
Уж никого не утешая,

Затем, что больше не пою,  
Ни дуракам, ни мертвецам я,  
Предпочитая «deja vu»  
В Элладе столь провинциальной,

Какой была моя судьба,  
 До сей поры — смешной и грешной —  
 Поставленная «на попа»  
 Слепым «орлом» и зрячей «решкой».

### *Прогулки по саду*

Сирень померзла.  
 Жасмин отцвел.  
 Медвежья душа из дуба  
 Ушла на весла.  
 И ветер гол,  
 Как будто цыган под шубой.  
 И вот я дома. Хоть дома нет.  
 Создать бы бездомных лигу,  
 Так я б не иначе была президент.  
 Вот выйду в сад — и, как всякий поэт,  
 Зачисленный в Красную книгу,  
 Собратьев своих соберу букет,  
 Привычных к любому игу.  
 Ивана, конечно, который чай,  
 И с Марьей который Ивана,  
 И Ваньку Мокрого — сгоряча  
 Туда же их — в икебану!  
 Мы пили деготь. Мы ели с меча.  
 Побойтесь Бога, не надо врача.  
 Пора уже нам в нирвану.  
 Мы все срифмовали — и «да», и «нет».  
 И в этом залог свободы.  
 Я вышла в сад — и, как всякий поэт,  
 Зачисленный в книгу природы,  
 Я вижу над муравейником свет,  
 Где гибнут и гибнут народы,  
 Пока разжигает костер мой сосед —  
 Веселый Иван безродный.

\* \* \*

И все, что ни скажу я, будет лишь  
 Тех сновидений выжженная тишь.  
 Ты был один на эти сны мне сужен.  
 С тобою не простор я обрела,  
 А комнату длиною в три крыла  
 И шириною — рук простертых ужас.  
 Так, что обнять всегда едва могла,  
 Когда тобою разверзалась мгла  
 Осенней затянувшейся разлуки,  
 Где стаи заполняли небосвод.  
 И, словно собираясь в перелет,  
 По комнате кружились наши руки.  
 Пока ты спал в объятиях моих,  
 В той комнате уже на четверых  
 Был стол накрыт, и вырастали дети.  
 И вскоре убирали со стола.  
 И комната длиною в три крыла  
 Им родиной была на этом свете.  
 Там сын вырослел, и дочь моя росла,  
 И солнечного света полоса  
 Там на полу — уже казалась раем.  
 Но стрелки замирали на часах.  
 Они старели на моих глазах.

И умирали...  
 И просыпался ты всегда в тот миг,  
 Когда уже оплакала я их.  
 А ты, проснувшись, вновь ко мне тянулся...  
 Наверно, сны иные видел ты,  
 Где мир не погибал от пустоты  
 Меж двух ударов пульса.

\* \* \*

След совпадает и ступня  
 Один лишь раз — в преддверье шага...  
 Но в мире не было меня,  
 А небесам смешна отвага  
 Одно лишь сердце предъявить  
 На суд средь холода и блеска,  
 Где прикасается Давид  
 Перстами к пустоте вселенской.

### *Аргентинское танго*

Лишь слово одно — «никогда» —  
 Есть храм для твоей победы.  
 Крылатая Ника «да!»  
 Кричит с парапета.  
 Вот здесь ты умрешь, зато  
 Ты будешь свободным, свободным...  
 Танцуй в долгополом пальто  
 На кухне своей холодной.  
 Сметай рукавами то,  
 Что помнит лишь боль тупая.  
 Люби в разнополом пальто  
 Себя, на себя наступая.  
 Не помни, когда и где  
 Под воду ушла Итака.  
 Танцуй на воде, по воде  
 Свое аргентинское танго.  
 Во всем от Версачи и  
 Ногой попирая Китеж,  
 Иди по воде, иди!  
 И там ты себя увидишь  
 Танцующим на огне  
 На кухне с открытым газом,  
 С московской зимой в окне,  
 Косящим безумным глазом  
 Туда, где века подряд  
 Возлюбленными возлюблен,  
 В шинели своей до пят  
 В каком-то армейском клубе  
 На чьей-то чужой войне,  
 По чьим-то чужим контрактам  
 Танцуешь ты, как во сне,  
 Свое аргентинское танго.

### *Блюз городских сумасшедших*

Я вышла утром, быть может, ранним,  
 быть может, не в меру старательно  
 за рифмой шла, как за миноискателем,

чтоб подорваться на каждой мине.  
Простите уж Бога ради!  
Но мне надоел этот плач о блудном сыне.  
Я слишком близко знакома с этим приятелем.  
И потому отныне  
я иначе смотрю на вещи.  
А по всем подворотням скрежещет  
блюз городских сумасшедших, блюз городских сумасшедших...  
Я иду напевая, мне нравится этот ритм,  
мне нравится, спотыкаясь, идти за ним,  
как слепые у Брейгеля,  
в ритме регги,  
напевая и шаря рукой  
по городам и селениям —  
где мое поколение?.. где мое поколение?..  
Мы все разъедали, как щелочь,  
уже подорвавшись на мине.  
Нас можно исполнить еще раз,  
но лишь на струне Паганини.  
Нас можно услышать, быть может,  
отрезанным ухом Ван-Гога.  
И хоть нас нет уже больше,  
что за печаль, ей-богу!  
Что за кручина, граждане!  
Что за беда!  
Ах, мы жаждали, жаждали —  
вот она, эта вода,  
в горле стоит, как нож!  
А за спиною шумит не дождь —  
блюз городских сумасшедших, блюз городских сумасшедших.  
Поднимите мне вежды! —  
Вий кричит на старославянском.  
Прирастает к глазницам повязка,  
и ее вырывают с глазами  
те, что следом идут за нами,  
напевая без всякой тоски  
блюз городских сумасшедших, блюз городских...  
Полноте, батюшка, полноте!  
Мой корабль отплывает в полночь  
высокого слога,  
а рождаюсь я в полдень  
иного  
в провинциальном роддоме,  
удаленном от моря и Бога,  
в несгораемом томе  
«Мертвых душ» поколения «икс»...  
Это можно исполнить  
еще раз,  
и еще раз на «бис»!  
Потому что это не регги,  
потому что это не джаз,  
потому что это давно уже не про нас.  
Если трезво смотреть на вещи,  
это больше, чем «мы» и хлеще —  
блюз городских сумасшедших, блюз городских сумасшедших!

●

# Воспоминания, документы

Наталия ИЛЬИНА

## Из последней папки

ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ (1957—1993)

**И**мя Наталии Ильиной хорошо известно давним читателям «Октября». Ее связывала с журналом многолетняя дружба. Здесь она напечатала лучшие страницы своей автобиографической прозы: «Анна Ахматова, какой я ее видела», «Реформатский», «Дом на берегу океана» («Уроки географии»), «Отец» и другие. Она участвовала во встречах журнала с читателями в Политехническом, была лауреатом годовой журнальной премии.

Наталия Иосифовна Ильина (1914—1994) родилась в Петербурге. Ее детство и юность прошли в Маньчжурии, куда семья уехала, спасаясь от большевиков. Вернулась в СССР в 1947 году, закончила Литинститут. Литературная судьба Ильиной сложилась счастливо. Все, что она написала в 50—80-е годы, было напечатано. Все, что было напечатано — роман «Возвращение», статьи, пародии и фельетоны, собранные в книге «Белогорская крепость», книга автобиографической прозы «Дороги и судьбы», — вызывало живой отклик, поток писем, которыми она дорожила. Писали и читатели и писатели (тогда, во второй половине XX века, писатели еще писали друг другу письма).

Корней Иванович Чуковский любил читать гостям вслух ее пародии. «Слышали бы вы, какой хохот стоял в моей комнате... — писал он Наталии Ильиной. — Пародии густые и терпкие, в каждом слове ненависть к пошлячеству». Твардовский писем не писал, но с удовольствием печатал в «Новом мире» ее блистательные фельетоны. «Дороги и судьбы» открыли нам новую Ильину. «Получила Вашу книгу, раскрыла, присев в парке, главу о Реформатском и зачиталась, даже пробрал меня осенний холод, — отзывалась сдержанная на похвалу Лидия Яковлевна Гинзбург. — Затягивающее чтение. Вам удалось воссоздать человеческую прелесть и необычность тех, о ком Вы пишете». «Книга Ваша меня задает очень лично, — это из письма Евгения Сидорова, — как будто все было и еще будет со мной... Самое главное у Вас — художественная боль, милосердие, нас возвышающее чувство утраты, то, что Шуман и называл искусством: “воспоминание о самом прекрасном, что жило и умерло на земле”».

Когда Ильина предложила «Октябрю» главы семейной хроники, объединенные в цикл «Дороги» (она любила простые названия), единодушия в редакции не было. «Скучно. Бабушка, дядюшка-климатолог — кому это интересно?» — сказал тогдашний зав. отделом критики. «Проверил на жене, — сказал тогдашний зам. главного редактора. — Интеллигентным людям это интересно».

История дворянской семьи Воейковых (Екатерина Дмитриевна Воейкова — мать Наталии Иосифовны) давала Ильиной возможность без пафоса, надрыва и менторства говорить о русской интеллигенции и русской культуре. Самой интонацией прозы она возвращала читателям забытое чувство нормы, вкус и слух. Все, что она писала, во всех жанрах, напоминало о том, что существуют ценности, от которых нельзя отрекаться: достоинство, внутренняя свобода, естественность и здравый смысл.

Наталия Иосифовна могла быть злой — если сталкивалась с непрофессионализмом, сервильностью, пошлостью, неуважением к языку, литературным «выпендреем». Она обладала природно-ироническим складом ума, была смешилива, насмешлива — прежде всего по отношению к себе самой. С безрассудной веселой отвагой, наживая врагов, хлестко писала о нелепостях советской экономики, о бездарной «секретарской» литературе — о тех и о том, о чем многие писать опасались. По обаятельной детской дурости, если хотите, объясняет Юрий Карякин, с которым она дружила: «ее тут не стояло», у нее наших страхов в крови не было. Она была свободным человеком и жила в ладу с совестью.

*И еще она была замечательным собеседником — легким, острым, наблюдательным, прекрасной рассказчицей. На ее столе осталась последняя не разобранный ею папка: то, над чем работала в последнее время, к чему собиралась вернуться. Наброски к книге «Второе возвращение», жанровые зарисовки, недавние и давние записи, письма. Наталия Иосифовна не вела дневников, но в течение многих лет делала короткие пометы в настольном календаре, что-то наспех записывала на отдельных листках и складывала в ту же папку, вдруг пригодится. Фрагменты дневников иногда отзывались в ее книгах, но основное осталось ненапечатанным. Часть этих записей мы предлагаем вниманию читателей. Здесь много имен, иногда трудно удержаться от комментария, но мы старались сделать его минимальным.*

*Наталия Ильина любила писать с натуры. Натурой была жизнь, ее собственная и наша общая, неустроенный быт, смешное и горькое. Ей была бесконечно интересна именно живая жизнь, без вранья и беллетристики, живая речь, живые люди — знаменитые и незнаменитые, плохие и хорошие, молодые и старые, давние друзья и случайные попутчики. Она легко сходилась с новыми людьми, первой протягивала руку.*

*Такие собеседники, как Наталия Иосифовна Ильина, не перестают быть интересными. Время их не старит.*

По поводу моего романа «Возвращение».

Из Петербурга, где я родилась, меня увезли в четырехлетнем возрасте. Мои родители эмигрировали в Маньчжурию, где я и выросла, а затем в течение десяти лет с 1937-го по 47-й годы жила в Шанхае. России я не помнила. Родину свою впервые увидела десять лет назад, осенью 47-го года.

Когда я приехала в Шанхай, мне было немногим более двадцати лет. Вначале пришлось очень трудно. Переменила не одну профессию. Я журналист-профессионал, пишу много лет, но в основном это были фельетоны и маленькие рассказы. Я не собиралась писать роман, когда жила за границей. Но здесь, в России, меня стала мучить тема, которую не втиснешь в рамки фельетона или статьи. Мне казалось, что я знаю что-то такое, видела много такого, о чем необходимо рассказать. И я стала учиться писать роман<sup>1</sup>.

Из записей 57-го года.

...Когда я заболела, меня бесплатно лечили в поликлинике парафином и электризацией. В Шанхае такое лечение стоило бы огромных денег. Это было в Казани в первую зиму моей жизни здесь. Я очень помню эту поликлинику, и белые занавески, и внимательных медсестер, и меня удивляло, что все со мной возятся и никто не берет за это денег.

А в Шанхае во французском католическом госпитале Сакре Кер умирающего человека не впускали в ограду госпиталя, пока его семья не внесила аванс. Умирающий лежал в такси или даже в коляске рикши, а его родственники стояли у серых ворот госпиталя и умоляли о милосердии непреклонную католическую монахиню, которая выглядывала из окошка в своем огромном накрахмаленном чепце.

Чего бы ты ни достиг в эмиграции, все построено на песке, все шатко и эфемерно, зависит от любого дуновения ветра. Но даже не это главное. А главное то, что ты унижен: ты человек без паспорта, без национальности. Человек второго сорта. Молодому человеку без богатых родителей тяжело пробивать себе путь в капиталистическом городе, а эмигранту тяжелее втройне.

«Мне здесь все близко. И эти домики, и зимние закаты, и санки с бубенчиками, и старинные пузатые комоды, которые я видела в одном доме. Все тут мое.

<sup>1</sup> Роман «Возвращение» был дипломной работой Н. Ильиной в Литинституте. Он печатался в «Знамени», вышел двумя книгами в «Советском писателе» (1957, 1966). Наталия Иосифовна этот роман не любила и никогда не переиздавала.



И народ мой — и в горе и в радости. Мне кажется, что по складу своему я здешняя. Я больше подхожу сюда, чем к людям, от которых уехала. Уж Вы-то это понимаете! Вы, которая так никогда и не сжилась с теми людьми... Ужасно правильно, что я приехала, все время это ощущаю!»

Кому я адресовала из холодной Казани конца 40-х годов эти строки с сильным налетом литературщины? Человеку, в чужую почву не вросшему, от этого страдавшему, от этого погибшему. Корнакова<sup>1</sup> и без меня знала, что «не сжилась» и «не вжилась», — это письмо могло лишь обострить ее неутраченную боль. Но я не думала о ней. О себе думала, в себя была погружена... Убеждая других, убеждала себя.

Мы не были так уж молоды, когда вернулись на родину. Лундстремы, Виталий Серебряков и я вступили в четвертый десяток, а Юре Сдобникову вот-вот должно было стукнуть тридцать. Наивный ригоризм объяснялся не молодостью, а биографией. Я и раньше мало интересовалась родней в России (зато «народ — мой!»), а заразившись марксизмом, и вовсе впала в нигилизм.

Как эпидемия, заразная болезнь, слепота.

До чего доходило. Зима 48—49-го, роман Ажаева. Я утверждала — великое произведение. До сих пор мировая литература не знала такого глубокого и точного описания процесса труда.

Эстет и сноб — страшное обвинение в наших устах. Виталий и Юра утверждали: профессия писателя отомрет. Юра Сдобников считал, что интеллигенту, да еще прибывшему из-за границы, следует перевоспитаться в здоровом рабочем коллективе. Его взяли в бухгалтеры на кирпичный завод где-то на окраине Казани, Юра жил при нем.

Воспевание бытовой неустроенности: они там зажрались!

«Очнуться бы! Вся жизнь прошла как сон!» Эренбург. («Который час? — проснулся я рыдая...»)

Очнулись. Не все. Какие-то частности объяснению не поддавались. Когда я поняла то, что объяснению не поддавалось, все постепенно встало на свои места. Отчизна отделилась от Системы.

Когда мы с мамой в октябре 1942 года провожали Ольгу в Индокитай, никому из нас и в голову не приходило, что растаемся почти на двадцать лет.

А случилось именно так. Мы увиделись вновь лишь в марте 1961 года, когда сестра с двумя своими дочерьми, Катей и Вероникой, приехали в Москву как туристки.

Встречать их в Шереметьево я отправилась одна. Незадолго до этого у матери был сердечный приступ, предстоящее свидание очень волновало ее, погода в тот день была прескверная, вьюжило пополам с дождем, и мы с матерью решились, что она будет ждать дома...

Набитый газетными вырезками большой светло-коричневый конверт из плотной бумаги. Давно бы ему полагалось быть порванным на сгибах, а он цел, лишь выцвела, став из синей бледно-голубой, надпись на нем: «Фельетоны Нат. Ильиной». Рука матери, ее своеобразный, ни на кого не похожий острый почерк (кто-то назвал его готическим).

Все сохранила и в Москву привезла, а мне об этом — ни слова. Быть может, помнила, что осенью 38-го года, когда она из Харбина приехала ко мне в Шанхай, я, открыв ее чемодан, сказала: «А ЭТО зачем тебе понадобилось тащить сюда?» ЭТО были бесценные письма моей бабушки Ольги Александровны, так мне впоследствии пригодившиеся.

<sup>1</sup> Екатерина Ивановна Корнакова-Бринер — актриса Художественного театра. См. о ней в книге Н. Ильиной «Дороги и судьбы» (последнее издание — «Московский рабочий», 1991), глава «Корнакова».

Я наткнулась на конверт с моими шанхайскими фельетонами, освобождая от бумаг секретер матери после ее кончины, бросила в чемодан вместе с другими папками, общими тетрадами... Удосужилась разобраться лет через пять (конверт не трогала, что там, мне было известно и глубоко не интересно). А недавно понадобилось извлечь с антресолей одну из папок, конверт вывалился, упал, часть вырезок рассыпалась, я стала затискивать все обратно, одним из невлезавших фельетонов зачиталась... Так и читала, сидя на полу, иногда смеялась. Бытовые зарисовки эмигрантской жизни в Шанхае. Неумело, развязно, но попадались строчки.

...Эмигранты в Шанхае делились на бедных и богатых. Некоторые, попав сюда еще в начале 20-х годов, служили в крупных иностранных фирмах (Таможня, Пауэр компани, Мобил-Ойл и др.). Другие, те, кто обладал коммерческим складом ума, открывали «свое дело» — магазины, ателье, парикмахерские, аптеки, ночные клубы, рестораны — и, бывало, процветали. Богатые жили в «апартаментах», бедные — в «террасах» (ударение на первом слоге), дешевых домах, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга в грязных китайских дворах. Предприимчивые эмигранты сдавали в таком доме комнаты с обедами, это называлось бординг-хауз.

Газета «Шанхайский базар», в которой я тогда работала, этот убогий быт летописала, разнося по веселым рубрикам.

**«В ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ КОРЗИНКЕ.** Осатаневшие от алчности хозяева бордингов прекратили подачу горячей воды. А некоторые троглодиты выключили и холодную воду. Разрешают только иногда вымыть руки. Так что нам делать? Бань в Шанхае нет. Бассейны в клубах не всем доступны. Сначала просто набавляли на комнаты, теперь запретили мыться. А также — есть (то есть питаться вне жилища). Нужно ли добавлять, что кормят чуть ли не отбросами.

**МОДА.** Самый модный аксессуар к туалету — небольшая вещичка, по форме напоминающая гирию. Кожаный мешочек помещается в кармане (сумок больше, как известно, не носят). Гирей, зашитой в конце мешочка, бьют нападающего по лбу.

**КРАЖИ.** Хозяин после перебранки с женой вывел собачку. Вернулся — ничего на нем не было, кроме попонки, которой он стыдливо прикрывался. Закрадывается страшное подозрение: уж не была ли собачка наводчицей?

**С ВОЛКАМИ ЖИТЬ.** Вместо «как поживаете?» — «что едите и чем маетесь?» Курильщики: «Попробуйте мою дрянь». «А вы мою. Интересно, чья хуже».

**МЫ ПРИДИРАЕМСЯ.** Если сотрудник «Шанхайской зари» принимается за цитаты, неизменно получается конфуз. То он выдает стихи Крандиевской за стихи Ахматовой, то вкладывает слова чеховской Дашеньки («Они хотят свою образованность показать, а потому всегда говорят о непонятном») в уста телеграфиста. По счастью, чеховского же. Читатель все сожрет — так, видимо, решили репортеры «Зари». Привязывается и цепляется лишь «Шанхайский базар», которому до всего есть дело.

**ПОДСЛУШАННЫЙ ДИАЛОГ.** «Много русской молодежи подали на советский паспорт». «Это не русская молодежь. Это рабская молодежь». «Видимо, они предпочитают быть рабами собственной страны, а не какой-нибудь другой».

**ЖИЗНЬ ТРУЩОБНАЯ.** Весна. Открываются окна. Жизнь соседей и двора врывается в вашу комнату. Порют ребенка. Какое свинство бить детей. Из окна напротив звуки танго «Чаша страданий». Внизу визгливый голос: «Как за комнату платить, так нечем, а как женщин к себе водить, так есть на что. И небось не каких-нибудь, а сорокарублевых!»

— Откуда вы знаете? — возмущается хриплый баритон. — Вы что, видели, как я платил?

— У меня глаз наметанный,— визжит хозяйка,— я пятирублевую от сорокарублевой всегда отличу!

В ШАНХАЕ АМЕРИКАНЦЫ. В доме сегодня радостный переполох. Приехал сын соседской прислуги, амы (бывший прачка, а теперь педикэбщик<sup>1</sup>), и с восторгом показывал всем американский доллар. Он заработал его, как расказывала жена бывшего инженера, а теперь шофера, всего за двадцать минут. И приехал поделиться радостью с матушкой.

Старуха, соседская ама, всегда много о себе думала, а теперь к ней прямо не подступиться. С тех пор как ее сын не бегаёт больше с утюгами, она перестала мести общую лестницу и вообще стала всех презирать. Единственно, кого милует, это соседку снизу, бывшую учительницу, а теперь кельнершу.

Успехи бывшего прачки взбунтовали всех боев, которые хором грозятся уйти в педикэбщики.

ЧЕРНАЯ ЛИХОРАДКА. Диалоги в кафе «Диди» (А. Вертинский<sup>2</sup>).

Они сходятся к десяти. Быстрые, взволнованные, решительные.

— Мылом интересуется?

— Нет.

— Есть бюстгальтеры.

— Не надо.

— А виски?

— Да мне ничего не надо.

— Как это ничего? Что, вам пару тысяч заработка мешают?

— Да, видите ли, я не коммерсант.

— А вы думаете, я коммерсант? Я же парикмахер. Я ж вас в субботу брил.

— Помню. Вас зовут Муня.

— Вот-вот. Чем же вы интересуетесь?

— Бытом.

— Быт? Что это? Можно достать. Сколько вам надо? Подождите здесь. Приведу одного человека. У него все есть. Мои пятнадцать процентов. О'кей?

Шанхай, конец 30-х годов. Бог ты мой, что делалось в мире, а я занималась этой забавной чепухой. К политике была глуха совершенно. Все помыслы были направлены к одному — не пропасть. На авеню Жоффри бродит сумасшедшая нищенка, русская, что-то напевает. В Шанхае полно нищих, это китайцы, но попадают и русские, в этом полуколонииальном городе они «роняют престиж белого человека», их вылавливают, но они появляются снова, и снова поет на авеню Жоффри сумасшедшая, говорят, ее обманом продали в публичный дом, она оттуда сбежала. Издали слышав надтреснутый голос («Шери, ты надень свое белое платье...»), перехожу на другую сторону.

В «Зарю» приходили две парижские эмигрантские газеты, «Возрождение» и «Последние новости». В них я читала фельетоны Тэффи и стихи Дон Аминадо. В «Современных записках» — романы Сирина-Набокова.

В мире всегда войны. В одном уголке мира чай пьют, в другом стреляют, взрывают, летят поезда под откосы, падают бомбы. «Горят костры мятежных генералов» — этот газетный заголовок я прочитала еще в детстве. Очень нравилось слово «мятежные». Какое мне дело до того, кто правит Маньчжурией? В Харбине, в его провинциальной «русскости», чудилось что-то незыблемое.

Харбин был образованным городом, гораздо более образованным, чем Шанхай. Как говорил один знакомый моих родителей, «Харбин для Шанхая, как Афины для Спарты». Одним из очагов культуры было Железнодорожное собрание. Тут, кстати, началось и мое «музыкальное образование» — оперой, ко-

<sup>1</sup> Велорикша.

<sup>2</sup> Александр Вертинский вел в «Шанхайском базаре» рубрики «Почтовый ящик», «В своем глазу» и «Про все».

тору я с тех пор не люблю, «Евгением Онегиным». В девять лет я прочла пушкинский роман, и толстая дама, певшая в харбинском Желсобе Татьяну, потрясла мое детское воображение абсолютной несообразностью пушкинскому образу.

В музыкальной школе Диллон и Гольдштейна, мужа и жены (он скрипач, она пианистка), учился Анатолий Ведерников, я помню его семи-восьмилетним мальчиком-вундеркиндом, мы жили в одном доме гостиничного типа. Дорогу тогда уже продали японцам, но, несмотря на атмосферу массовых сборов, каждый день мы слышали за стеной, как Толя играл на рояле.

Сама я любила фортепиано, мечтала учиться. Мне повезло: мать моей школьной подруги, ученица знаменитой Есиповой, давала частные уроки и три года занималась со мной бесплатно. К сожалению, этим все ограничилось, я уехала в Шанхай зарабатывать на жизнь.

Но еще до этого в Харбин приезжал Шаляпин, и мне дважды посчастливилось быть на его концертах. Представьте эмигрантскую подавленность, особенно когда в Харбине хозяйничали японцы, и вдруг — Шаляпин! Люди плакали, кричали: «Вы русский, вы наш!»

Оживились и русские фашисты во главе с Радзевским и потребовали, чтобы Шаляпин отдал в пользу их партии сбор от одного из концертов. Он отказался. Незваные гости настаивали: «Вы нас, видимо, не поняли, Федор Иванович!» Шаляпин рассвирепел: «Я Шекспира понимаю, а уж вас, сукиных сынов... Вон отсюда!» И даже вроде бы швырнул им вслед пресс-папье. Столь же неудачно они явились и к Вертинскому. Тот сразу предупредил: я греческий подданный (так оно и было) и дел с вами иметь не желаю.

В Шанхае у меня образовалась своя маленькая газета, я часто брала интервью, получала контрамарки. В театре «Ласиум» гастролировал знаменитый в те годы Миша Эльман. Пианистка, жена жившего в Японии скрипача Могилевского, урожденная графиня Лейхтенбергская, играла Симфонические вариации Цезаря Франка. В Шанхае я начала собирать пластинки; долгоиграющих тогда не было, Первый концерт Листа занимал четыре пластинки целиком, каждая стоила денег.

...В Казани я устроилась стенографисткой в Ортопедический институт. Все выступавшие у меня говорили на правильном литературном языке, и это определило мой бурный успех: по совместительству меня позвали в консерваторию, и мое «музыкальное образование» продолжилось.

В Казанской консерватории преподавали музыканты, вынужденные переехать туда из Ленинграда, среди них известный пианист и композитор (не буду называть имен), высланный из-за своей немецкой фамилии. На заседаниях секретарь парткома, татарин, плохо говоривший по-русски, учил этих людей уму-разуму. Человек он был добрый и, не желая ничьей крови, путаясь в словах, коряво и неумело объяснял, какую музыку надо писать, чтобы она была связана с марксизмом-ленинизмом.

В Казани тогда читал курс пианизма Г. М. Коган, я его тоже стенографировала, и даже на меня, непрофессионала, его лекции производили большое впечатление. То, что он говорил о музыке, было не просто великолепно, но и безусловно справедливо для искусства вообще. Много лет спустя, когда мы с Реформатским слушали «Войну и мир» Прокофьева в концертном исполнении, я встретила Георгия Михайловича, он узнал меня, хотя кто я была в Казани! — и мы вспомнили прошлое...

О юморе. Помню, пыталась, когда приехала сюда, читать друзьям из «Шанхайского базара», и никто не смеялся. Поднимала глаза: из вежливости делали вид, что интересно. Жуткое ощущение, когда не смеются. Я — тоном оправдания: понимаете, в то время в Шанхае очень крали, и поэтому... Прощасть. 50-е годы — полная непривычка к жанру, к пародиям, фельетону.

Мои шанхайские статьи. Развязность. Казалось, что: 1) пишу смешно, 2) приношу пользу отечеству, 3) понимаю все — отсюда (оттуда). Говорила «правду об СССР»: новый человек, социализм, коммунизм, — попугайно. Мой «итальянский» друг Вова<sup>1</sup> все сохранил, живя в Париже. Так всегда. Когда я там — раздражает ихнее. Здесь — наше.

Начало пятидесятых. Дома у консультанта А. С., худого, высокого, интеллигентного вида человека.

Передняя коммунальной квартиры. Обшарпанные двери и стены. Большая комната. Налево — шкапы с книгами. Что за шкапами, неизвестно. Прямо против двери — письменный стол, боком к окну. Обеденный стол. За столом одна-одинешенька обедает маленькая девочка лет пяти в белом платье и почему-то в шляпе, подвязанной под подбородком ленточками. Кто-то шуршит за шкапами...

В Мосцветторге.

Зам. директора Анна Петровна. Худенькая, старенькая, много курит, с претензией. Кофточка, костюм, ногти длинные, волосы жиденькие, завитые. На столе — лампа в виде белой совы с красными глазами. Когда в соседней комнате звонит телефон, сова зажигается, и А. П. берет трубку. Разговоры: «Послезавтра выбросят яблонки, малину и жимолость», «Завтрашний день вынимаем яблонки из прикопа», «Малина пришла».

Старичок служащий лет семидесяти. Чистенький, аккуратный, жилки лиловые, седые чистые волосы.

Юбилей библиотеки.

Зал, народ, президиум. Сбоку две стенографистки.

У двери в новом парадном костюме джерси с черной оторочкой — зав. читальным залом, скуластая, с гвзздиками-волосами и лишенным выражения простоватым лицом. Сидит, расставив ноги в шелковых чулках и лакированных туфлях.

Доклад без бумажки главной библиотечарши: «Выношу благодарность...» Выступление представительницы мин-ва культуры: «Во всяком случае, в ихний адрес поступило много теплых приветствий».

Старушка Анна Петровна вспоминала сырые дрова, восемнадцатый год, неграмотных и книги Библии и Евангелия.

На генеральной репетиции «Короля Лира» в театре Моссовета с Фаиной Раневской. Актеры. Все женщины похожи друг на друга: гладко причесаны, с прямым пробором, черноглазые, крашенные, подтянутые, но староватые. Целуются. На «ты». Завадский похож на старую даму в берете, хорошо сохранившаяся старушка. Холеный барин и неприятный. Накладки со светом, все волнуются...

Малеевка.

Нора А. Фразы вроде «сохранить свое женское достоинство», «омыть душу», «девическая гордость». «Знаете, как бывает, когда в девушке просыпается женщина...»

Инна Т. Инфантильна: «Они знали меня девочкой», «Она относилась ко мне как к дочери». Обращение внимания на себя каждую минуту: съесть или нет арбуз? надеть ли чулки? Если надеть — жарко, не надеть — холодно. Что сначала — чай или арбуз? Знаете, у меня такой характер...

Пара М. Он стар, она молода. Он под башмаком, умиленно на нее глядит. Она с профилем камеи. Хищница. Кокетка. Вместе едут в Москву. Она: «Боюсь, что он не договорится». Он: «Что я не сумею...»

<sup>1</sup> С Владимиром Петровичем Кандауровым Ильина познакомилась в 1942 г. в Шанхае. См. о нем в «Дорогах и судьбах» главу «Путешествие по Италии со старым другом».

В. Ж., знакомя с женой: «Это моя мамочка».

Врач: «Я не могу улыбаться. Я не приказчица. Улыбаться больным унизи-тельно».

Фамилия: Несси Моисеевна Шампанская.

Оня Прут: «У каждой коровы есть вымя и отчество» (якобы Светлов).

Манера запоминать номера телефонов: год рождения Анны Иоанновны минус то-то...

Дима: почему все называется — имени такого-то? Мать объясняет. «Но если все называется — имени Ленина, то это все равно как без имени».

Рассказ о человеке вроде Д.

Если начать с самоубийства. Люди. Жена. Похороны. Ужас. Почему? А потом развернуть его жизнь. Мальчик из детдома. Талантлив. Квартира и обстановка. Собирает картины, в которых ничего не понимает. Жена вздорная, ругается. Сын двенадцати лет кричит на лифтершу: «Мы вас выгоним». Отец: «Она человек малооплачиваемый, с ней надо снисходительно».

Вахтер в Доме журналистов. Смугл, черноволос, лет пятидесяти. Отвечает по телефону: «Дворцы и хижины».

«Мы любезны с каждым, кто входит с улицы». Звоню. Занято. Он: «Придет время, в автоматах поставят кресла, звонить будете сидя, а вам — кофе, ситро, гренадин...»

Уходит. Прсят разрешения позвонить. Отказывает. Возвращается ко мне. «Работаю временно. Не успел приступить, сразу велели не допускать никого к этим двум телефонам. Но я не согласился. Допускал. Кого не допустил — дочь директорши: “Запрещение вашей мамашы”».

Смотрели французскую картину «Порт де Лиля»? Считаю нужным запретить. Почему? Три причины. Первое. Деклассированный элемент выдается за героя. Второе. Пьяница и преступник очень красив, внушает симпатии. Третье. Роль рабочего класса снижена. Читал статью в “Леттр франсез”...»

Дворцы и хижины...

Наша Ольга Семеновна (работница):

«Муж пьяный кинулся на меня с ножом. Соседи увидели эту процедуру — и на помощь...»

Была в домработницах в 37-м году. Хозяина арестовали. «А он хороший был. У нас тогда культ личности был, понимаете? Что Сталину ни наговорят, он всему верил».

«Племянник девку привел в портках. Я ей: дочка! Ты чего с ним? У него жена. Пойдем фото покажу. Видала? Ты ей пить не годишься подать!»

Кавказский фотограф.

Когда Гоголь спрашивал: «Знаете ли вы, что такое украинская ночь?» — мы должны были из уважения к классикам отвечать хором: «Нет, мы не знаем, что такое украинская ночь».

Но когда речь идет о кавказском фотографe, тут классика не при чем. Тут место заступает личный опыт, и мы хором отвечаем: да, мы знаем, что такое кавказский фотограф! Это когда на фанерном щите намалеван вздыбленный конь, на нем всадник в черкеске, в руке вечно стреляющий пистолет, а вместо лица — дырка. Все прочее — рама, традиция; а вот личность, физиономия — это дыра на потребителя.

И в эту дыру суются самые разные потребители: кооператор с бородой и чемоданом, мать-героиня с орденом, юная скромница, только что сдавшая сессию, и новомодные стилиаги, норовящие помахать из дыры третьей рукой (две — на макете).

Такие же отношения сущего и текущего, общего и индивидуального наблюдаются и на словесном поприще. Подобными заготовками (с предусмотрением даже вариативности дыры) в минуту жизни трудную пользовался Остап Бендер. Но где ему, кустарю-одиночке, тягаться с искусством «кавказской фотографии» в литературе и публицистике, которую мы наблюдаем на страницах наших уважаемых печатных органов.

Вот например...

Эрдман рассказывал, как читал свою пьесу Станиславскому. Предупредили: не удивляйтесь, если старик будет прерывать и спрашивать: «А чья это племянница?» Но не прерывал.

Армянские записки.

Библейская страна — ослики и с младенцем Мария... Гостеприимство и любезность.

Село Головино — молоканское, идиллическое.

Но вот рассказ Тани уборщицы. В вузы не поступишь. Чтобы шофером устроиться — барашек. С девушкой не пойдешь. Приглянется армянину — и ножи. Дома сидят.

И навис над нами 22-го приезд гостей. Мы тоже гости. Но они иностранцы. Говорят, выселят всех на Севан. Быть может, впервые узнала, что терпят люди, когда приезжают высокие гости.

У Люси Верейской криз. Нурица Минеевна, главный врач, обещала, что не выселят. Утром Мкртчян, чиновник, железен и терт. Стало ясно, что ни от кого ничего не зависит: «Распоряжение правительства очистить помещение». О Люсе: «Ничего с ней не будет».

Вчера мальчик родился в метро. Женщину везли в роддом, но все закрыто.

Пошли на холмы, седловину. Орик рисовал. Свиньи, поросята, дети. Старик, яблоки, поиски посоха.

После обеда поехали в Дилижан. Шофер разговорчивый и предупредительный. Армянского коньяка нет, но дали денег, он зашел в ресторан и с заднего хода вынес. И бутылку вина.

Выселили. Ночь провели с Люсей в коттедже для врачей. Сиротские комнаты с тифозными одеялами...

Плакат в косметическом кабинете:

«Если время нам грозит осадой, то почему в расцвете сил твоих не защитишь ты молодость оградой?» Шекспир. Общее уважительное недоумение.

Под плакатом сидит жена шведа-коммуниста. Говорит без умолку полтора часа.

— У них праздники не чувствуются. Разве они гулять умеют? Ненавижу их. Два года там прожила. Шведки — сволочи. Делать им нечего. Стиральная машина — только побросай, и все. Магазин под боком. Квартиру вылизывает. У нас генеральная уборка раз в полгода, а у нее — каждый день. Булки — по числу людей. Жрать хотелось, ничего не дали. Чопорные. Муж хочет свергнуть власть капитала. У них теперь решено идти не по нашему пути. У нас рабочие голодные, а у них у каждого квартира, машина. Цели у них какие? Свергнуть власть капитала. Но другими путями, чем мы. Понимаете? Это я с ними согласна. У них детей бесплатно кормят в школе и еще

родившим деньги дают, будь хоть жена миллионера, все равно. Демонстрация на Первомай, я беременна, муж не взял. Ходил с лозунгом: «Джонсон, сколько ты еще детей убьешь?» Ну, сидел. К вечеру отпустили. Ездили мы с ним в ГДР. Немцы — сволочи. Ненавидят нас. А живут... По пятам ходили, продай то, продай это. А уж тут! В ресторане один привязался, я психанула, хотела морду бить. Я подданства не меняла. В наш атомный век сегодня он мне муж, завтра нет. С нашим подданством сюда труднее ехать. А с ихним — неделя. Вот не знаю что делать. Хочу тут остаться. А дочка?

Каждый год в десятилетие между 48-м и 57-м мне помогает вспомнить череда снимаемых углов и комнат. Спрашиваю себя: когда это было? Отвечаю: в 55-м, я тогда жила на улице Кирова. А это когда? А это раньше, я жила в углу за занавеской в Староконюшенном. В 56-м — на улице Обуха. А если в шестидесятые и позже? Тут для памяти требуется другая опора. Чего у нас тогда не было? За чем стояли длинные очереди? Шнурки для ботинок? Утюги? Бритвенные лезвия? Гречка?

Купила «Книгу о вкусной и здоровой пище». Читала. Вспомнила, как К. говорила: «Горошек идет к ветчине», — и растрогалась. Никаких условий, а стараемся быть как люди. И я здешняя, прилепилась навсегда.

Как-то вечером вышла погулять с английским сеттером, нашей милой Ладой, каждый год сопровождавшей моего мужа на охоту. Автомобиль заметила сразу — он стоял не так, как ставят свои машины жильцы (вдоль стены, под окнами), а багажником к воротам, фарами к подъездам. Фары погашены, внутри темно. «Победа». Кто-то в гости приехал. Холодный осенний ветер, на улице пусто, погуляли минут десять, возвращаю, и вижу: в машине огоньки. Подошла вплотную: пять молодых с сигаретами. «Что вы тут делаете?» — любопытствовала. «Идите, идите», — посоветовали мне. «И все-таки?» Тявкнула Лада. «Гражданка, вам сказано: проходите!»

Реформатский, лежа в постели, перечитывал не то Лескова, не то Чехова. Как многие интеллигенты, он давно уже не читал, а перечитывал. Я рассказала об увиденном. «Поразительно! — воскликнул Реформатский. — Когда ты наконец научишься не совать нос куда тебя не просят!» «Но ведь странно...» — начала я. «Ничего странного. Следят». «За кем?» «Либо за нашим подъездом, либо за домом напротив». «А почему впятером?» «Ложись спать!»

Назавтра я снова вышла в полночь с собакой. «Победы» с молодцами не было, о чем я торжествуя сообщила Реформатскому: «Не я ли их спугнула?» «Очень может быть», — сухо ответили мне.

Утром следующего дня пошла в поликлинику, занимавшую тогда первый этаж нашего дома, сдавать кровь на анализ. Не первый раз была в этом кабинете, просторном и чистом. Но впервые ощутила резкий запах, ничего общего с медициной не имевший. «Такое впечатление, что здесь всю ночь курили!» — сказала я медсестре. «Вы натошак? Давайте руку». Она больно уколола палец. Из окна великолепно просматривались и наш подъезд, и подъезды соседнего кооперативного дома. Осенило: молодцы с сигаретами сменили пункт наблюдения! Хотелось проверить догадку на медсестре, но она отчеканила: «Следующий». Следующий вошел, недоуменно потягивая носом.

Начались снегопады, автовладельцев предупредили: будем очищать крышу, уберите машины от стены. Однако новенькую розовато-песочную «Волгу», которой я всегда любовалась, никто убрать не позаботился. Красавицу, естественно, завалили снегом и сверху прихлопнули глыбой льда. Чуть было не ринулась в домоуправление, но удержалась, вняла Реформатскому —



не совать нос куда не просят. Выходя из подъезда, поглядывала на «Волгу»: заляпана, искорежена, покрышки спущены... Сик транзит, мрачно думала я, gloria мунди!

В апреле во дворе появилась милицейская машина; два милиционера прицепили трос, и страданицу «Волгу» проволокли мимо нас с Ладой. Так я и думала. Конфисковали! Хозяин, значит, арестован. Вот за кем охотились молодчики из «Победы»? Что же он, Боже мой, натворил?

О его чудовищном преступлении вскоре поведала газета «Известия».

Не новость, что вязанье и вообще всякое рукоделие успокоительно действует на нервную систему. Недаром Пенелопа постоянно что-то шила, порола и снова шила. Этот опыт используется даже в психиатрических клиниках. Мой нечаянный сосед по двору, задумавшийся над мельканьем спиц в психбольницах, был не чужд, с моей точки зрения, проблесков гениальности: сговорившись с медиками, он поставлял больным шерсть и выкройки из модных журналов, а они ему — готовую продукцию. В результате врачи получали ощутимую прибавку к зарплате, больные — трудотерапию, население — модные вязаные кофты и жакеты. Ну а фабрики, откуда воровали шерсть? Я так скажу: нашему государству все не впрок. Не укради у него шерсть, она бы так бестолку и свалялась.

Автор статьи требовал для злодея то ли лагеря строгого режима, то ли расстрела, а я, восхищаясь его коммерческой хваткой, думала: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес...»

Блок: «Почему нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?»

Шкиперская бородка, блондин, подтянут, некрасив, лицо значительное, улыбка открытая, капельку наивная, простодушная. Сказал, когда нас познакомили: «Я всегда хохотал, вас читая». Без приглашений большинство, но все прошли. Малый зал набит. Сажу между Кроном и Григорьяном. Впервые увидела Коржавина.

Обсуждение «Ракового корпуса». Ноябрь 66-го.

Борщаговский — много и хвалебно. «Иван Ильич» Толстого.

Каверин: прогулка с Тыняновым, пыль от грузовика, не замечаешь, какходишь в пыль, не замечаешь, когдаходишь в другое время. Новые имена: Конецкий, Семин, Можаяев, и лучший среди них Солженицын. Читают тех, кто не поддавался, сопротивлялся,— Бабеля, Заболоцкого, Булгакова, Пастернака и вот новых. Рукописи по рукам ходят. Надо бы их все печатать, это было бы лучше, не создавало повышенного интереса. И обсуждать бы надо не здесь, не тайно, а в Большом зале, открыто. Но вся эта тайна и замалчивание... Он большой писатель, а это ему помогает стать писателем великим. Такого писателя мы ждали давно.

Винниченко — круглое лицо, нахально-застенчивая усмешка, вид чиновника. Сначала извинялся, что он, дескать, новый среди писателей (а если новый, почему уже в начальниках?). Затем: надо ли пугать людей показом болезни рака? Это тяжелое впечатление произведет о бессилии науки. Русанов-сталинист написан в лоб, и дочка Авиэтта глупые вещи говорит.

Асанов — поначалу хвалил. Но книга опасная. О чем речь? Аллегория. О раковой опухоли общества! И, значит, общество больно безнадежно.

Славин — добродушно и хвалебно.

Кедрина: товарищ Солженицын писатель начинающий и, надеюсь, мужественно выслушает критику. Объективизм. Кап-кап. Зачем Русанов? Такие люди давно и бесповоротно осуждены каждым советским человеком (шум в зале). И почему не показана жизнь за стенами больницы? Наша со-

ветская кипучая жизнь! (Люди стали выходить, и я за всеми. Крик предс. Березко: неуважение к оратору! Смех.)

Кабо: начала читать с тяжелым чувством, но потом оно прошло от силы искусства.

Сарнов: Шкловский говорил, что Булгарин не травил Пушкина, а давал ему руководящие указания. Выступавшие здесь Асанов и Кедрина тоже давали руководящие указания (Березко прерывает: как вы смеете сравнивать сов. писателей с работниками III отделения? Голос: не оскорбляйте III отделение!). Сарнов — табель о рангах: гостевой билет на съезд — одна шпала, делегатский — две и т. д. Рядом: А. Толстой, Горький, Чумандрин и Каравалева. А Булгаков даже гостевого не получил в 1934 году!

Карякин: кто осуждал «Один день»? Специально смотрел отзывы загр. печати, ругал кто? Китайцы, корейцы, албанцы. Когда обвиняют и нападают на «Один день», за этим слышится хунвейбинство, ненависть к интеллигенции и демократии. Высший суд искусства. Фетюков опустил до последнего, окурки подбирал, «а если разобраться, было его жалко». После этого или повеситься, как Иуда, или искупать. Чаша весов: на одной вечность, на другой современность.

Затем Бакланов, Турков. Тагер: зло, если его обнажают, говорят о нем, уменьшается, но растет, когда его замалчивают. Мальцев — против доноса Асанова и против Сарнова.

Солженицын. Благодарил. В Рязани бы так не обсудили. Много нужно. «Один день» — внутр. свобода объяснялась тем, что не думал, пройдет или нет. Напечатали. Стал думать. Опять не печатают. Плюсы и минусы. О Русанове: ругали, значит, не удалось. Но ругали противоречиво. Буду думать. Авиэрта — да, фарс, фельетон. Но не мой. Ни одного моего слова, цитаты из крупных литературоведов, искусствоведов. Современность и вечность: переложить первое — мельчить, второе — неинтересно читателю. Причины, которые сделали Русанова? Постараюсь. Не думаю, что это облегчит судьбу вещи, но постараюсь.

Юра Айхенвальд: «тоталитарная задушевность».

Люша Чуковская. Умна, застенчива, дичится немного. О характере деда: «меня простудили». Его письма и ходатайства за всех. Сестры из больницы к нему в гости, и всё про них знал. Говорил, что не читал «В круге первом», но иногда проговаривался... Не хотел знать, чтобы не реагировать. А сестры в больнице говорили: это — номеру 90, это — 89-му, а это — Корнею Ивановичу.

Приходил старик писатель из Алтайского края. Читал стихи: «Хотя прозаик я дурной, но стал зато лауреатом. Враги! Дрожите предо мной! Какую злодейке Ильиной, на бой с Твардовским-супостатом!»

Явление Белочки Ахм. с колокольцем, Геннадием и Таней К. Таня совсем девочка, стихи странные. Одно кончается: «...и меня не узнала мать». Белла: «Какое отчуждение!» Гост: «Ваш высокий дом...»

Твардовский: «Надоело мне так долго вас не видеть».

...Нечеловеческий голос сообщает: рейс задерживается, отлет в 21 час с минутами. Встречаю девушку, миловидную, в очках, едет к мужу в Африку, впервые за границу. Идем в буфет пить чай. Ищем мелочь, боимся тратить. Она восторженно глуповата: ах, ах! Рядом две старухи в плюшевых жакетках с авоськами. Спод Харькова. К сестре в Манчестер летят! Транзитные

пассажиры из Токио, легко одеты, трясутся в автобусе к самолету. В самолете поначалу холодно, пледы. Старухи впереди. Занимаю одна три места — почти пусто. Прилетели. Вышла — никого. Озираюсь. Ольга, Морис. Желтые фонари Лондона, которые я видела сверху.

Театр Плейс. Публика Бог знает в чем. Девушка: черная шляпа, серьги, роза, джинсы и платок вместо блузки. Что на арене, неясно. Какой тут диалог, Достоевскому слова не дали. Князь Мышкин с крестом поверх косоворотки, подпоясанный, в старом пиджачишке и брюках с рваной коленкой. Поет. Настасья Филипповна, Рогожин и князь меняются крестами. Натуральные припадки с пеной — дергается, плюет, кашляет, кровь бежит изо рта. Деньги сжигает на сундуке в какой-то плошке. Аглая посылает князюдохлую мышь. Епанчина по этому вопросу поет...

Едем в Тонбридж. Все покрыто ржавой листвой, зеленые стволы буковых деревьев. Машину обгоняют верховые, гончие — и всё это куда-то ринулось... Старый официант с негнушимися ногами, все поминутно роняет и с трудом поднимает. А на вид бодр, седые усы. Окна решетчатые. Есть соломенные крыши. Кирпичные дома, люди гуляют с собаками. Прекрасный дом Тэйлоров, вид на лужайку. Правнук Диккенса живет тут же где-то.

Началось с конца октября 77-го... Утром сказал: «Не могу встать». Невропатологша Аврора из нашей поликлиники определила интоксикацию.

Потом лучше, потом снова.

Более или менее бодр. За столом. Дэвид называет его «сэр».

Слаб и лежит. Леня начинает ходить с утра. Витя<sup>1</sup> и дядя Вова мастерят на кухне унитаз — стул и сиденье.

Держит Диккенса, «Пик. клуб», вверх ногами и говорит, что у этой книги есть две части, первая и вторая. Я и Гуля<sup>2</sup> плачем в соседней комнате.

Страстная пятница. Приезжают Над. Вас. и Маша. А. А.: «Мама! Это ты! А я не смел просить тебя приехать». Она наклонилась над ним, и они сжали руки и молчали. На это я уехала...

Меняли с Машей простыни и содрали ему пролежень. Стонал долго. Молился и стонал.

Мрак, мрак, мрак. Полуживой, с закрытыми глазами, все время дремлет.

Куличи, Пасха. Просил не трогать его, но решили поднять, и он сидел измученный, худой, похожий на снятого с креста...

Впервые возвращаюсь одна в пустой дом.

«Глядя на сей “якорь спасения”, думаешь:

1) Натали мила.

2) Нэйтители готова через любое на любое.

3) Тата с детства была настойчива и уладиста.

4) В ей есть шарм, особый, бабий, + энергия.

5) В Н. И. Ильиной чувствуется незаурядный талант, который ставит ее к одному корыту с покойниками (то есть Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, Ильфом, Третьяковским, А. С. Пушкиным и В. Е. Ардовым).

6) Кроме всего прочего, miss Pep<sup>3</sup> нежна и... ну, скажем, внимательна.

7) Римская католическая церковь уже давно причислила ее к лику, только не помню, чего (говорят — блудниц. Дашенька рассказывала...)»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Леня и Витя — любимые ученики Реформатского. Леонид Леонидович Касаткин — фonetист, диалектолог, зав. отделом Института русского языка РАН. Виктор Алексеевич Виноградов — лингвист, зав. отделом Института языкознания РАН.

<sup>2</sup> Гуля и Тата — детские имена сестер Ильиных.

<sup>3</sup> Псевдоним Наталии Ильиной в газете «Шанхайская заря».

<sup>4</sup> Эту записку А. А. Реформатского, написанную от руки на случайно подвернувшимся мятом листке, Наталия Иосифовна бережно сохранила. Реформатский был озорник и свою нежность к жене выражал своеобразно. Он и частушки про нее сочинял.

У Панова<sup>1</sup>. Квартира, книги, растения и тополь на балконе. Ученое заседание. Станный выбор присутствующих. Есть Широков, нет Вити Виноградова... Будто нарочно почти нет учеников. Яркий день. Панов вспоминал об орфографической комиссии: дамы-педагоги настаивали все приставки писать отдельно, А. А. сказал: «У Луначарского был лозунг — “назад к Островскому”. Как прикажете писать?» Убил наповал.

Завтрак с Вовой Кандауровым и Жанет в Булонском лесу. Чудный день, девятнадцатый век, зонты, огромные каштаны.

Гуляю не много, болят ноги. Площадь Микель Анж, мусор возле рынка.

Сороковой день папы. Едем к Ирине Комо. Долго плутаем в поисках Сен Женевьев. Панихида. «Младенец Иван Толстой» и маленькая луковица церковки на могиле.

В. говорит, что готов жить в любом городе дома, если б Анька согласилась. Художников не покупают. К Целкову, в его роскошную квартиру, приехала теща, походила по магазинам и спрашивает: «У них это всё каждый день выбрасывают?» Явился незнакомый тип из Мюнхена на чьи-то похороны, весь день отъедался, В. на свои деньги его отправил.

14 июля был ихний праздник. Толпы народа. Вероника, я и Дима на плечах Жилия. Ужин в роскошном рыбном ресторане. Вспоминали А. А., «дядю Сашу». Вышли во тьму, в огоньки моря. Вероника обняла меня, приникла: «У тебя на кухне лучше...»

«Больной сотягощенным анамнезом» — это я. По блату. Операция через две недели. Пишу фельетон. Хожу в курилку.

Операция. Наркоз. Сломанная каталка. Милые друзья с морсами... Трехнедельное нетрудовое лежание. Тихий час. Крики: «Пойду моих бабушек кормить! Без меня некому!» Орут как в лесу. Доктор Георг. Ник. неглуп, остер: «Несмотря на лечение...», «Я не строитель, чтобы выпускать с недоделками». Он же: «Одна ставка — есть нечего, две ставки — есть некогда».

«Наташа, ты ничего не знаешь? Юра умер!» Телефонный звонок Люси Верейской из Пахры двадцать восьмого марта 81-го года в субботу. Около часу дня или немного раньше, не помню.

Юра Трифионов умер.

Суббота и воскресенье — телефонные звонки о нем, мысли о нем. Вечерний звонок Люси, подробности (не ночь, утро, чай, бритье, газеты, поси- нел, выронил газету, откинулся, хрипит, тромб).

Мои на кухне слезы, всё вместе, все под Богом, тщетность всего и суетность, и жалость к нему, и борьба с собой, попытки отмести все мелко-суетное, что наряду с крупным лезет в голову... Опасное дело поток сознания — сколько всякой мерзости и мелкости туда вливается. И методичные записи Лидино типа — тоже дело опасное. Все подряд. Не надо все подряд, давно думала об этом. Отбор нужен. (Вспоминаю слова Ахматовой о «худож. театре»: все как в жизни. А чего-то они давно не ели. А не пора ли им уже в уборную?)

В первый раз увидела его в августе 49-го. Общежитие Литинститута. Явился по какому-то делу к Ольге Кожуховой Юра, «любимец Федина». Оч-каст, серьезен, курчав, молод — ему всего 24 года в том августе, значит, исполнилось? Я на своей койке разговор слушала и не слушала, вся в ощущение

<sup>1</sup> Михаил Викторович Панов — известный лингвист, глава современной Московской лингвистической (Фортунаговской) школы.

нии моего с ними неравенства: кто я и кто они, уже печатающиеся и т. д. На меня, естественно, ноль внимания, кажется, потом и не вспомнил о той нашей первой встрече.

Октябрь 60-го. В «Новом мире» только что прогремел роман «Студенты». А с лета, с июля, — мой роман с А. А. В «Гавриках» обсуждение «Студентов», А. А. берет меня с собой. Опоздали. Пустили нас через заднюю дверь, в спины президиума, лицом к студентам, а они, увидев Реформатского, прервали в тот момент выступавшего аплодисментами. А. А. почтительно усадили, забыв про меня. Но он не забыл, начал тревожно оглядываться, где я, и меня усадили, но с ним не рядом.

В президиуме — Юра (а кто еще, не знаю), тот самый любимец Федина. Очень суров, очкаст, его хвалят, хвалят. Берет слово А. А. — я встревожена чрезмерной темпераментностью его выступления. Он рассказывает залу о Трифонове-студенте, вспоминает какой-то его благородный поступок, — речь, смутно помнится, шла о том, что его обвинили в шпаргалке, а он сказал, что готов отвечать любой другой билет, и роскошно ответил. Видимо, гнусным обвинителем был Бельчиков, ибо затем весь темперамент и гнев А. А. обрушился на Бельчикова. Стуча кулаком по кафедре, А. А. восклицал по поводу Бельчикова что-то очень неодобрительное, а я, зная, что он под банкой, очень тревожилась.

А дальше как с Юрой? Туман. ЦДЛ. Юра идет с невысокой блондинкой, знакомит меня: «Моя жена Нина»; опять туман, но почему-то моя мать во второй половине 50-х дает уроки английского Юриной дочке Оле, откуда, как, почему — значит, виделись? — ничего не помню. В Голицыне в 55-м мать снимает комнату, а за забором Юрины «бопараны», которые с мамой знакомы (не оттуда ли уроки с Олей?) и которые после кончины Нины (где-то на курорте, на водах) долго терзали Юру, отравили ему жизнь, обвиняя в смерти дочери... мерзкая история, мной знаемая не помню от кого, но не от Юры, мы тогда еще были далеки. Юра пишет, печатается. А. А. очень нравятся его среднеазиатские рассказы, особенно «Очки», мы о нем говорим, но жизни еще не пересеклись.

Сблизились мы гораздо позже. С 68-го по 77-й включительно Реформатский и я проводили летние месяцы в маленьком доме на дачном участке наших близких друзей, художника Ореста Верейского и его жены Люси. В том же поселке жил и Трифонов. Виделись часто.

Вечер. Август. За окном тьма, шуршит дождь по листьям берез, обступивших домик, печка топлена, тепло, уютно. Юра сидит на кровати сторбившись, упершись локтями в колени. Все мы трое изменились, постарели за те десятилетия, что прошли с обсуждения «Студентов». Юра уже не прежний худой, кудрявый, спортивный, с немного напускной молодой мрачностью; поредели темные волосы, бросил курить, перестал играть в теннис. Они с А. А. говорят о шахматах, о литературе, об истории России, вспоминают Литинститут, а я в соседней комнате накрываю стол (сейчас будем чай пить!)...

Для выступления на вечере в ЦДЛ.

«...Художественность в писателе есть способность писать хорошо. Те, кто ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать плохо. А уж если согласиться, что позволительно, то отсюда недалеко и до того, что просто скажут, что надо писать плохо!» О чем тут речь? А о том, что, по Достоевскому, писатель без таланта — как хромым солдат на войне. Один хромает — бросается в глаза, но, если захромала вся армия, может показаться нормой. Опасно.

Телепередача два месяца назад удалась благодаря присутствию Трифонова. Режиссер много снимал его в последние годы, показал эти кадры, и

они были прекрасны. Что значит «писать хорошо»? Трифонов отвечает: думал сначала, что главное — сюжет. Потом — слово, потом — мысль. Но понял: если есть что сказать, слова придут. Делать свою мысль ясной, этому пишущий учится всю жизнь.

Зримость: читатель должен видеть. Центральный парк — это вот что: шаркающая толпа, гул голосов, ключья музыки, обертки мороженого под ногами, в урнах сам собой загорается мусор, человеческий вар в лабиринтах аллей и т. д.

Отбор. Емкость. Настроение. Повесть в рассказах «Опрокинутый дом». Пронзительные концовки: «Далеко на севере был наш дом, там сейчас стояли морозы...» А вот: «Обратно мы ехали побережьем, и море лежало в сумерках громадной сине-голубой простыней, под которой можно было спрятать всех, всех, всех».

Семинар Литинститута, Юра читает рассказ; ругали, мололи, перемалывали, Федин кулаком по столу: а я вам говорю, Трифонов писателем будет!

«Студенты». Премия. Слава. Но прошли годы, и... «От своих книг не отказываешься. От них уходишь». Не дал мне перечитать «Студентов».

Искал свою тему, приближался. Нашел в «Обмене».

Посчитайте, сколько действующих лиц в «Старике» — вещь небольшая, а сколько там людей, и каждый виден. Это не я открыла, а Карякин, чем самого Трифонова удивил, тот писал в какой-то статье: мой друг Карякин подсчитал...

Перечитала на днях «Нетерпение». Гениальное по точности и лаконизму название. Достоевский: не современного искусства нет. Если не современно — значит, не искусство. Роман испещрен пометками Реформатского; единственный раз — «так тогда не говорили». А в некоторых сегодняшних исторических романах Боже мой... «Сашка, умоляю, не напивайся...» Кто говорит? Императрица Мария Федоровна своему супругу Александру III. Этими ли словами? А дамы конца прошлого века: «Сонечка, не переживай», либо — «жутко устала». Ой, чего-то я жутко устала...

Между прочим: «Дорогая Натали, дорогой Сан Саныч, сочинения сии не читайте на ночь. На Пахре цветут сады, воздух здесь чудесный, нетерпения плоды нам теперь известны...»

Шутку любил, понимал, мгновенно откликнулся, с полунамека,— эта его незабываемая усмешка: дрогнут губы, веселеют глаза, светлеет лицо. А громко смеялся редко.

Смерть его — потеря для нашей литературы. А для меня... «У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает». Потеря друга. Собеседника, советчика. Человека, а таких становится все меньше, кто знал и помнил мою мать. Ему давала машинописный черновой еще вариант моей повести о матери.

В последние годы он был полноват, вял, увалень, в облике его мне чудилось что-то «пьербезуховское» — это от шедшего от него ощущения честности, надежности, доброты и порядочности, от его умного из-под очков взгляда.

Это был прелестный человек. И очень грустный.

Возвращаюсь после выступления из Дубны. Сажу рядом с шофером Сережей. Блондин лет двадцати семи, волосы у висков кудрявятся, хороший профиль.

Ну поначалу о Дубне, как здесь красиво, о лошадях и санях, о поразивших меня кавалькадах, как, дескать, здесь детям славно. Сережа: верховая езда доступна лишь элите, в месяц рублей пятьдесят или двадцать пять. «Я в месяц сто восемьдесят, супруга сто; квартира, одеться, покушать». Едем. Пейзажи. Выясняется, что сзади сидящая женщина — мама. Мама подает голос: «Сынок это мой». Гостила у сына, «Сережа вас отвезет, а потом меня в Снегири». Вынимаю бутерброды, предлагаю, вывернув руку, маме. Она: спасибо, сноха накормила.

Беседуем с Сережей об автомобилях и дорожных происшествиях. Рассказ о лосе — из-за него, внезапно выскочившего, погиб шофер из Дубны. Случай с самим Сережей: пьяный за рулем на грузовике навстречу, виляет, Сережа везет иностранцев, один выход — в кювет. «Оцениваю обстановку, принимаю решение», — завалились набок, машина пострадала, но все целы, ни царапины. Жена работает в универсальном магазине. «По этому вопросу неоднократно дискутируем, но без пользы». «Хотите, чтобы она переменила работу?» Сзади глубокий вздох, почти всхлип: «Рано женился, сынок!» «Мама, все нормально!» Пауза. Мама за спиной: «Мы с отцом мечтали...» «Мама!» Сережа поведал, что любит самодеятельность, раньше (в Снегирях) в клубе пел в хоре, играл на гитаре, а в Дубне балетная школа есть, а хора нет. «Мое здоровое увлечение применить не в состоянии». Зато теперь волейболом увлекся, «на этой почве тоже дискутируем с супругой, я к ей имею здоровое увлечение, водку не пью, тебе бы радоваться...».

Горячо поддерживаю здоровое увлечение. Хвалю окрестную природу. Мама мне в спину: «Вы бы видели, какие поля в Тамбове, мы тамбовские сами... Всего вдоволь! А дороги — хуже некуда». Рассказ о деревне под Тамбовом, где живут ее мама и сестра. «Все свое, всем угощают, нет, Катя, ты моего варенья попробуй, кваску отведай. Последний раз еле добрались, говорю, ты, мама, не обижайся, больше не приеду. Трактора и те застревают». Сережа мрачно: «Всего двадцать километров от райцентра. А была б дорога...» Я: «Молодых совсем нет?» «Есть, которым деться некуда. За хулиганство на работу не берут, вот и сидят возле бабок. Сколько свеклы гибнет неубранной и даже пшеницы, смотреть страшно». Рассказ: некто на свой страх и риск сеял клевера, хотели из партии гнать, а он своими клеверами потом всех спас... Мама: «Что же наши вожди, не видят, что поля неубраны стоят?» Сережа: «Тем помогаем, этим помогаем, а свои как беспризорные живут, свеклы одной, свеклы...» Мама: «Я мужу говорю, напиши куда следует, вожди не в курсе...»

Дмитров. Памятник. Сережа — историю памятника. Запросили миллион, дали триста тысяч. А он дутый.

Когда прощались у моего подъезда, впервые увидела маму в окошке автомобиля. Неожиданно оказалась красавица: синеглазая, белолицая, моложавая. Приглашала к себе в Снегири.

Явилась Петраковская! Молода, некрасива, блондинка, золотой зуб, простовата, привлекательная улыбка. Хакает, грубовата, но что-то в ней есть.

Биография. Родилась в 55 (!) году. Мать балерина, вынесла лен. блокаду... Выгнали из балета, ибо была послана с другими танцовками на лоно природы развлекать начальников и отвергла кого-то из них, желавшего, естественно, переспать. Вскоре сошлась с кем-то и родила Петраковскую. «Папаша мой где-то тут по соседству с вами проживает. И хочу его повидать и не хочу. Так и не решила». Мама сдала малютку в детский дом, откуда ее взяли в дети добрые люди, была она какое-то время Сарой Гольденберг. Но тут мама спохватилась, стала искать, и в возрасте двенадцати лет они с мамой встретились. Долго не могла привыкнуть, называла Ниной Дмитриевной. Мать переживала, даже ослепла. Но потом прозрела. Живут в Донецке. Двухкомнатная квартира. Ребенок Настя, три месяца. Мужа нет. Работала всяко. Рассказ о замороженном немце. «Мальчишечка бедный! Мамка-то, поди, все глаза проплакала по нем. А он тут у нас лежит!» Сильное впечатление.

Партийная. Была в Литинституте. Схватила тройку. Решила поспорить о соцреализме: ей сказали, что она вышла за его границы, она: «А где его границы?» Обругали: «Антисоветские настроения». Участие в совещании молодых. Рассказ о замороженном немце застрял в «Знамени».

«Вас знают и очень боятся! Я сказала одному приятелю, что вам хочу показать рассказ, он покрутил пальцем: рехнулась? Она грубая, дерзкая, никого не

признает (не обидитесь?)». Я: «За что это меня?» Она: «Вы критик!» Выясняется — читала только «Светящиеся табло». Ничего другого не знает!

«Я вас вычислила, но неверно. Совсем другой представляла». Описывает: старушка низенькая и очень полная. Капот черный с четырьмя крупными пуговицами. Карманы. Рукопись из кармана торчит. Очки с толстыми стеклами. Сразу с порога жалуется на болезни и что к ней не ходит никто, одинока и завалена работой.

Я: насчет работы и старушки — это верно.

— Да ну что вы! Не старушка. Пожилая, и все. И поджарая.

Уходя — спасибо. Душу отвела, с вами поговорила, будто горяченькой водички напилась!

Еще один визит. Прочитала в «Октябре» мой «Дом на берегу океана». Училась в харбинском коммерческом училище в 23-м и 24-м годах, «вспомнила маленькую беленькую девочку» — меня. Позвонила. Голос тоненький, интонации унылые, слова банальные. Встретились.

Маленькая толстенная женщина в паричке. Приделась. Заботливо принесла тапочки. На улице я бы ее, конечно, не узнала (она меня, вероятно, тоже), но вглядываюсь, и в старом лице с обвисшими щеками минутами проглядывает то, мне знакомое, свеженькое детское румяное личико, и голубые глаза вместо теперешних, ставших почему-то бледно-зелеными.

Как всем, кто приходит впервые, показываю свою комнату, «выставку фототрафий», — ее это заметно не интересует, скользнула равнодушным взглядом. «Молодая Ахматова», говорю я, а это «Ахматова, какой я ее знала», — интереса ни малейшего. Думала, спросит: а где твоя мама? Не спросила. Называла меня «Таточка» и на «ты». Сказала, чтоб не вздумала ее кормить. Вот чаю позже выпьет. Я: по рюмке коньяку? Улыбнулась слабо: что ты! моя аритмия!

Сначала посидели в большой комнате — портретам никакого внимания. Впрочем, Елизавета Васильевна<sup>1</sup> вызвала слабый интерес: «Какая красивая, кто она?» После чего — монолог. Она должна рассказать мне свою жизнь за последние шестьдесят лет, что мы не виделись. Но сначала обменялись подарками: я ей «Судьбы», она мне — два отгиска и книжку «Захват Бурских республик Англией». Я увидела начальную фразу: «Мощный подъем революционно-освободительного движения в Африке нанес сокрушительный удар по английской колониальной системе». Очень благодарила.

«Так вот, помнишь, Таточка...» Харбинское училище стало советским, превратилось в техникум, она его закончила. С 32-го года — в СССР. Папа работает, она в университете, мама дома. 37-й год. «Ты не знаешь, что тут творилось!» «Да нет, знаю». Бледная улыбка. «Это надо было пережить». Замолкаю. Верю. Да, надо было пережить. Арест папы осенью 37-го. Папины глаза, когда его уводили. «Никому никогда об этом не рассказывала... только тебе, ты родной человек!» (Я удивляюсь. Был первый любимый муж, есть второй, почему надо было ждать меня, которую она знала девятилетней? Но, естественно, молчу.) Переходит к войне. Голодали. Было адски трудно, я этого не знаю. Пытаюсь сказать, что кое-что все-таки знаю и, между прочим, у меня две тетки пережили ленинградскую блокаду, а это страшнее того, что делалось в Москве. Но никак не могу прорваться, голос ровный, тонкий, унылый, с понижениями в конце фразы, — что бы я ни сказала, никакого внимания, рассказ течет, льется...

«И вот война кончилась, а я все повторяла: мы живы, мы живы...»

Я: да, да, я очень понимаю, мои две тети...

«Мы живы, — журчит голос, — живы, мама, подумай, мы живы...»

— Мои две тети...

На этот раз меня услышали, но отбросили на исходные позиции.

<sup>1</sup> Е. В. Мусина-Пушкина (род. в 1827 г.) — двоюродная прабабка Наталии Ильиной. С нее И. А. Гончаров писал Ольгу Ильинскую в «Обломове».



— А у меня четырнадцать родственников во время ленинградской блокады погибли.

С тетями я больше не совалась.

Рассказ о смерти матери. Мать умерла от гипертонических кризов. С двух ночи до пяти утра мама все повторяла: «Я умираю... умираю... уже умерла... Нет еще... Умираю, Ируся, детка, умираю...»

Воспользовавшись паузой, предложила перейти в кухню. Ели колбасу, хлеб, масло. Несмотря на аритмию, выпили коньяку. Меня это несколько оживило. Дало силы свернуть беседу на иные рельсы. Харбин. Кого из девочек помним? Стало веселее. Я вскакивала, наливала чай, Ира заметила, что я ухитрилась сохранить фигуру.

— Нам с тобой, Таточка, наших лет не дашь, потому что...

(Почему же «нам»? Мне, может, и не дашь — издали и из-за фигуры, а тебе... Но, конечно, молчу.)

—... потому что: духовность! Мы живем духовной жизнью, это в глазах, в выражении лица. Скажи, сколько часов в день ты посвящаешь творчеству?

Этот сорт людей любит громкие слова. Отвечаю, что пытаюсь работать утром, часа эдак три. Поскольку давно терплю, охота и о себе, начинаю о том, что пишу трудно: чем я старше, тем труднее... Перебили:

— А я легко. Фразы сами ложатся на бумагу (еще бы: «мощный подъем революционного движения»). Очень хочется засесть за воспоминания. Но аспирантура, профессура, докторантура, тяжелый микроклимат в институте. А надо бы написать, такая была жизнь удивительная.

— У всех удивительная, — врезаюсь я.

—... а вот художественного еще писать не пробовала. Не знаю, получится ли?

— Конечно, не получится! — объявляю я с полной откровенностью, коньяк помог, и ловлю легкое удивление на бледном лице. — Откуда может получиться? Этим смолоду надо заниматься. Но ты пиши, не старайся художественно, записывай факты.

Перешли в большую комнату. Рассказ о покойном муже-профессоре. Вышла замуж совсем молодой, он старше на восемнадцать лет, столько всего ей дал. Десять лет как его нет на свете, а она первое время, войдя в квартиру, каждый раз в передней произносила: «Сереженька, я пришла...»

— Понимаешь, года два, войдя, повторяла...

Время от времени звонил телефон. Звонки хорошие, приятные: издательница из Болгарии, Никита Ильич Толстой, милый доктор Крель. Я бегала в другую комнату, радостно с ними разговаривала, возвращалась; гостя, которую отлучки мои не смущали, как заведенная начинала на том месте, где остановилась:

— «Сереженька, я пришла», — и так два года. Стою одна в передней и громко: «Сереженька, я пришла...»

В одиннадцать решила меня покинуть. В передней целовала и называла родной. Звала в гости. И на выставку второго мужа-художника (о нем тоже был рассказ). Ушла довольная.

Иногда (редко) обедаю в «Интуристе» после парикмахерской. Пройти надо сквозь кассиршу. На кассе надпись: «Ланч. 3.99», даешь пятерку, тебе — рупь сдачи. Подхожу к кассе одновременно с молодым мужчиной, кассирша ему: «Не могу. Вот мадам пропустить обязана, а вас — извините». Иностранкой я не притворяюсь, говорю на чистом русском. Обедаю за столом с упитанной блондинкой средних лет, видимо, из работников «Интуриста», так потом и оказалось, гид, привезла группу из провинции. Обращается ко мне по-английски. Изумлена: «Такой у меня опыт, вроде не ошибаюсь никогда, а вас за американку приняла». «Это с моим русским носом?» «Дело не в носе... вы себя держите... ну вообще...»

Поймала себя на том, что мне это не-неприятно. В чем дело? Не русской же своей крови стыжусь? Нет. Советского облика, советских манер.

Оглядываю столы и мгновенно определяю, кто их, а кто наш. Кинешь первый взгляд — похоже; присмотришься — в правой руке вилка, в левой кусок хлеба, от которого откусывают «едя». Вот она, главная примета (шпион намазывал хлеб горчицей, поймали тут же!).

Сегодня за моим столом двое, он и она, молодые. Что-то пьют. Оба тут свои. Подошел официант в униформе с бляхой, которую нынче носят врачи и сестры в поликлиниках. Свойски налег на спинку кресла, делится: «Не вышел вчера. Ну — упал. Расшибся». Собеседник щелкает себя по горлу — дескать, под этим делом? Лакей Яша поднимает плечи, разводит руки — мол, с кем не бывает. «А этот меня вздрючил, даже к шведскому столу не допустил». Шутит: «Со своей живешь или с чужой?» Визави пьет водку из винного бокала, запивает лимонадом, и журчит беседа особого класса людей.

Звонок из ВОАП. Ищут наследников. «Нина, возьми трубочку. Она, оказывается, живая!» Пришла туда. «А я при чем? Вы у нас в картотеке покойников. Не я писала. Вот, смотрите! не мой почерк!»

ТВ. Сотрудник МВД с негодованием: «Пачку чая продавал за два рубля, а кусок мыла...»

Где бы мне найти этого, который за два рубля, подумала я. В сущности, недорого.

— Какая у вас раньше хорошая булочная была,— говорю кассирше.— Сколько разного хлеба, а теперь...

— А мы рады,— отзывается кассирша,— народу меньше, работать легче.

Исчезли толковые женщины, работавшие на нашей почте. Вместо них лица молодые, нередко суровые. Откуда нормальному человеку знать, сколько марок клеить на конверт и какую ставить печать? «Лена, ты не знаешь?» «Посмотри в книге». «В какой?» «Спроси у Светы». «Света, ты не знаешь...» Терпение. Они разберутся общими усилиями.

Рассказ Козинцева о Лондоне и внезапном вызове в наше посольство. «В восемь утра вызывает посол. Срочно!» Помчался. Посол: «Всем ли довольны?»

Рассказ Гердта о гастролях в Югославии. Его пригласили помочь в любительском спектакле, и он же их дождался сорок минут.

Рассказ Лакшина о венгре с бутылкой минеральной воды. Откупоренные в фойе разливала одна, другая отпускала неоткупоренные. «Этот хотел, чтобы ему открыли!» О нашем сервисе: «с доставкой на х...»

«Водила (таксисту), до чучела дотянешь?» (Это памятник Марксу.)

«Зеркально! Метелки, падай!» (Вроде «ложись»?)

Опять больница. Милые соседки: вместо доброй Нелли с позвоночником добрая Алла с поломанной рукой. В курилке познакомилась с Колей из мясного магазина на Рязанском шоссе: «Для вас всегда вырезку организую».

В 18 часов — в Лавку писателей. Дают пять «Агат». Меняю «Агату» на бутылку водки и «Мальборо».

Рекомендую всем новую машинистку. Очень грамотная. На полях пишет: «Мысль спорная», «Никто у вас это не пропустит» и т. д.

Вечера на кухне.

Володя Лакшин вернулся из Ялты. Рушат дом Раевских в Гурзуфе. «Надо, чтобы люди отдыхали, к чему эти развалины?» Для них нет прошлого.

Милому доктору Крелю позавидовал некий врач из 4-го управления: «У вас больница для бедных. Хорошо, легче лечить. И, главное, можно друг с другом говорить о больных».

Мой друг Боря Можжев. До ночи монолог о троцкизме и пр. течениях.

Четверг, лингвисты. Володя Успенский<sup>1</sup> цитировал Миниха: «Государство Русское управляется самим Господом Богом, иначе непонятно, как бы оно существовало». Сима — о фильме «Звезда Вавилова» в Политехническом музее. После фильма выступал старик, дескать, фильм хороший, но сплошные умолчания. «А я все скажу! Умер Вавилов от пеллагры! В лагерях было сорок миллионов!» Владимир Еффраимсон, так его зовут; сделал научную работу, ее не опубликовали, а потом американец за это же получил Нобелевскую премию. Три года сидел, вышел в 48-м, сессия ВАСХНИЛ — сажают снова. 78 лет, работает по десять часов в день.

Hélène<sup>2</sup> пришла из Ленинской библиотеки. Час стояла в очереди в раздевалку (некуда вешать!). А в читальном зале полно свободных мест. И никто не возмущен!

Фазиль Искандер: «Листая наши старые газеты, испытываешь ужас. Хотя это было мое время. А читаешь дореволюционные газеты и журналы — все близко, знакомо, живая жизнь!»

Таня Толстая с Андрюшей Лебедевым и Баткин. Много орали о Платоне и о том, изменяется ли человечество. Ушли в час ночи.

Михаил Жванецкий со свитой. Предлагает быть консультантом («арбитром вкуса») при его «Magazin». Мечтает о времени, когда начальник, специалист и интеллигент будут в одном лице.

Утром Гуля смотрит Кашпиоровского: «Старец Зосима!»

Малеевка. Начало дружбы со Шмелевыми. Мы с Ритой вечером едем за коньяком (70 км). Тучково, Дубки: разрушенная церковь, а напротив барский, тоже разрушенный дом — Хичкок. Сопровождал на Селикатный завод добрый встречный мужичок. Была деревня — песчаный карьер. Вернулись ни с чем.

Концерт Толи Ведерникова. Зал полупуст. Между его харбинским концертом (мальчик семи лет) и этим — вся жизнь!

Лиде Чуковской сделали операцию. Второй глаз не пожелала («Мне все равно, какая собака у Катаева»).

Лида — Ире Федоровой: «Пять лет не видела себя в зеркале».

Переделкино. За обедом Липкин о давнем разговоре с А. А. Она гневалась по поводу автомобильной истории с Беллочкой (застряли посреди Садового кольца). Липкин: «Это с каждым могло случиться». Ахматова: «С Наташей Ильиной это не могло случиться никогда!»

Для главы «Мои читатели».

Некая Марина: 21 год. Работает на складе, выписывает наряды, вокруг мат, грузчики. Она читает «Реформатского» и плачет.

Звонит Н. И. Ефимов из «Известий»: «Вы мешаете работать. Не могу оторваться от вашей книги».

Ругательное письмо читательницы. Дескать, я была скверной женой (защищает Реформатского от меня!). Володя Усп.: «Это вам лучший комплимент».

Письмо от китайки из Харбина.

<sup>1</sup> Владимир Андреевич Успенский — математик и лингвист.

<sup>2</sup> Элен Каррэр Д'Анкокс — историк, постоянный секретарь Французской академии наук, член Европарламента.

За автографом некто Кирпичников, Андрей Петрович, из Казани. Чернобород, молод. Я в гипсовых башмаках открываю дверь. Благодарит. Конфеты «Птичье молоко».

Звонил читатель Герман Юрьевич Орлов: «Если купить картошки или вбить гвоздь, почту за честь».

Еще один поклонник. Смысл тот же: «Если кому надо набить морду — зовите».

Из общества слепых. Читают мою «Ахматову» по Брейлю.

Писала открытки. Чупахина старушка прислала за книгу, которую я ей подарила, 15 рублей!

В час ночи телефон: «Христос воскрес!» Я: кто говорит? Повесили трубку. Видимо, опять И-ва из К. Уверяет, что познакомилась со мной в Ялте сто лет назад. Атакует письмами. Была в Москве у детей, гуляла с внуком, пишет: «Я Вас видела. Зачем Вы прятались за деревьями?»

Врывается инженер из Челябинска. Хочу видеть квартиру, где жил Реформатский.

Вечером телефонный звонок. «Я — Липатова Галина Александровна, дочь Вертинского (?!). Родилась в 1943 году в Шанхае».

Письмо из Гродно. Пенсионер Александр Петрович Струнин приглашает в гости: «Много изумительных памятников старины, и в июле будет масса фруктов. Ей-богу, не пожалеете! Мы бы Вас встретили».

Опять письмо от И-вой из К. «Думаете, я уже померла? Нет, жива еще и, как видите, не забыла Вас. Только не надо зазнаваться, милая Наталья Иосифовна. Это не украшает. Я — не «каждая» и каждой писательнице не пишу. И ни с кем я Вас не путаю. Разве Вас можно с кем-то спутать, королевна?» и т. д.

«Октябрь» переслал два письма, из Ленинграда и Уфы.

От Ларисы Владимировны Поляк: «...дифирамбы непрофессионала хороши в микродозах. Хочу выразить свою благодарность в несколько необычной форме. Как я поняла, у Вас есть родственники в Ленинграде. Если им когда-нибудь понадобится стоматологическая помощь, я с удовольствием их полечу».

И второе, от Людмилы Волковой из Уфы: «...на географической карте разыскала неведомую мне доселе Пахру, в словаре нашла фотопортрет Реформатского, на плане Москвы пыталась по Вашему описанию определить улицу, где Вы живете. А как прекрасно было путешествовать по Италии... Конечно, Вы умышленно дразните своего старого друга, что он теперь не русский. Он русский человек. Ни француз, ни американец, ни немец не повез бы за границу на свои деньги женщину просто знакомую за просто так».

«Знаете, а ведь тогда, в августе сорок второго, я был в советском консульстве. Просился добровольцем на фронт». Это признание мой старый друг Вова Кандауров сделал совсем недавно. Шесть лет миновало с нашего итальянского путешествия. А сколько же с того шанхайского августа, когда мы познакомились? И считать не хочется!

— Мне тогда отказали.— Помолчав, с воодушевлением: — И правильно сделали! Один шпион может принести больше вреда, чем...

— Это вы, что ли, шпион?

— А шпион и не должен быть похож на шпиона,— рассудительно отвечают мне.

Ужинаем в ресторане на 21-м этаже гостиницы «Россия». Мой друг живет в «Метрополе», но вечер пожелал провести здесь. В какой-то из своих приездов останавливался в «России», огромная гостиница ему совсем не понравилась, но вид, открывающийся с двадцать первого этажа, пронзил. Вспоминал о нем в Париже, удивился, что я там не бывала никогда. «В следующий раз, если буду в Москве...»

Останавливаю автомобиль против центральных дверей. «Нет, нет, за угол, к северному входу». Подумать только, не я, а он в роли гида. На двери рестора-

на — «Мест нет». Швейцар суров. Мой друг протягивает две бумажки, швейцар смягчается. Нас пускают внутрь. Спешит метрдотель, берет бумажки, улыбается: столик готов. Эти двернотпирающие бумажки — квитанции; посещение 21-го этажа и ужин оплачены заранее в «Метрополе».

Сидим напротив друг друга за столом, как сживали в городах Франции, Италии. Но где, скажите, открывалось перед нами такое зрелище: сверху храм Василия Блаженного похож на драгоценную игрушку, горят в закатном солнце купола Кремля. «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал...»

«Ну как, ну как?» — спрашивает мой друг. Он счастлив, что может подарить мне еще и это.

Через год приехал снова.

Сдал. Плохо ходит. Плохо видит. Я за ним в «Белград». Но уверяет, что накануне много ходил: проклятые шоферы подвозят к «Белграду-2», и надо идти пешком.

Едем в «Космос». Светский тон. Останкинская башня. «Лифты у них есть? Непременно надо там позавтракать». Его саквояж тащу я. Он не протестует, бедняжка. Ввела, ввезла. Некая Света принимает нас. Вова ей: «Какой у вас элегантный костюм». Позже мне: «И она тоненькая».

Жду его у себя. Не появился. С двумя бутылками водки ходил рядом с домом, не мог найти: «Голубчик, все перестроено, вашего дома нет».

Пьет неумело, мало, не по-русски. За обедом литературная беседа. Орем. В зале много народу, азиаты и пр. «Правда ли, что Каренин — это Победоносцев? А Анна? А? Дочь Пушкина? Не знаешь? Сколько лет Пушкин и его жена оставались замужем? Разве у них были дети? Четверо?!» Войдя в номер: «Прекрасный обед. А вы вечно ругаете эту страну». Я: «Куда вы дели сто рублей?» «Голубчик, не знаю».

«Шоколад в койку», — неожиданный смех немого кагебиста.

О Жанет: я ее ночью зову.

Вечером звонок: я не очень хамил? Стар, беспомощен, трогателен. Целует дамам ручки, его под руку ведут к такси, а у него свой образ себя — бонвиван!

Звонок: за отель платить в сутки восемьдесят или восемьсот?

Звонок: вы звонили Жанет? Я: но вы же сами с ней говорили!

Утром решил один идти на Выставку достижений, или как она там. Обещал звонить, когда вернется. Вечером выясняется, что никуда не дошел. Весь день лежит в номере. Очень раскаиваюсь, что бросила его одного на целый день.

С моим рассказом о нашем путешествии по Италии Вова познакомился четыре года назад: «Читал и думал, как все-таки я утомил вас этой поездкой!» Я обомлела, в который раз изумившись его доброте. Вспомнив об Италии, мой друг усмехнулся:

— Согласитесь, что вы изобразили меня дурачком. Ну — милым, и все-таки дурачком!

— Вы не представляете, как вас все полюбили! Мои друзья, знакомые. Читатели пишут письма, ругают меня за то, что вечно с вами спорила, дурно обращалась.

— В России всегда любили юродивых, — серьезно отзывается мой друг.

Шестого — мой отъезд в Париж. Сосед — вежливый молодой армянин, называет меня «мама».

...Лица живых людей больше, чем музеи, интересуют. Злит хромота и зависимость от чужих автомобилей.

ТВ. Наш журналист Дм. Якушкин, красивый мальчик. Уклончиво о Марченко.

Прокофьевский концерт в Плейль. Слава, Галя. Восторги публики. Стукнули Гулину машину.

Коля Сарафанников<sup>1</sup> с вином, розами и клипсами. Заплакал, когда я подарила ему книгу.

Звонила некая Евлампия Марковна из Кинешмы. Упрекала, что я в «Реформатском» не сказала ни слова о дядях А. А., знаменитых ученых.

Маша Воейкова поздравляла старушку-учительницу с 7 ноября. Та: «У меня в жизни было два горя — кончина мужа и Октябрьская революция».

Говорили с Н. П. об экономике. Абсурд? Нет, логика. Бежит старуха с флоксами, а за ней — два милиционера.

Разговор в очереди писательских жен: «Он пишет классику или так?»

О биографии Юрия В.— «уже футляры без человек».

Люша о новом суде (по поводу дачи-музея в Переделкине). Председательница Литфонда: «Я не лжу!», «Тридцать вдов в аварийном состоянии!»

Мои домашние помощницы. Каждая новая лучше прежней.

Утренняя беседа с Кл. Ив.: «встала на комнату», «кто одиёт мои туфли?»

Вышла из больницы. Ал. Гр. связала колпачки на ноги: «Будете вспоминать меня как красивую песню. Как Гимн Советского Союза». Она же: «Я очень возбудительная», «Люблю эстетику!» Еще экспрессион де Ал. Гр.: «Он такой обманчивый!», «Он поднял меня на ура» (у нее это означает — надсмеялся).

Теперь — Галя. Упрекает меня в эгоизме: «И погода должна работать на вас!»

Когда Юриной соседке Вике пожаловались на ее кота, она ответила: «Хорошо, я ему передам».

Явление Марка Марковича. О Ахматовой: «Если бы не товарищ Жданов, ее бы никто не знал». О Реформатском: «Я его видел, был у вас лет двадцать назад, такой заваливший, а оказалось, профессор!».

На какой-то комиссии Вертинского спросили: что у вас есть, какие награды? «Ничего, кроме мирового имени» (рассказ Лили).

Читая, вижу то, чего не замечала раньше. Артрит: «протянул скрюченную руку». Близко касается.

То же с более высокими материями. Над чем не задумываешься — скользит мимо, не замечаешь. Так проскользнул Пушкин в детстве-отрочестве.

Прием англичан.

«Гатьяна» — голубые глаза, упорный взгляд, желтое жабо на желтой майке, костюм голубой замшевый, волосы кое-как и общее впечатление немьтости.

Директор консерватории. Увидел портрет Георга VI, принял за портрет Николая. Не знал, бедняга, что это кузены и сходство...

Стивенс с внучкой Франческой в штанах вроде шаровар, в белой майке и странных туфлях. Б., нетрезвая и томная. Дама в ночной рубашке. Жена индусского посла с распущенными белыми волосами. Табаков, дурно говорящий по-английски. Любимов. Толпы. Официантки толстые и в наколках белых.

<sup>1</sup> Н. И. Сарафанников был редактором книги Н. Ильиной «Судьбы» («Советский писатель», 1980). Живет во Франции.

Закрывая набережная, «кирпич», милиция.

Слушала по телевизору беседу с Дм. Серг. Лихачевым. Древнерусская литература — благолепие. XIX век — прилично. Сов. литература — пахло угольщиной... Христианская культура, дворянская, люмпенская.

Плакала: Юра, *cousine*, перед смертью заговорил по-французски.

Звонит телефон. Трубку брать не хочется, но беру — мало ли что! Извините, сейчас занята. Сознаться, что прикована к ТВ, могу лишь близким друзьям. Но они-то как раз не звонят: сами прикованы. А те, кому этого бедствия удалось избежать, на мое короткое «Барбара» отвечают «понятно» и кладут трубку. Им мой грех известен, примирились, терпят. На днях один не стерпел: «Вы когда-нибудь считали, сколько времени на это убили?»

Ну, конечно, считала. Три вечера по пятьдесят минут, два с половиной часа в неделю, а поскольку это длится уже чуть ли не два года... И это в моем возрасте, когда каждый день — Божий подарок!

Выключаю ТВ с горьким чувством обманутости и неприязни к самой себе. Однако назавтра... Я приковалась не с первой серии, а где-то в начале второго десятка. Таинственная история, сказала моя знакомая, кто-то похитил ребенка... Таинственные истории меня привлекали всегда. В начале века этот жанр называли «новелла тайн», «роман тайн». Позже стали именовать детективами.

Массового зрителя на историю из жизни бедных не заманишь. Меня, скажу прямо, не заманишь. Терзанья бедных мы наблюдаем ежедневно вокруг себя. У телевизора хочется отвлечься.

Так. Опять реклама. Выключаю звук и думаю: как мы все-таки отстали с этой победой большевизма в искусстве! Раньше все было просто. «С кем вы, мастера культуры?» — грозно вопрошал Горький. «С вами, с вами!» — кричали запуганные мастера. Тогда в цене было верноподданничество: чем его больше, тем больше тиражи. Неслыханное обилие талантов поражало иноземцев. Помню, Твардовский в 60-е годы восхищался «Ивушкой неплакучей»: «Подумать только, всего два слова, а в них сразу и народность, и партийность!» А теперь? О чем и как писать? Пребываем в полной растерянности, попав в зависимость от читателя-покупателя. Кроме похабщины — ничего на продажу. На Западе это (похабщина) уже относили. Смотрите, что происходит в мире. В Англии прославилась молодая писательница, автор старомодных, чуть ли не викторианских произведений. Ее роман «Жена викария» стал недавно бестселлером.

Массовый вкус. Массовые зрительские потребности. Миллионы, надо полагать, огребли супруги Добсон за свой гигантский сериал. Как разбогатеть нынешнему автору, сценаристу, режиссеру? Опыт требует изучения.

Итак, на экране — богатые. О святости брака твердят поминутно. Добродетель снова в моде. Герои одномерны. Грешат только отрицательные персонажи. Соцреализм да и только. О правдоподобии происходящего нет и речи. Особенно распоясались супруги Добсон после двухсотой серии. Зрители негодуют: что они, нас за идиотов принимают? Выключают ТВ. Сегодня четверг? Значит, еще целых четыре дня придется жить без проклятой «Барбары». А очень хочется знать, что там дальше, когда наконец уличат Кэрка, разоблачат Джину, как будет выпутываться Круз и кому достанется этот несчастный ребенок Брендон, которым перекидываются, как мячом...

В чем тут дело?

Я всегда уверяла страстно: нельзя объять необъятное, прийтись по вкусу мне и Марьиванне. Гордо не смотрела богатых, которые плачут, отворачивалась от просто мариин. А в «Барбару» вцепилась — не оторвешь.

Какое знание ремесла! Bravo, супруги Добсон. Великие мастера затяжек. Страстно ждем, когда же наконец Иден скажет... На этом держится интерес нескольких серий. Уф! Призналась. Выключаю. Что-то нам покажут завтра?

У телевизоров земного шара сидят дети разных народов. Включая нас. «От ямщика до первого поэта». Нет, разобраться просто необходимо...

О себе любимой.

В Доме композиторов выступала с «Экранизацией»<sup>1</sup>. Пили затем коньяк. Ласкин, Горин и двое молодых, Резников и Влади́н, способные. «Мы выросли на ваших фельетонах». Почувствовала себя бабушкой советского фельетона.

Софья Ханаановна, секретарь Твардовского, со слов Матильды, сидевшей с нами за столом в Дубултах, рассказывает: Ильина разбила термос, разлилась и ушла. Реформатский сказал: «Если Наталья Осиповна гневаются, виноват либо я, либо Ленин».

Собака Люси Уваровой лает. Люся: «Собака чувствует, что Наташа меня не любит».

Еще о собаках. Володя Усп.: как собака находит травку, так и он — когда в раздрае — мной витаминизируется.

В Литфонде встретила Радия Фиша. Он: «Приветствую в вашем лице представителя вымирающей культуры».

Готя<sup>2</sup> Юру зовет Везувием, а меня Этной.

Люся В.: тебя все боятся и в твоём присутствии глупеют.

Лакшины уверяют, что я не выношу критики (!!).

Мой новогодний рассказ в Литгазете: Люся Петр.— «маленький шедевр», Таня (учит.) — «достойно». Ира Федорова: «Слава хохотал».

Реформатские чтения. Вечером позвонил Никита Ильич (Толстой): «Я вами любовался, вы сидели так, как сидели мои тетушки. Теперь уж никто так не сидит».

На выставке стишок К. И. Чуковского мне: «Дорогая Ильина, ты другому отдана...»

Возвращаюсь из гаража. Навстречу незнакомая женщина: «За ум, за смелость, за порядочность позвольте поклониться. Живите долго». Кланяется.

Напечатала в «Огоньке» новые вставные кусочки о Ахматовой, что не вызвало одобрения Эммы Герштейн и Лиды Чуковской. «Это не новое о Ахматовой, а новое об Ильиной», — сурово сказала бескомпромиссная Лида. Вероятно, они правы. Опять бес тщеславия попутал.

В Питере до ночи была у Толстых. Читала свое — и напрасно. Иван: «Записки секретарши». Силен и нагл! Никита Алексеевич: мое явление у них — это Диккенс, внезапно возникший «дядюшка из Индии», о котором весь роман много говорилось.

Поговорим о жанрах.

Последнее время пишется немало романтизированных биографий. Встречается там разное.

«Пушкин спал тяжело. Мучали сновидения. Проснувшись, протянул руку к ночному столику. Отхлебнул из графина. Вода была тепловата. “Сегодня же отправлю вызов”, — подумал он».

«...Гоголь подошел к зеркалу. Челюсть отвисла. Рот чернелся дырой. Решение сжечь “Мертвые души” созрело окончательно».

«Тютчев не знал, что это юное прелестное создание, вальсирующее неподалеку, вскоре припадет к его оленьей сухости коленям...»

Звонки от читательниц-ветеранок:

«Сокольники» вас приветствуют! В восьмой десяток вступили! Ну как, ползаем? Я в сорок третьем в пехоте была. Эх, жаль, живем далеко, а то мы тут с

<sup>1</sup> «Записки начинающего экранизатора». См.: Н. Ильина. «Белогорская крепость (сатирическая проза)», «Советский писатель», 1989.

<sup>2</sup> Георгий Владимирович Степанов — филолог, академик. В 80-е годы был директором Института языкознания РАН.



бабами собрались, все вас любят, мензурку бы раздавили. Вашу писанину в веках не забудут!»

«Сокольники» приветствуют! Как там Коленька<sup>1</sup>? Уже большенький?

Вдохновенно мучаюсь с «Племенем»<sup>2</sup>. Помогают все. Особенно Вол. Лакшин и Латынины. Композиция, «архитектоника», чорт ее дер! Нашла конец (спасибо Бену Сарнову!): «В борьбу за право писать плохо включились свежие силы».

ЦДЛ. Евт. о «Привидении»<sup>3</sup> — «удар ножом из харбинского переулка». Ин. Каш.— «Вы зациклены на правде». Чей-то муж: «Вряд ли вы, русская дворянка, любите евреев».

Рязанов — Люсе В.: она объединила статьей и их, и нас.

«Дорогая Наталья Иосифовна, спасибо за статью в “Огоньке”, пронзительную, доблестную и горькую. Шлю Вам добрые силы. Юнна Мориц».

Очень устала. Вечером шла из гаража по двору, кто-то из кустов: «Ваш штормит». Шаталась?!

Выступаю в Малом зале. Цветы. Поздравляют работники кухни.

Ходасевич об эмиграции: единственно куда хотел ехать,— обратно в Россию, «изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную всегда, во все времена свои».

Для книги «Второе возвращение».

...Темно-красная вязаная фуфаячка, надевается через голову, на левом плече пуговицы в виде шариков, вижу ее так ясно, будто надевала вчера, а натягивала ее на меня няня, приговаривая:

— Это тебе АРА подарила!

Одно из первых слов, услышанных мной в жизни. Позже узнала: АРА, Америкэн Релиф Ассосиэйшн — Американское благотворительное общество. Оно кормило, одевало, лечило тех, кто очутился в Омске, спасаясь от большевиков. Маму, заболевшую сыпным тифом, увезли в госпиталь Американского Красного креста, отец воевал, мы с няней одни...

Ведь кто нас вывез из Омска? Те же американцы! Госпиталь эвакуировал своих больных, нас с няней разыскали, поместили в тот же вагон, где лежала мама. Мама на нижней полке справа, а на полке слева — исхудалый и бледный мужчина, позже узнала — внук Льва Толстого Илья Ильич.

...В самом конце шестидесятых мы встретились в Москве. На слова Ильи Ильича: «Рад с вами познакомиться», — я ответила: «Но мы знакомы уже пятьдесят лет. Омск. Сыпнотифозный вагон». «Господь Христос! — воскликнул граф.— Так это были вы?»

Он думал, что щебечущий ребенок в красной фуфайке ему привиделся в бреду...<sup>4</sup>

Это тоже для «Второго возвращения».

Виталий Алексеевич Серебряков. Один из тех «мальчиков», с которыми я коротала первую зиму в Казани. Родился в Екатеринбурге в 1916 году, сын

<sup>1</sup> Коля — младший сын Вероники Жобер. О ее семье Н. И. рассказала в «Уроках географии» («...Коля обнимает брата, два маленьких француза, две головенки, темная и светлая, внуки Габриэль, внуки моей сестры и правнуки моей мамы, мамы»).

<sup>2</sup> Н. Ильина. «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» (о встрече Вл. Карпова с молодыми литераторами за самоваром). «Огонек», 1988, № 2.

<sup>3</sup> Н. Ильина. «Привидение, которое возвращается». «Огонек», 1988, № 42.

<sup>4</sup> Этот эпизод вошел в главу «Тихий океан», которая была опубликована в ж. «Вопросы литературы», 1994, № 1. Наталья Иосифовна этой публикации уже не увидела.

уральского рабочего, меньшевика. Эдакий русский паренек, крепкий, плечистый. Жесткие русые волосы (на затылке вечный хохол), выражение лица простоватое, добродушное. И хотя Виталий с детства занимался музыкой и был трубачом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, художественная жилка в этом человеке начисто отсутствовала. Читал много, регулярно, понравившиеся места выписывал в тетрадку мелким, аккуратным почерком. У меня до сих пор сохранились эти серебряковские книжечки и тетрадки (подарил их мне, когда узнал, что я роман пишу). В них ничего личного. Вот пример:

«Дал Жорке Постникову “Вопросы ленинизма”. Интересно, какой будет результат. Думаю, что положительный. Парень начал, кажется, серьезно склоняться к возвращенчеству. Необходима подготовка для того, чтобы не быть балластом, обузой на Родине».

Из моих записей 57-го года.

«Неправильно было бы думать, что эмигранты, тысячами возвращающиеся на Родину в конце сороковых годов, ехали домой только потому, что они за границей с голоду умирали, были не устроены. Немало вернулось людей вполне состоятельных, сумевших даже в труднейших условиях заграничного существования создать себе какое-то материальное благополучие. Они, едучи сюда, прекрасно понимали, что здесь им придется все начинать сначала. И все-таки ехали. Почему же?»

Из письма читателя Василия Ермолаевича Поселёнова (Татария, пос. Нурлат Октябрьский).

«...опишу Вам, как мы, аборигены одной из небольших станций, осенним хмурым утром 1934 года вышли торжественно встречать бывших рабочих и служащих КВЖД. Годы были для нас тяжелейшие, не хватало пищи, одежды, ютились большинство в домах барачного типа. Накануне нас, учителей, вызвали и сказали, что завтра мы все организовано выйдем встречать тех, кто вырвался из лап японского империализма. Я, помню, сам написал плакат: “Привет узникам капитала!”

Стою с моими второклассниками в толпе на вокзале, зубы лацкают от внутренней дрожи: сейчас увидим их, оттуда. Откроются двери теплушек, выйдут изможденные, в лохмотьях, некоторых, может, придется нести на носилках... И вот медленно подходит поезд. Мертвая тишина. Медленно открывается дверь, из нее высовывается голова огромного породистого дога... В следующий момент появляется хорошенькая кудрявая головка, котиковое манто. Из теплушек выходят элегантные “узники”... Держу рот открытым, пока на меня не шикают: убери плакат! Конечно, никаких речей не было, митинг не состоялся. Не те речи подготовили.

В то утро наша станция приняла пять-шесть семей. Судьба их была ужасной... Они рано возвратились. Никого из них нет в живых...»

Страсти по Ноткину.

Познакомились на Пахре у Ирины Комо. Кажется, конец декабря. Рождество. Мороз. Еду туда на машине с Ириной-старшей. Явились первые. Вошла в дом, когда-то эрдмановский. С опозданием приехал Борис Иванович, Борис Ноткин. За рулем заблудился. Обед. Камин. У Ноткина рождается идея. Я: да, да, когда-нибудь. И забыла.

Он не забыл. В середине января заезжает взять книги, которые я написала. Я тем временем начинаю обдумывать, что буду говорить.

О профессионализме и отсутствии оного. Горжусь семьей. Недавно начала гордиться. Не происхождением, не имуществом — Труд. Ко мне часто приходят брать интервью (нынешние, в основном молодые). Безумно удивлены: зачем вы сюда приехали? У вас не было информации?

Девочки, это у вас нет информации. Понимаю — вас в то время на свете не было. Но почитайте! В «Знамени» — Симонов, в «Вопросах литературы» — Ромен Роллан, в «Звезде» — Андре Жид, единственный, кто что-то понял. Казалось бы, уж они-то там имели источники информации — но попадались на удочку!

Справедливое устройство мира — человечества сон золотой. Да, капитализм несправедлив, да, демократия тяжела, но лучше пока ничего не выдумали. Это теперь понятно стало. А тогда, оттуда... Так хотелось верить, что выдумали! Почитайте Роллана — как хотел обмануться! Расстрел детей с двенадцати лет; сто человек после убийства Кирова, — погорячились, сказал Сталин с доброй улыбкой. Сила этого строя — в его неправдоподобии. Поверили сталинской конституции 36-го года. Отечество!..

Б. И. Ноткин явился вновь в феврале. «Давайте не откладывать». Я рада, что не прямой эфир. Выясняется, что читал мои книжки с пятого на десятое; о Реформатском не читал; в восторге, конечно, от Ахматовой, Чуковского. Бросаю все, судорожно готовлюсь, со своей манерой первой ученицы.

В четверг советовалась с лингвистами. Порча языка, ударения.

Язык ТВ, радио.

«Для нормального протекания жизненных процессов необходимо регулярное поступление питательных веществ в организм кролика» (из беседы ветеринара).

«Проверка на предмет закладок взрывного характера» (МВД).

Палата мордов: «гроша выеденного не стоит», «не из того теста сшиты», «депутат виноват за все, что происходит», «посоветоваться перед народом».

Актер: инцидент.

Певец: «Клево, ну просто концептуально!»

Намерения, хозяева, средств... Орфоэпический словарь — диктору и депутату.

Зощенко зафиксировал уродство души в языке. Первооткрыватель советизмов. Зарубки, болезни времени — жизнь языка параллельна истории. Бестолковое мышление, скудоумие. Канцелярит: «Я не имею бесчувствия в детском вопросе».

Новое время — новые песни.

Ноткин просит хронометрировать. Засекли время. Уложились в полчаса. «Начало, почему приехала — большая тема. Зачем? Сократить». В пятницу звонок Б. И. — запись откладывается на неделю. А я уже вызвала Людю-парикмахершу. Решаю не отменять, буду краситься. Хорошо сделала! В понедельник вновь возникает Ноткин, в двенадцать часов точно. Декламирую все мной приготовленное. Он: очень хорошо, но можно сделать гораздо лучше. Никакой публицистики, выводов, ничего о языке, о себе — маленькие истории, это всем интересно. Эмпирика, импровизация. Агата Кристи, бабочка, «не обидеть» — воспитание. Чуковский, каноны вежливости, почему обманывал, «нам так нельзя». Ахматова, почему любила, когда хвалили, устала от одиночества, отшельничества и т. д.

Тяжкое утро вторника. Ноткин взволнован: накануне прочитал первую главу о Воейковых. Кричит: «Где ударение — ВоейКовы?» «ВоЕйковы», — кричу из своей комнаты, одеваясь. «Он был вам кто, этот, как его, климатолог? Прапрадед?» «Нет, прадед. Отец деда». «А ваш отец, полковник белой армии, тоже дворянин?» «Тоже».

Вижу, его зациклило на дворянстве. Летят к чорту мои заготовки.

Три часа. Гримерная. Как всегда у нас: сидят трое, работает одна, общий треп. Гримирует Люда, молодая, славная. Появляется Наташа, джинсы голубые в белую полоску, всего пять «кусков», четыре у нее уже есть. Все: бери, не со-

мневайся. Молодой человек на диване за моей спиной: «В Бомбее открылся мужской стриптиз». Думала, в Индии, оказалось — у нас, на Тургеневской площади. За те же пять кусков! Комментарий: «Пусть мне заплатят, чтобы я согласилась посмотреть!» Общее оживление.

Является Ноткин для легкого грима. Вослицает, что я все больше становлюсь похожа на мои молодые фотографии, где я была секс-бомба. Кошмар, думаю я. Забыла сказать: увидел у меня фотографию Твардовского, удивился — вы и с ним были знакомы? А ведь в 60-е годы, полагаю, уже был не мальчик. Меня заодно слегка подвивают щипцами.

Операторы. Прошу не показывать меня крупным планом. Ноткин: они опытные, сами все знают. Позже выяснилось, что лица вообще не было, лишь профиль, а временами затылок!

Я уже успокоилась, мне уже все равно. Начинает Ноткин: был в доме одного из гайдаровских министров, престижная тусовка, его внимание приковала «очаровательная женщина» — это когда мужчина чувствует себя мужчиной, хочет распушить хвост и т. д. Затем читает куски о моих дедах, спрашивается, зачем было «хронометрировать», все идет не так, мы сосредоточимся на дворянстве, так оно и вышло!

Памяти Ореста Верейского<sup>1</sup>.

В газетном сообщении читаем, что «на семьдесят девятом году скончался Орест Георгиевич Верейский, выдающийся мастер графики, академик, народный художник».

Смерть эту преждевременной не назовешь: возраст смертный. Жизнь прожита не даром, многое успел покойный, имя свое прославил, отечество отблагодарило его — и Народный, и академик. Значит, скончался человек старьей, маститый. Так воспримут это сообщение люди, Верейского не знавшие. Но для тех, кто его знал и называл «Орик», он не был ни стариком, ни тем более «маститым».

Узнав о его кончине, думая о нем, я услышала, что твержу одни и те же слова: какой это был прелестный человек!

В книге «Встречи в пути», рассказывая о своем отце, известном художнике Георгии Семеновиче Верейском, Орест пишет: «Отец был не только скромненький, но и невероятно застенчив. Всегда старался видеть в людях доброе. Если приходилось быть свидетелем чьей-то бестактности, заносчивости, он испытывал мучительную неловкость».

Эти слова относятся и к Оресту Георгиевичу.

Отец был его первым учителем. В двадцатые годы в доме Верейских бывали художники Александр Бенуа, Добужинский, Сомов, Яремич, Замирайло. Два года ученичества провел Орест в мастерской Осмеркина. Таким образом будущий художник рос и складывался около представителей славного племени российской интеллигенции. «Рвется связь времен!» — говорили на похоронах Чуковского. Эти же слова уместно повторить, прощаясь с Верейским. С этим прелестным человеком, которого я знала 30 лет и уход которого нанес очередной удар по русской культуре.

Я вспоминаю, как во время дружных застолий в его доме на Пахре каждый стремился что-то рассказать, «занять площадку», перебивали друг друга, но особенно часто — хозяина дома. Ему, с его учтивостью, с его воспитанностью, и слова иногда не удавалось вставить. «Орик, извини, я тебя перебью», — говорил кто-нибудь из нас, и сейчас мне кажется, что я чаще других.

А ведь он был человеком блистательным!

Начну с малого, с его золотых рук. Что бы у кого ни ломалось — бежали к Орику. Отрывали от работы. А отказать он, конечно, не мог. Вот как это отразилось в его стихах: «Писать стишки, чинить очки — моя прерогатива. Но как-

---

<sup>1</sup> Статья была опубликована в «Общей газете» в декабре 1993 года. Это последнее, что написала Наталия Ильина. Через два месяца ее не стало.

то раз я унитаз чинил друзьям на диво. Сверлю, точу, грибы ищу, пред делом не пасую. Я пью вино, гляжу в окно и изредка — рисую».

В течение десяти лет мы с А. А. Реформатским проводили летние месяцы в маленьком доме на участке Верейских. Все эти годы А. А. и О. Г. обменивались шутивными стихами. Псевдоним одного «Искандер Ислахи», второго — «Маркиз де Конкомбр». Вот как рекомендует себя «маркиз» в очередном послании: «...Имеет облик человека немолодого. Сталось так, что вот почти уж четверть века, как он вступил в законный брак. Вальяжен. Выпить не дурак». Послание снабжено рисунком — автор изобразил свое лицо в удлиненной форме огурца. А. А. нежно любил Верейского. Сохранил всю их переписку, все стихи, и сегодня мне грустно и радостно их перечитывать.

Как-то в летний день мы с Людмилой Марковной Верейской сидели в саду, болтали, внезапно сверху послышалось щелканье кастаньет и топот. На балконе второго этажа, а вернее, на площадке, куда выходили окна мастерской, танцевал Орест Георгиевич. Плясал — превосходно. Мы внизу умирали от смеха, а танцор сохранял полную серьезность. Отплясав, раскланялся и удалился. Он в то время, может быть, еще не был академиком, а уж членом-корреспондентом Академии художеств наверняка был.

Его великолепное чувство юмора проявлялось, конечно, и в рисунках.

Каждый год его друзья получали новогоднее поздравление с рисунком Верейского. Новорожденный год изображался то в виде амура с крылышками, то в виде малютки-художника в берете, но голенького, то в виде танцующей девушки, полуприкрывшей лицо маской зайца. Каждый рисунок был элегантен и остроумен. Они сейчас передо мной. Особенно больно смотреть на последний: поющий петух, из его клюва вылетают цифры: 1993... Цифра 3 повторяется, становясь все бледнее, бледнее — и наконец исчезает. Будто художник предвидел, что в этом году его ждет «дорога не скажу куда».

Он любил свой дом на Пахре. Любил свою мастерскую, откуда он однажды вышел, не зная, что больше туда не вернется. Там, в мастерской, там, на лужайке перед домом, я буду его видеть, вспоминая. Я вхожу, скрипнув калиткой, а он идет мне навстречу по залитой солнцем зеленой лужайке.

Его больше нет. А у меня обрушился еще один кусок жизни.

*Публикация Вероники ЖОБЕР.  
Предисловие, подготовка текста,  
примечания Маргариты ТИМОФЕЕВОЙ.*



Борис ХАЗАНОВ

---

## Десять праведников в Содоме

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАГОВОРА

### *Игра в рулетку*

Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился много ночей в подвале мюнхенского пивного зала «Бюргерброй», замуровывая в основание столба, подпирающего потолок рядом с трибуной, весьма совершенную, собственного изготовления бомбу замедленного действия с двумя часовыми механизмами. Адская машина детонировала 8 ноября 1939 г., в годовщину неудавшегося путча 1923 г., в десятом часу вечера, точно в назначенное время, когда в переполненном зале, внизу и на балконах, сидело три тысячи «старых борцов». Было известно, что фюрер говорит как минимум полтора часа. К полуночи он должен был вылететь в Берлин. Но прогноз погоды был неблагоприятен. Адъютант связался по телефону с вокзалом, к уходящему в половине десятого берлинскому поезду был подцеплен салон-вагон фюрера. Речь в пивной пришлось сократить и начать на полчаса раньше. В восемь часов грянул марш, загремели сапоги, в зал было с помпой внесено «кровавое знамя». Гитлер взошел на трибуну — и успел покинуть пивную за восемь минут до взрыва.

Если бы не счастливая — следовало бы сказать: несчастливая — случайность, вместе с обвалившимся потолком, с разнесенной в щепы трибуной и угробленным оратором рухнул бы и его режим. Только что начавшаяся война была бы прекращена. Германия не напала бы на Советский Союз, не была бы разрушена и расчленена, не было бы Восточного блока, холодной войны и так далее.

Если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть короче, история Рима была бы иной. Можно назвать сколько угодно таких «если бы». Стрелочник (если предположить существование подобного метаисторического персонажа) по недоразумению или капризу перевел стрелку не в ту сторону, и поезд свернул на другой путь. Что такое случай? То, чего по всем статьям не должно было случиться. И что тем не менее случилось. Что было бы, если бы 20 июля 1944 г. в Волчьей норе, ставке фюрера в Восточной Пруссии, судьба, теперь уже в который раз, не спасла нацистского главаря, если бы он, наконец, испустил дух, вместо того чтобы отделаться мелкими повреждениями? Осуществилась бы надежда заговорщиков отвести катастрофу, предотвратить оккупацию, сохранить суверенность страны? Нет, конечно: судьба Германии была решена. Но война закончилась бы на десять месяцев раньше. Убитые не были бы убиты, не погибли бы города, вся послевоенная история все-таки выглядела бы немного иначе.

### *Спротивление*

О партии Гитлера нельзя было сказать (как о партии большевиков в России накануне октябрьского переворота), что в марте 1933 г. она представляла собой незначительную кучку фанатиков, и все же на выборах ей не удалось собрать большинство голосов. Семь миллионов избирателей голосовало за социал-демократов, шесть миллионов — за католическую партию центра и мелкие демократические партии, пять миллионов — за коммунистов. То, что национал-социализм и в первые месяцы,

и в последующие двенадцать лет «тысячелетнего рейха» встречал более или менее активное сопротивление, неудивительно: несмотря на симпатии самых разных слоев населения, у него оставалось немало противников. Вместе с тем это сопротивление, от глухой оппозиции до покушений на жизнь диктатора, достойно удивления, ибо оно существовало в условиях режима, казалось бы, подавившего в зародыше всякую попытку сопротивляться. Тот, кто по опыту жизни знает, что такое тоталитарное государство, знает, что значит перечить этому государству. Два фактора, между которыми, впрочем, трудно провести границу, обеспечивают его монолитность: страх и энтузиазм. Страх перед вездесущей тайной полицией и восторг перед сапогами вождя.

Заговор 20 июля, которому теперь уже более полустолетия, не был единственной попыткой радикально изменить положение вещей. Он был не единственным примером внутреннего сопротивления нацизму. Вскоре после капитуляции писатель Ганс Фаллада раскопал в архиве гестапо дело берлинского рабочего Отто Квангеля и его жены: оба рассылали наугад почтовые открытки-воззвания против Гитлера и войны; случай, послуживший основой известного романа «Каждый умирает в одиночку». О мюнхенской студенческой группе «Белая роза», о расправе с ее участниками стало известно тоже в первые послевоенные годы. О многих других — опять-таки в самых разных слоях населения — узнали лишь в последнее время.

И все же заговор 20 июля не имел себе равных по масштабам подготовки и разветвленности. В нем участвовали люди различного состояния, мировоззрения, происхождения: юристы, теологи, священники, дипломаты, генералы; консерваторы, националисты, либералы, социал-демократы; выходцы из среднего класса и знать. То, что их объединяло, было важнее политических расхождений и выше сословных амбиций. Некоторые из них пережили в юности увлечение национал-социализмом. Другие не принимали его никогда. Среди многочисленных участников комплота не оказалось ни одного осведомителя — случай неслыханный в государстве и обществе этого типа. Люди 20 июля хорошо знали, что их ждет в случае неудачи. Накануне решающего дня многих не оставляло предчувствие поражения. Хотя Германия вела уже оборонительные бои, агрессивная мощь рейха была далеко еще не сломлена. Заговорщики знали, что они будут заклеяны как изменники родины. Но, как сказал Клаус Штауфенберг, «не выступив, мы предадим нашу совесть».

### *Не убий*

Истоки заговора восходят к середине тридцатых годов. Время, наименее благоприятное для успеха: режим шагал от триумфа к триумфу. Мистическая вера в фюрера стала чуть ли не всенародной. За несколько лет до нападения на Польшу и начала второй мировой войны оппозиция выработала планы будущего устройства Германии. Но похоронить нацизм могли только военные. Это означало нарушить присягу; не каждый мог через это переступить. Традиция запрещала прусскому и немецкому офицеру вмешиваться в политику. Его первой и второй заповедью были верность и повиновение. Государственными делами пусть занимаются другие; долг солдата — защищать отечество. Противоречие усугубилось с развитием событий: если страна воюет, как может он нанести ей удар в спину?

Другую этическую проблему представляло тираноубийство. Было ясно — или становилось все ясней, — что до тех пор, пока фюрер жив или по крайней мере не обезврежен, изменить существующий строй невозможно. Убийство же, вдобавок почти неизбежно сопряженное с гибелью других, противоречило христианским убеждениям многих участников заговора, не исключая самых видных, например, таких, как граф Мольтке. С другой стороны, начавшаяся война чрезвычайно затруднила доступ к окружению диктатора. Гитлер уже не выступал публично. Большую часть времени он проводил не в Берлине, а в надежно защищенных убежищах, вдали и от уязвимого для авиации тыла, и от фронта. Пробраться туда мог лишь заслуженный и проверенный офицер высокого ранга. Как мы знаем, такой человек нашлся.

### *Пока еще только генералы*

К предыстории 20 июля относятся несколько неосуществленных проектов переворота. Мы можем сказать о них кратко. В 1938 г., с мая по август, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек в нескольких памятных за-

писках, направленных вождю и рейхсканцлеру (официальное титулование Гитлера) через посредство верховного главнокомандующего Браухича, пытался убедить фюрера и его окружение отказаться от подготовки к войне. В одном из этих писем Бек даже предупреждал, что, если война будет начата, высший генералитет в полном составе подаст в отставку. Но диктаторам не дают советов. Гитлер ответил, что он сам знает, как ему нужно поступать. Что касается забастовки генералов, то осторожный Браухич предпочел скрыть от фюрера эту часть письма. Бек ничего не добился, кроме того, что был снят со своего поста; позже мы встретим его имя среди главных участников заговора.

Преемником Бека (с его согласия) стал генерал артиллерии Франц Гальдер, человек более решительного образа мыслей. Вместе с группой единомышленников он разработал детальный план путча.

Осенью 1938 г. еще не все были согласны с предложением командующего третьим берлинским военным округом генерала (впоследствии генерал-фельдмаршала) Эрвина фон Вицлебена физически устранить фюрера. Гальдер и офицеры контрразведки Остер и Гейнц поддержали Вицлебена. План состоял в следующем. По приказу Вицлебена части 3-го армейского корпуса занимают улицы и ключевые учреждения столицы; вместе с чинами своего штаба, под защитой офицерского отряда во главе с Гейнцем, Вицлебен снимает наружную и внутреннюю охрану имперской канцелярии и, минуя Мраморный зал, через коридор проникает в комнату Гитлера. Аrest вождя, после чего инсценируется незапланированное убийство: даже если отряды СС против ожидания не окажут сопротивление путчистам, Гейнц и его подчиненные организуют вооруженный инцидент, во время которого Гитлер будет убит.

План не удалось реализовать из-за приезда британского премьера Чемберлена к Гитлеру в Берхтесгаден. За этим неожиданным визитом и конференцией представителей западных держав в Бад-Годесберге под Бонном последовало Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 г.; война казалась отсроченной. Но заговорщики не оставили своих намерений. Новый проект переворота был разработан в следующем году. Генерал Гальдер, по должности многократно посещавший рейхсканцелярию, носил в кармане пистолет, чтобы собственноручно прикончить вождя. В Цоссене, к югу от Берлина, где находилось верховное командование, в бронированном сейфе хранились подготовленный Остером стратегический план восстания, текст обращения к народу и армии, состав нового правительства, список нацистских руководителей, подлежащих немедленному аресту и, очевидно, расстрелу: Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Гейдрих, Геринг, Геббельс.

### *Крейсау*

В 1867 г. Гельмут граф фон Мольтке, победитель австрийцев и саксонцев в битве под Кениггрецом и будущий победитель во франко-прусской войне, получил от короля датацию на приобретение бывшего рыцарского владения Крейсау близ городка Швейдниц в Нижней Силезии (ныне — территория Польши). В старинном, много раз перестроенном четырехэтажном доме, который все еще по старой памяти называли замком, родился в 1907 г. племянник бездетного фельдмаршала Гельмут Джеймс граф фон Мольтке-младший. После смерти отца он унаследовал поместье.

Мольтке был высокий худощавый человек северного типа, сероглазый, с зачесанными назад светлыми волосами, с красивым прямоугольным лбом. Его дед с материнской стороны был Chief Justice (главный судья) в Южно-Африканском Союзе; внук перенял от него профессию юриста. Он получил юридическое образование в Оксфорде и позднее часто бывал в Англии, стал немецким и английским адвокатом в Берлине. Во время войны Мольтке служил в юридическом отделе иностранной контрразведки при верховном командовании вермахта. (Напомним, что контрразведку возглавил адмирал Вильгельм Канарис, расстрелянный как участник сопротивления полевым трибуналом СС весной 1945 г. в концлагере Флоссенбург.)

Рейх начал вторую мировую войну 1 сентября 1939 г. К этому времени относятся первые проекты свержения национал-социалистического режима, составленные Гельмутом Мольтке и отпечатанные на машинке его женой Фрейей; в дальнейшем она перепечатывала все документы и умудрилась их сохранить. Примерно с 1940 г. в усадьбе Крейсау, в старом замке, а чаще в соседнем небольшом доме, который назывался Бергхауз, собирались друзья Мольтке. Встреча с дальним родственником, юристом и офицером верховного командования Йорком фон Вартенбургом, положила начало регулярным собраниям. Весной, на Троицу, и осенью приезжало де-



сять — двенадцать человек. Гостей встречали с экипажем и фонарями на маленькой железнодорожной станции. Впоследствии в протоколах гестапо эти собрания, в которых участвовало в общей сложности около сорока человек, обозначались как Крейсауский кружок. С этим названием они вошли в историю.

### *Куда деть фюрера?*

Здесь нужно упомянуть некоторых участников из числа тех, кто составил ядро кружка Крейсау. Адам фон Тротт цу Зольц, потомок старого гессенского рода, учившийся, как и Мольтке, в Оксфорде, занимал, несмотря на свою молодость, один из ключевых постов в министерстве иностранных дел. Видным дипломатом был также посольский советник Ганс-Бернд фон Гефтен. Учитель гимназии Адольф Рейхвейн в прошлом состоял в социал-демократической партии и был профессором педагогической академии. Бывшим социал-демократом был Юлиус Лебер, сын рабочего из Эльзаса, во времена Веймарской республики депутат рейхстага; он успел отсидеть четыре года в концлагере, затем возобновил контакты с бывшими товарищами по разгромленной партии, связался с обоими мозговыми центрами сопротивления — Крейсауским кружком и группой Герделера (о которой будет сказано ниже), познакомился со Штауфенбергом — будущей центральной фигурой мятежа, вместе с Рейхвейном пытался наладить связь с коммунистическим подпольем. Карл Дитрих фон Трота был референтом министерства экономики. Некогда занимавший пост заместителя начальника берлинской полиции Фриц-Дитлоф граф фон дер Шуленбург цу Циглер (племянник германского посла в Москве графа Шуленбурга-старшего, который тоже был участником сопротивления) после начала войны оставил ряды нацистской партии, был штабным офицером. Писатель Карло Мирендорф не дожил до 20 июля: он погиб во время воздушного налета в Лейпциге. В советском лагере для интернированных через три года после войны, как предполагают, погиб один из активных членов Крейсауского кружка Хорст Эйнзидель. Гаральд Пельхау был тюремным священником в Тегеле (Берлин). Протестантский теолог Эйген Герстенмайер, деятель Исповедной церкви, оппозиционной по отношению к гитлеризму, сравнительно поздно вступил в кружок, но стал одним из его главных действующих лиц. Участниками дискуссий в Крейсау были отцы иезуиты Лотар Кениг, Ганс фон Галли и Альфред Дельп, которому предложил войти в кружок провинциал ордена Августинов Реш. Петер граф Йорк фон Вартенбург, из семьи прусских военачальников (предок был союзником Кутузова в войне с Наполеоном), нами уже назван.

Краткая выдержка из «Принципов будущего устройства», датированных августом 1943 г., может дать представление о характере предначертаний Крейсауского кружка:

«Правительство Германской империи видит основу для нравственного и религиозного обновления нашего народа, для преодоления ненависти и лжи, для строительства европейского сообщества наций — в христианстве... Имперское правительство исполнено решимости осуществить следующие требования. Растоптанное право должно быть восстановлено, правопорядок должен господствовать во всех сферах жизни. Гарантируются свобода веры и совести. Существующие ныне законы и положения, которые противоречат этому принципу, отменяются... Право на труд и собственность берется под защиту государства и общества вне зависимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности».

Можно ли было претворить в жизнь эти принципы, не покончив с существующим строем? Свергнуть же этот строй было невозможно, не покончив с фюрером. Тем не менее граф Мольтке в отличие от большинства членов кружка был против покушений на Гитлера. Мольтке считал, что после поражения — а оно представлялось неизбежным — убийство Гитлера и генеральский путч возродят старый миф об «ударе в спину», измене в тылу, из-за которой будто бы Германия проиграла первую мировую войну.

### *До Урала и дальше*

Одна из многих вышедших в последние десятилетия книг о Мольтке и его окружении называется «Новый порядок группы сопротивления в Крейсау». Члены кружка противопоставили будущее Германии и Европы, каким они хотели его увидеть, «новому порядку», как именовался на жаргоне пропаганды режим поработанного

Гитлером континента. Однако проекты вождя, которые правильной было бы назвать горячечными грезами, становились все грандиозней и теперь уже простирались далеко за пределы Европы. После разгрома Англии, главного врага, вся огромная и разбросанная по свету Британская империя окажется под властью Германии. Мир будет состоять из трех регионов: Северная и Южная Америка под контролем США, Азия в ведении Японии, Европа, а также бывшие британские и французские колонии в Африке и за океанами — в руках Германии. Россия как самостоятельное государство не существует. Индия и Урал — граница сфер влияния Германии и Японии. Гигантские работы по отстраиванию столицы мира — нового Берлина — по проектам лейб-архитектора Шпеера. Кроме того, восемьдесят четыре тысячи тонн металла должны быть поставлены для строительства величественных сооружений в «столице движения» Мюнхене, городе партийных съездов Нюрнберге, австрийском Линце, где вырос фюрер, и еще в двадцати семи городах; все это, не дожидаясь конца войны. В 1950 г. будет одержана окончательная победа. Повсеместно пройдут парады, улицы городов заполнят ликующие народные массы и так далее. Особые планы были сочинены для оккупированных стран.

Любопытно сравнить эту дикую футурологию с прогнозами немецкой прессы после 1945 г., когда все или почти все более или менее крупные города Германии лежали в развалинах. Предполагалось, к примеру, что Франкфурт будет восстановлен (если это вообще удастся) к концу века. Немецкая промышленность не возродится, Германия станет второстепенной сельскохозяйственной страной.

Вернемся к началу войны. Абсолютной гарантией успеха в глазах Гитлера были мощь и превосходство германского оружия. Капитуляция наследственного врага — Франции, которая еще совсем недавно считалась сильнейшим государством западного лагеря, триумфальный марш по странам Европы как будто оправдывали эту уверенность. Между тем военачальники и военные эксперты понимали, что географическое положение рейха в центре Европы в стратегическом отношении обещает не одни лишь выгоды; почти неизбежная война на два, а то и на три фронта может оказаться затяжной; с Россией, страной громадных расстояний, сурового климата и плохих дорог, связываться опасно; сломить морское могущество Великобритании непросто; вступление в войну Соединенных Штатов Америки с их неисчерпаемыми ресурсами сделает победу вовсе невозможной. Люди антинацистского подполья, офицеры и штатские, ясно видели, что война, так успешно начавшаяся, будет проиграна, и притом с такими потерями, которые не идут ни в какое сравнение с катастрофой 1918 г.

### *Берлин*

Вторым мозговым центром заговора, как уже сказано, был кружок Герделера в Берлине. Карл Фридрих Герделер, сын депутата прусского ландтага, родился в 1884 г. в Шнейдемюле, главном городе провинции Познань — Западная Пруссия (нынешнем центре польского воеводства Пила), и был воспитан в старорежимных традициях трудолюбия, протестантской умеренности, порядочности, безупречной честности, почтения памяти Фридриха Великого и верности монархии Гогенцоллернов. Как и отец, он стал политиком либерально-консервативного толка, во времена Веймарской республики был вторым бургомистром Кенигсберга, затем обербургомистром Лейпцига, где его застала национал-социалистическая революция. Опыт, репутация, заслуги сделали Герделера тем, что в Германии называется «гонорациор» (престижный общественный деятель), — отсюда до оппозиции Гитлеру был один шаг.

Летом 1936 г., когда в стране наметилась кризисная финансово-экономическая ситуация, Герман Геринг, к многочисленным чинам и постам которого присоединилась должность «имперского уполномоченного по четырехлетнему плану», назначил экспертом Герделера. Рекомендации Герделера повергли Геринга по меньшей мере в изумление: следовать им значило круто повернуть внутривнутриполитический курс. В это время Герделер еще предполагал у властей здравый смысл и честные намерения. Спустя год-другой от этих иллюзий не осталось и следа.

К концу сорок первого года — война уже пылала всюду, армейская группа «Центр» приблизилась к Москве, в ходе сражений под Киевом, Брянском и Вязьмой в плену оказался 1 миллион 300 тысяч советских солдат, японский коронный совет принял решение начать военные действия против Америки, Великобритании и Нидерландов, последовало нападение на Пирл-Харбор, после начала русского контрнаступления Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Браухича с поста верховного

главнокомандующего и назначил верховным себя — мы находим Карла Герделера в роли одной из центральных фигур антигитлеровского комплота. Герделеру удалось наладить связь с разными ячейками сопротивления. В Берлине вокруг него сплотилась кучка единомышленников, среди них были отставной генерал Людвиг Бек, дипломат, в прошлом посол в Копенгагене, Белграде и Риме Ульрих фон Гассель, прусский министр финансов Иоганнес Попиц. Возникли контакты с представителями «христианских профсоюзов» и Фрейбургским оппозиционным кружком университетских профессоров. Нити от кружка Герделера протянулись к генеральному штабу армейской группы «Центр», где занимал высокий пост Геннинг фон Треско, о котором пойдет речь особо.

### *Два сценария*

Крейсауский кружок состоял по большей части из молодых людей; в берлинском кружке задавали тон «старики» — не только в прямом смысле. Между господами из кружка Герделера, которых Мольтке иронически называл «их превосходительствами», и группой Крейсау существовали значительные расхождения. Говоря схематически, берлинский кружок был консервативным и националистическим, крейсауский — либеральным, отчасти социал-демократическим и прозападным. Герделер не был приверженцем демократии — во всяком случае, в той ее форме, которая в наши дни получила название массового общества. Веймарская республика, первое немецкое демократическое государство, не внушала ему симпатий. Сбросившей нацизм Германии предстояло вернуться к традициям империи Бисмарка. Ее границы должны были соответствовать границам накануне первой мировой войны, территориальные потери, нанесенные Версальским договором, — тут их превосходительства сходились с Гитлером — надлежало восстановить. Другими словами, будущая Германия должна была включать Эльзас и Лотарингию, «польский коридор», отделивший Восточную Пруссию от основной территории рейха, должен был исчезнуть с политической карты. Аннексированная в 1938 г. Австрия и населенный немцами Итальянский Тироль тоже должны были принадлежать «нам». Для немецких евреев — любопытная деталь — предлагался сионистский рецепт: «свое государство». (Преступления против евреев в большей мере определили оппозиционность Герделера — подобно тому, как они побудили Мольтке, Йорка фон Вартенбурга, адмирала Канариса да и многих других сделать выбор между конформизмом и сопротивлением.)

Таким образом, Германии предназначалось и после войны оставаться обширнейшим и могучим государством Западной Европы. В январе 1943 г. был составлен список членов будущего правительства; Бек должен был стать главой государства, Герделер — председателем совета министров. Герделер набросал проект конституции послевоенной Германии, по которому исполнительной власти — канцлеру и совету министров — предоставлялись значительные преимущества перед рейхстагом (парламентом). Существование политических партий не предусматривалось.

Впрочем, и в кружке Мольтке были люди, которым при всем их преклонении перед британской демократией не улыбалась многопартийная система; вместо партий предлагалось выборное представительство общин. В целом, однако, представления Крейсауского кружка о будущей свободной и децентрализованной Германии, равноправном члене европейского союза наций, может быть, даже с единой для всей Европы (но без России и Англии) валютой и общими вооруженными силами, были, конечно, гораздо ближе к нынешнему облику и политическому курсу Федеративной республики, чем имперско-националистический проект Герделера, Бека и других. Зато одним из общих пунктов был «ордо-либерализм», под которым подразумевали частно-капиталистическую экономику под контролем государства с целью не допустить хищническое и безудержное предпринимательство. После войны некоторые идеи «ордо-либерализма» воплотились в реформе Эрхардта, с которой началось экономическое чудо.

### *1942 год*

Группа «Центр» получила это название первого апреля 1941 г. с назначением взять летом Москву; командовал армейской группой генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, первым офицером (I-а) генштаба был родственник Бока, 40-летний под-

полковник Геннинг фон Треско. Прусский дворянин Треско был выходцем из военной семьи и женился на дочери военного министра. В юности он, подобно многим, сочувствовал национал-социализму, в «день Потсдама» 21 марта 1933 г., день символической встречи Гитлера с Гинденбургом, маршировал во главе своего батальона мимо нацистского вождя и престарелого фельдмаршала, последнего президента погибшей республики. Довольно скоро энтузиазм сменился глубоким отвращением к режиму убийц, а с началом войны сюда добавилось отчетливое понимание того, что не могли не видеть высшие офицеры вермахта: во главе вооруженных сил стоит дилетант; «величайший стратег всех времен и народов» — всего лишь бывший унтер. Правда, на Восточном фронте ему противостоял другой дилетант, никогда не воевавший, как и Гитлер, не имеющий военных знаний и лишенный каких-либо следов полководческого таланта.

Война усилила ощущение раздвоенности. С одной стороны, Треско участвовал в разработке военных действий, восхищался тактическим гением Манштейна, творца «серповидной операции», решившей судьбу Франции; сам быстро выдвинулся, слыл способным офицером. С другой стороны, каждая новая победа была победой Гитлера. От группенфюрера СС Артура Небе, который был давним недоброжелателем вождя, Треско узнал правду о концентрационных лагерях. В Борисове, в непосредственной близости от главной квартиры, латышское подразделение СС учинило кровавую расправу над евреями, и это было отнюдь не самоуправством. К началу зимы сорок первого года Треско удалось сколотить в штабе группы противников режима; адъютант и надежный друг Фабиан фон Шлабрендорф был командирован с тайной миссией в Берлин — разузнать о других группах в тылу. Так возникли связи с кружком Герделера, где от проектов будущего устройства перешли к планам государственного переворота.

Павших в бою воинов уносят на крылатых конях в Валгаллу девы-валькирии. План «Валькирия» разработал генерал от инфантерии Фридрих Ольбрихт. Главными очагами восстания должны были стать Кёльн, Мюнхен, Вена и, конечно, Берлин. Войска, расквартированные во Франкфурте-на-Одере, займут восточную половину столицы, дивизия «Бранденбург» изолирует ставку фюрера в Восточной Пруссии. Летом следующего, 1942 г. Треско поручил своему подчиненному, штабному офицеру I-с Рудольфу Кристофу барону фон Герсдорфу заняться не совсем обычным делом — приготовлением взрывчатки. Герсдорф догадался, с какой целью; официально считалось — для борьбы с партизанами.

### *Опять повезло*

В последний день января и начале марта 1943 г. капитулировали южная и северная группы окруженных под Сталинградом и в самом городе войск; в плен попали двадцать одна немецкая и две румынские дивизии. 150 тысяч немецких солдат были убиты, 91 тысяча во главе с командующим Шестой армией Фридрихом Паулюсом, за день до капитуляции получившим звание генерал-фельдмаршала, сдалась в плен (из них вернулось домой после войны лишь около шести тысяч). Гитлер объявил государственный траур. Геринг, патологически тучный, широкозадый и разряженный, как павлин, патетически сравнивал Сталинград с Фермопилами. Доктор Геббельс провозгласил тотальную войну. Германия все еще контролировала огромную территорию от греческого архипелага до Норвегии и от Пиренеев до Прибалтики; в тылу у воюющей армии находились западные и южные области европейской России, Украина, Крым, Северный Кавказ, на Эльбрусе развеялся флаг со свастикой. Но вера в победу, вера подавляющего большинства немецкого населения, была потрясена.

В феврале и марте Гитлер совершал инспекционную поездку по ближним тылам, был в Запорожье и Виннице. Геннингу фон Треско удалось добиться, чтобы фюрер дополнительно посетил штаб группы «Центр» под Смоленском. На аэродроме Гитлера со свитой, лейб-врачом и поваром встретили Гюнтер фон Клуге, премьер-министр Бока на посту командующего, и первый офицер штаба, теперь уже полковник Треско. После совещания с армейскими командующими и штабными чинами состоялся обед в офицерском казино. Треско намеревался застрелить Гитлера. Это оказалось невозможным. Перед возвращением на аэродром Треско попросил начальника сопровождающей команды взять с собой в самолет пакет с двумя бутылками коньяка в подарок одному офицеру в ставке верховного главнокомандующего. К самолету фюрера подъехал Шлабрендорф с пакетом: в бутылках, снабженных английским детонационным устройством, находилась смесь тетрила и тринитротолуола.

Короткие проводы, «фокке-вульф» «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолет со свитой исчезли в облаках. Шлабрендорф (которому посчастливилось дожить до конца войны) описал подробности этой истории. Взрыв должен был произойти в воздухе через полчаса после старта. Через два часа поступило сообщение о том, что фюрер благополучно приземлился в ставку. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящен в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до начальника сопровождающей команды: произошла, сказал он, путаница и пакет не надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и убедился, что детонатор не сработал.

### *Новые попытки*

В День памяти героев фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было через восемь дней после неудачи в самолете, 21 марта 1943 г. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием все той же армейской группы «Центр». Вести почетных гостей и давать объяснения должен был откомандированный с фронта вышеупомянутый барон Герсдорф. Теперь он был уже посвящен в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывное устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время — десять минут; террорист предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться вместе с вождем.

В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова ничего не получилось. Гитлер спешил и, обожав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.

Можно кратко упомянуть о других попытках. Двадцатичетырехлетний, увешанный боевыми наградами капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, между прочим, ставший на фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным рвом пять тысяч евреев, вызвался взорвать себя и Гитлера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налете. Бусше приготовился к новому покушению — вождь неожиданно отбыл на дачу — крепость Берггоф в Баварских Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу; заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент охрана не пропустила Клейста на дачу.

Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный оттенок героического пессимизма в духе Ницше. Что бы ни случилось — нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV» предусматривал в качестве главной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были подготовлены приказы командирам частей. Оставалось устранить величайшего стратега. Фабиан фон Шлабрендорф, один из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова Треско:

«Гитлера надо попытаться убить *à tout prix* (любой ценой). Но даже в случае неудачи нужно тем или иным путем осуществить государственный переворот. Дело не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Все остальное несущественно... Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдется десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».

### *Армия и режим*

Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.

Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 г. В конце XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 г. в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после родов; младшие братья были тоже близнецами. Мать Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой прусского полковода Гнейзенау. Отец — шталмейстер и камергер, впоследствии обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг приходился двоюродным братом графу Йорку фон Вартенбургу, одной из главных фигур Крейсаяского кружка.

Восемнадцать лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько позже в числе многообещающих молодых офицеров с перспективой карьеры в генеральном штабе он был направлен в берлинскую военную академию.

Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный тридцатилетний темноволосый и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и нищезанца с даром предвидения сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.

Граф Штауфенберг мог презирать с высоты своего офицерского достоинства вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог брезгливо отстраняться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 г., как и то, что за ним последовало, у Штауфенберга не вызвал. Считалось даже (до недавних пор), что он был в молодости горячим сторонником Гитлера. Исследования опровергают эту версию. Верно, однако, что он разделял взгляды и настроения своей касты. У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не по определению было ее недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм, дух агрессивной молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному сплочению, решимость свести счеты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 г., как хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кавальным,— весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать — в той или иной мере — сочувствия в офицерской среде. То, что в первые же недели национал-социалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить нечего; в большей или меньшей степени его разделяли многие; хаотическую книгу Гитлера «Моя борьба», где еще в 1924 г. была выдвинута программа уничтожения евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашенная Третья империя (первая — средневековая Священная Римская империя, вторая — империя Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160-ю статью Версальского договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность,— к 1939 г. вермахт должен был насчитывать тридцать шесть дивизий, свыше полумиллиона солдат, соответственно возрасту должен был и командный состав, для десятков тысяч откроются возможности карьеры, а там и вдохновляющее видение новой, на сей раз победоносной кампании,— сердца вояк были отданы новому режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих — одних раньше, других позже.

### *Рубикон*

Штауфенберг участвовал в «польском походе», в разгроме Франции; был откомандирован на Восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско; зимой сорок третьего года, в дни сталинградской катастрофы, в Таганроге безуспешно пытался склонить командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском комплоте. На вопрос, что делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!»

Приехав домой с фронта в трехнедельный отпуск, он узнал, что его переводят в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-а.

Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позицию, ночью, в кромешной тьме, был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронесся мимо и, обернувшись, крикнул: «Можете продолжать!»

Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск в Тунисе (в плен попало около двухсот тысяч человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 г., случилось несчастье: штабную машину 10-го дивизиона атаковал на бреющем полете американский бомбардировщик в открытом поле близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья. Это был тот самый участок, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.

Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумертвого Штауфенберга. Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке; он потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить свое непреклонное намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год нам предстоит! Если мы останемся в живых, все остальные годы поблекнут перед ним...» Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти Германию.

### *Первые раскаты грома*

На самом деле то, что «предстоит», было совсем рядом. Утром 19 января 1944 г. в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был арестован и увезен в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на Принц-Альбрехт-штрассе, нечто сходное с московской Лубянской. Арест, судя по всему, не имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведется слежка, Мольтке счел своим долгом предупредить того об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке, в свою очередь, был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спустя он был переведен в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтку, он содержался в относительно сносных условиях; после 20 июля, однако, все изменилось.

Тучи сгустились и над Карлом Герделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чем дело, о чем могло разнюхать гестапо, оставалось неизвестным. Герделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля и еще некоторое время спустя.

### *Доложите обстановку*

Положение на фронтах к середине июля 1944 г. было следующим.

На юге генерал Александер, командующий силами союзников в Италии, продвигаясь вверх по Апеннинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские, американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии — открылся давно обещанный второй фронт. Теперь союзники находились на подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции, был тяжело ранен, его место занял Клуге, не обладавший военным гением Роммеля.

Капитальную угрозу, однако, представлял Восточный фронт, где Красная Армия, терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; тридцать восемь дивизий вермахта были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией, через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20

июля бои шли приблизительно в двухстах километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин, Львов; на юге войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.

Ежегодно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация громила немецкие города, ежегодно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжелые разрушения претерпели Гамбург, Берлин, города Рурского угольного, железорудного и промышленного бассейна. Начались систематические налеты на румынские нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и танков.

### *Волчья нора (1)*

Задача — убить сразу троих: Гитлера, Гимmlера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен был вспыхнуть мятеж. Возможность представилась 6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гимmlер и Геринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был снова вызван в Берггоф. Адъютант приготовил машину и самолет, с тем чтобы тотчас после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания. Начальник общевойскового управления верховного командования генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартенбург — знакомые нам лица — ждали сигнала. Но Гимmlер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг предпочел отложить покушение.

Наконец 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный городишко с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг — густые хвойные и лиственные леса, камышовые озера, обычный ландшафт Восточной Пруссии. В шести километрах от аэродрома находилась главная штабквартира верховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под бетонным покрытием толщиной в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налета. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного, рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным, шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В углу справа от входа — круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.

Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлер-штрассе. Вместе с одиозным полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвященный в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу к ставке. На самой территории, перед входом в барак — но не внутри — стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате. На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гимmlер и Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка будет здесь; но до половины третьего, когда все закончилось, он так и не приехал; не было и Геринга.

Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 г.), пожелал предварительно ознакомиться с докладом; речь шла о подготовке пятнадцати «народно-гренадерских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской «Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое — Кейтель, Фромм и Штауфенберг — вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.

Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришел новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.



### *Новый Сулла*

Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, самый, может быть, значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 г., с начала второй мировой войны находился на Западном фронте, участвовал в походе на Францию и провел, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину и Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего оккупационными силами во Франции генерала Карла Генриха фон Штюльпнагеля. Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется запись (от 29 апреля 1944 г.), из которой видно, что Юнгер скептически относился к этой аванюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».

Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 г. Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения, а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.

Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всемирно или почти всемирно известным участникам? Это были люди, прекрасно осведомленные о ситуации; но что они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.

Некоторые из них, например, Герделер, все еще думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Еще в январе 1943 г. конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул с общего согласия требование безоговорочной капитуляции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались). Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.

Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантурой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь моральный характер. Убрать Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени политиками, чем защитниками нравственного закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что вопреки всему они предпочли действовать, состояло их величие.

### *Молчание*

Спросим себя (несколько расширив тему): что делать честному человеку перед лицом преступного режима? Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого национал-социализма, противостояние двух режимов заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросавшееся в глаза; осознание подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция по самой своей природе являются преступными организациями, сравнительно поздно пришло даже к тем, кто честно стремился разобратся в происходящем. Тем не менее по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени, режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве он живет. Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот, кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли бы взять на себя только военные. Но ничего подобного Двадцатому июля не было в СССР; до сих пор мы не слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о каких-либо мятежных замыслах в ближайшем окружении Сталина или в военной среде. Многочисленные «враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы кое-что прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где национал-социализм был разбит стальной кувалдой войны, а последующие годы стали временем радикального рас-

чета с прошлым, в России ничего подобного не произошло, и до сих пор, по-видимому, значительная часть народа не отдает себе отчета в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.

Протест, сказали мы, был невозможен. И все же кто-то протестовал. Автору этой статьи известны группы молодежи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перейти к более активным действиям. Эти мальчики и девочки исчезли бесследно, система тотальной слежки и всенародного доносительства не пощадила ни одного. Но они были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере искупило молчание взрослых.

### *Волчья нора (2)*

Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как раз то время дня 20 июля 1944 г., когда военный самолет, в котором сидели полковник Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург. Там ждал «мерседес» с шофером.

На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель, где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения.

Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцепленную зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден, решили вместе позавтракать. Мимо последнего контрольного поста въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шоферу ждать: в 13 часов он должен возвратиться на аэродром.

Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» — крикнул майор. Штауфенберг вошел в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезенное с собой находилось в двух пакетах, каждый весом в килограмм. Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда неожиданно вошел дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фелльгибель. (Генерал разведывательной службы Эрих Фелльгибель был тоже посвящен в заговор.) Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант возятся с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошел в барак.

### *Совещание*

«Иду, иду...» — сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С портфелем под мышкой он вошел в комнату, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чем не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, — проговорил Штауфенберг, — позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру...»

На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер. Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25 человек.

Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу.

Он был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую обстановку на фронтах. Фрейэнд помог изувеченному полковнику встать справа от докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, — и поближе к себе и Гитлеру. Теперь портфель стоял, прислоненный к правой тумбе, к ее наружной стороне, так что между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг — справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник Брандт, который год назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско взорвать самолет диктатора при помощи мнимого конька.

Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему надо срочно позвонить по телефону. Хождение во время доклада не возбуждалось, никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернется.

У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднес к уху, положил трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал кабриолет с Гефтенем. Штауфенберг сел впереди рядом с шофером. «Вы забыли фуражку», — сказал шофер. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40. Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.

### *Обратный путь*

Сигнал тревоги еще не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид и величественная осанка штабного полковника с черной повязкой на глазу, с пустым левым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели свое действие, машину пропустили.

У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он тоже еще не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось, кабриолет с поднятым верхом понесся дальше по лесной дороге, между озерами, но шофер заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.

Миновав на большой скорости уединенное поместье Вильгельмсдорф, миновав третий пост, достигли аэродрома. Шофер развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15 минут трехмоторный «Хейнкель-111» поднялся в воздух и взял курс на Берлин.

### *Мятеж*

В начале второго — самолет в Растенбурге только что стартовал — в генеральный штаб, пятиэтажное здание на Бендлер-штрассе (ныне улица Штауфенберга, между Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило первое известие из Волчьей норы — телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловразумительная:

«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».

Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что он не убит? Но, главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли что-нибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника генерала Ольбрихта, он поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным округам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валькирия». Тем временем самолет со Штауфенбергом и Гефтенем приземлился на берлинском аэродроме Рангсдорф. Адъютант позвонил с аэродрома на Бендлер-штрассе и сообщил, что покушение удалось.

Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учебных и резервных частей получили следующую депешу:

«Фюрер Адольф Гитлер мертв!

Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи с целью поддержания правопорядка объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с командованием вермахта исполнительную власть.

Приказываю:

Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях... (далее перечислялись имена командующих армейскими группами «Запад», «Юго-Запад» и «Юго-Восток», а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и выдержки зависит спасение Германии.

Подпись: Верховный главнокомандующий вооруженными силами генерал-фельдмаршал фон Вицлебен».

Никакого «правительства» восставших пока еще не существовало. Одновременно был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и телеграфа, арестовать всех министров, гаулейтеров (партийные заместители, нацистский аналог секретарей обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности), обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло имя генерала Фромма, сам Фромм о нем не знал.

### *Он прибыл*

Штауфенберга все еще не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но фюрер жив, он отделался легкими повреждениями.

В половине четвертого в здании на Бендлер-штрассе, обычно называемом Бендлер-блоком, наконец появился Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул дверь своего кабинета — там его ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и еще несколько человек — и с порога, не здороваясь:

«Он умер. Я видел, как его вынесли».

В присутствии Ольбрихта он подтвердил это Фромму. Тот покачал головой: Кейтель заверил его в противоположном.

«Фельдмаршал Кейтель лжет, как всегда. Я сам видел, как Гитлера вынесли мертвым», — сказал Штауфенберг.

Ольбрихт объявил Фромму, что приказ о начале мятежа уже отдан. Фромм, побледнев, спросил, кто отдал приказ. Ольбрихт ответил: «Мой начштаба, полковник Мерц фон Квирнгейм». Фромм велел вызвать Квирнгейма: «Вы арестованы».

«Господин генерал-полковник, — возразил Штауфенберг, — я включил взрыватель во время совещания с Гитлером. Взрыв был как от пятнадцатисантиметровой гранаты. В комнате никого не могло остаться в живых!»

«Граф Штауфенберг, покушение провалилось. Вы должны немедленно застрелиться», — сказал Фромм.

«Я этого не сделаю».

Ольбрихт напомнил Фромму, что пора действовать. Промедление грозит гибелью отечеству.

«Значит, и вы, Ольбрихт, участвуете в путче?»

Ольбрихт отвечал, что он лишь представляет тех, кто берет на себя руководство в Германии.

«В таком случае я объявляю вас всех троих арестованными!»

«Вы ошибаетесь. Это мы вас отправляем под арест».

Фромм замахнулся на Ольбрихта, тут появились Клейст и Гефтен. Под дулами пистолетов генерал был препровожден в соседнее помещение. Его пост должен был занять генерал-полковник Эрих Гепнер, уволенный в свое время из вооруженных сил за то, что отдал приказ об отступлении под Москвой.

Людвиг Бек, который должен был стать будущим главой государства,— о Беке говорилось в начале этой статьи,— явившись в Бендлер-блок, сказал, обращаясь к заговорщикам (эти слова сохранил очевидец):

«Господа, мы на развилке истории. Положение на всех фронтах безнадежно. Долг всех мужчин, всех, кто любит эту страну,— из последних сил добиться нашей цели. Не получится, ну что ж, мы по крайней мере не будем мучиться сознанием нашей вины. Для меня этот человек все равно мертв. Доказательства, что он не убит, не подменен двойником, могут прийти из ставки только через несколько часов. До этого мы успеем взять в свои руки власть в Берлине».

### *Фанера, стекловата*

Что произошло в Волчьей норе?

Массивный стол был расщеплен и обрушился, стулья поломаны, на месте, где стоял портфель Штауфенберга, в полу зияла широкая дыра. Стекла всех пяти окон вместе с рамами вышибло взрывной волной. Почти все, кто находился в бараке, оказались сбиты с ног, но никто не был выброшен наружу. Четверо человек были тяжело ранены и скончались на месте или в тот же день. Остальные получили легкие ранения, вполне невредимым остался только шеф верховного командования Кейтель. Среди хлопьев полуобгорелой бумаги и стекловаты, обломков мебели, осколков стекла сидел Гитлер. Его брюки и кальсоны были порваны в клочья, на левом локте небольшой кровоподтек, на тыльной стороне ладони несколько ссадин. Лопнули обе барабанные перепонки, но слух не пострадал. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал... Кругом измена!»

Спрашивается, почему он уцелел. Несколько обстоятельств могут это объяснить. Во-первых, удалось использовать только половину приготовленной взрывчатки. Во-вторых, портфель был оставлен с наружной стороны тумбы. В-третьих, и это главное, стены барака были из слишком легкого материала, что ослабило взрывную волну; если бы совещание проводилось в бункере (на что надеялся Штауфенберг), не уцелел бы никто.

Только спустя два часа подозрение пало на однорукого полковника. Вахмистр Адам доложил, что видел, как полковник без фуражки и без своего портфеля поспешно покинул барак. Шофер, доставивший Штауфенберга и адъютанта Гефтена на аэродром, сообщил, что из окна машины выбросили какой-то предмет. Ввиду особой важности его показания шофер был препровожден к «секретарю фюрера» и начальнику партийной канцелярии Борману. Спецподразделение службы безопасности разыскало пакет. Но далеко не сразу гестапо сообразило, что дело идет не об одиночном покушении и даже не о попытке путча узкого круга высших офицеров, а о разветвленном заговоре.

### *Судороги мятежа*

К шести часам вечера в Берлине караульный батальон «Великогермания» оцепил правительственный квартал, полковник Ремер, командир батальона, собирался арестовать Геббельса. Министр пропаганды, занимавший одновременно посты гаулейтера Берлина и рейхскомиссара обороны, находился у себя на квартире на Герман-Геринг-штрассе. Геббельс выглянул в окно, увидел фургон с солдатами и по телефону поднял по тревоге лейб-штандарт СС «Адольф Гитлер». Кроме того, Геббельс связался с Волчьей норой и говорил с фюрером. Но до открытого столкновения с караульным батальоном не дошло. Ремер сумел повернуть дело так, что он хотел-де защитить правительство от мятежников.

Один за другим в Бендлер-блок прибыли представители разных групп сопротивления, среди них Герстенмайер от Крейсауского кружка, Отто Йон и Ганс-Бернд Гизевиус из контрразведки. Бек был в штатском. Вицлебена представлял граф Шверин. Затем явился и сам Эрвин фон Вицлебен, в парадной форме, при ордене, с фельдмаршалским жезлом. Реальными действующими лицами оставались, однако, офицеры средних рангов — прежде всего тот, кто уверял, что Гитлер погиб.

Он не отходил от телефона. Йон слышал, как он звонил в разные концы. «У телефона Штауфенберг... Приказ командующего резервной армией... Вы должны занять все пункты связи... да, всякое сопротивление должно быть сломлено... Приказы из главной ставки фюрера недействительны. Вермахт взял на себя всю исполнительную власть. Вицлебен назначен верховным главнокомандующим, совершенно верно... Государство в опасности... Немедленно приступить к...»

В Париже генерал Штюльпнагель приступил к действиям весьма успешно. Известие о государственном перевороте пришло в отель «Мажестик», резиденцию командующего оккупационными силами, в 16 часов. По приказу командующего руководители парижских СС и СД, а также чины гестапо в полном составе были арестованы; вооруженные отряды остались сидеть в казармах. Но в 20 часов Штюльпнагель был вызван к фельдмаршалу Клуге, который сообщил, что по только что полученным сведениям покушение на фюрера не увенчалось успехом.

На другой день Штюльпнагель получил приказ из Берлина срочно прибыть «для доклада». Он ехал в машине с двумя унтер-офицерами. В долине Мааса, недалеко от Вердена, генерал вышел из автомобиля, велел сопровождавшим ехать вперед, после чего выстрелил себе в голову. Он был доставлен в ближайший госпиталь, остался в живых, но ослеп.

### *Полночь*

Поздно вечером 20 июля на Бендлер-штрассе генерал-полковник Фромм, выпущенный из-под стражи офицерами из штаба Ольбрихта, арестовал руководителей путча: Бека, Ольбрихта, Гепнера, Мерца фон Квирнгейма и Штауфенберга вместе с адъютантом Гефтенем. Вицлебен успел покинуть здание.

Бек попросил разрешения воспользоваться оружием, как он выразился, «для личной надобности» и, приставив пистолет к виску, выстрелил, пошатнулся, опираясь на Штауфенберга, выстрелил еще раз, но все ещё был жив. Клаус Штауфенберг не мог прийти в себя от гнева. Глядя на Фромма, стоявшего в дверях, он коротко заявил, что берет всю ответственность на себя: остальные лишь выполняли его приказы. Фромм велел адъютанту вызвать расстрельную команду из десяти человек. Арестованных вывели во двор, где стояло несколько штабных машин. Шоферам было приказано включить фары.

Первым упал Ольбрихт. Следующим был Штауфенберг, он успел крикнуть: «Да здравствует святая Германия!» Гефтен бросился к нему, был сражен залпом, предназначенным для Штауфенберга, следующий залп настиг самого Штауфенберга. Бек, смертельно раненный при попытке покончить с собой, был добит. Затем расстреляли Квирнгейма.

Фромм, стоя на сиденье открытой машины, произнес речь перед солдатами, трижды рывкнул «Хайль Гитлер!» и поехал к Геббельсу.

### *Эпилог*

Так закончилась эта история. На другой день после покушения Гитлер выступил по радио. «Фюрер полон решимости искоренить всю эту генеральскую клику...» — записал в своем дневнике доктор Геббельс. Не сразу, однако, гестапо сумело докопаться, что заговор представляли не только военные. По иронии судьбы именно тайная полиция положила начало изучению истории Двадцатого июля; ныне это актуальная глава историографии нашего века, тема университетских курсов, предмет многочисленных исследований.

Кроме тех, кто был расстрелян во дворе, в тот же вечер в Бендлер-блоке были схвачены Гепнер, Йорк фон Вартенбург, Фриц-Дитлоф Шуленбург, Герстенмайер и еще несколько штатских лиц. Из них пережил конец войны только Эйген Герстенмайер, впоследствии один из основателей партии «Христианско-демократический союз». Был казнен заодно с Шуленбургом и его дядя, бывший посол рейха в Москве; арестован и расстрелян брат Клауса Штауфенберга Бертольд.

В разное время многочисленные участники заговора предстали перед так называемым народным судом в Берлине под председательством небезызвестного Роланда Фрейслера, которого Гитлер называл «нашим Вышинским». В конце войны Фрейслер погиб в подвале суда во время бомбежки.

В Плецензее, на территории нацистского исправительного дома, где сейчас находится Мемориал героев сопротивления, были повешены 8 августа 1944 г. первые восемь осужденных, в их числе Вицлебен, Йорк, Гепнер. Казнь снималась на киноплёнку для Гитлера. Все вели себя мужественно. В последующие месяцы были повешены Мольтке, Гефтен, Тротт цу Зольц, Лебер, Дельп, Гассель, Попиц и другие.

Слепого и изуродованного Штюльпнагеля палач вел к виселице под руку.

Треско застрелился в Белостоке на следующий день после покушения.

Герделера разыскали и казнили весной следующего года.

Канарис и Остер были расстреляны в концлагере Флоссенбург в Баварии. Там же и в один день с ними, незадолго до прихода американцев, был убит близкий к кругу Мольтке известный протестантский теолог Дитрих Бонгеффер.

Шлабренберг был подвергнут пыткам, но остался жив.

Фельдмаршал Роммель, знавший о заговоре, был вылечен, после чего ему предъявили ультиматум: судебный процесс или самоубийство. Он предпочел принять яд.

Фромм, расстрелявший Штауфенберга и других, был, в свою очередь, расстрелян в марте 1945 г.

Всего из 600—700 арестованных было казнено не менее 180 человек. Последняя расправа произошла над тремя участниками заговора в берлинской тюрьме на Лертер-штрассе в ночь на 24 апреля 1945 г., за две недели до конца войны.



## После Платонова

Я не помню сюжетов платоновских произведений, на памяти немногие имена героев, что запомнились не так за чтением Платонова, как за чтением научных статей исследователей. Платоноведы — одержимые люди. Они пропустили бы пучки платоновских метафор даже сквозь синхрофазотрон и давно знают куда больше о Платонове, чем он сам знал о себе... Но наука не может дать ответ ни на один из вопросов, заданных Платоновым о судьбе человека, да и на самый главный: о чем и о ком писал Андрей Платонов? И тают миражами имена героев или структура романов — все это только маскирует истинное потаенное писателя и легко забывается, если не делается предметом изучения. Однако платоновская проза ощутимо не является только литературой или просто чтением. Она заключает в себе такие видения, от которых читателю уже невозможно освободиться в реальном времени.

Я убежден, что Платонову было *страшно* жить, но не из-за обстоятельств собственной судьбы: создатель «Чевенгура» мог понимать свое существование в этих обстоятельствах только как временное, отсюда и усталость в каждом платоновском взгляде, дошедшем до нас. Главным событием той исторической эпохи было убийство Бога: не сына Божьего, но помазанника Божьего — не от неверия в посланного Богом, а от неверия в самого Бога. Поэтому блекнут события самой истории и Россия скукоживается на смертном лютом морозце до места этой казни, где каждой каплей крови и каждой человеческой слезинкой исполнялся приговор, объявленный Богу.

Никакой более страшной картины невозможно представить человеку, чем картина убийства, воспаляющая ответной судорогой выживания каждый нерв и будто бы на живой же плоти выжигающая свою реальность. Платонов видел смерть, которую сеяла революция в воронежских степях. Но что пробудила в нем первая увиденная картина смерти? То, что после никогда он не мог забыть — и настойчиво выписывал эту одну и ту же картину смерти: прекращение, убывание, исчезновение, отнятие жизни.

После распятия и воскрешения Христа свидетели описали его жизнь и учение — все, что явилось с личностью богочеловека и не было ранее предсказанным. Свидетели земного бытия Христа, впечатленные кто явленными чудесами, кто его проповедью, стали его учениками. Но в России Бога не распинали, а уничтожали. Метафизичность этого уничтожения не делает его менее действительным, ведь производило оно действие в миллионах вовсе не условное, а почти мышечно осязаемое в том, как работал молох убийств, и в одержимости нового человека в борьбе с миром Божьим как с источником страданий. Физическое же убийство Бога было вложено в такую ж осязаемую и достижимую идею построения царства всеобщего равенства на земле. Венец этого царства — смерть Бога. И каждое новое убийство во имя этой идеи было даже не жертвоприношением, а еще одним кирпичиком в ее фундамент.

Ни до, ни после, но в момент духовного убийства веры в России является писатель, изъясняющийся на чуждом собственно словесности *изначально* языке *метафор человеческого существования* со знанием того, что это убийство отнюдь не метафизично. Он его свидетель. Он ученик убитой веры, ее апостол. Некто Андрей сын Платонов, родившийся в Воронеже в семье рабочего. Русский пролетарий, верующий, что освобожденное человечество, оснащенное умными, одухотворенными машинами, способно воздвигнуть рай на земле. Инженер-мелиоратор, скитавшийся по опустошенной голодной степи как строитель вселенского рая.



Но о «России, пропахшей трупами», сказано было Платоновым в «Симфонии разума» уже не с утопическим пафосом. Что Платонов, наподобие раскаявшегося грешника, разглядел в коммунистической утопии «Россию, пропахшую трупами», этого не могло быть. Он не раскаивается в своей любви к трудовому русскому народу и в своей вере, рожденной еще в молодом человеке, одержимом идеей вселенского беззаветного строительства; но вот самого этого человека будто бы подменила встреча с чем-то. Суть платоновского писательства и дара, открывшегося в нем, — в таинстве превращения, но не в убогом социальном покаянии да осознании собственных жизненных ошибок. И могло это быть встречей только с чем-то сверхъестественным, заставившим его испытать нечто более мощное и действительное, чем даже упоение революционной мечтой, и повлекшим апостольским путем в обезбоженный *прекрасный и яростный мир*.

Это сверхъестественное также не могло явиться человеку просто так. Бог обращался к своим избранникам, самым праведным из людей — пророкам, наставляя на путь тех, кто избран был наставить на путь истины свой народ. Апостолам являлся Христос — как учитель ученикам, укрепляя их дух. Прочим смертным — для наставления их — являлись ангелы как хранители жизней человеческих всех смертных и суетных. А что было явлено простому смертному Андрею, только одному из ведомых, в безбожных воронежских степях? Ответ на это — в таинстве последующего превращения, когда мы видим Андрея Платонова — писателя страха перед концом даже шумной и яростной коммунистической стройки, в котлован которой фундаментом кладут трупы становящихся мучениками — и жертв, и строителей. А в метафорах существования слышен гул народной речи, стомленной жизнью простонародья да первобытным почти трудом. Они воплощают состояние жизни, будто б в них происходит все еще само ее творение, ощутимо животное тепло каких-то органических рождений. Но в картине каждого повествования зияет смерть, и чем сокровенней Платонов вглядывается в это страдальческое зияние, тем явственней на его поверхности проступает... образ ребенка.

Убийство ребенка, смерть ребенка или человек-ребенок, намеченный смертью как самая легкая добыча или же блуждающий, сам того не ведая, в ее сумеречных пустынных пределах, — это постоянное исповедание Платоновым какого-то ощутимо *страшного таинства*, в котором произошло однажды превращение его души. Как это было в действительности — опять же возможно только ощутить. Все написанное Платоновым внушает ощущение, что он свидетельствовал в каждом из разноликих своих детских образов о смерти одного-единственного ребенка, потрясшей его еще в молодости, когда сам он не был отцом, но воспринял умершее живое существо как Отец. Образ ребенка в его прозе во все времена пронизывало отцовское сострадание, то есть душевное свидетельство присутствия *любящего человека*. Однако взгляд Платонова — посторонний, если и не потусторонний. Ни одним усилием творческой воли он не в состоянии остановить происходящее, изменить причинность событий. Но и это бездействие не замысел, не волевое творческое решение. Платонову словно дано знание, что отсроченное или отмененное его волей и в его замысле уже ничего не изменит ни в его судьбе, ни в судьбе всего племени людей.

После превращения, произошедшего с Платоновым, проигрывание вариантов жизни утратило для него как художника смысл, и в этом платоновском *глубинном реализме* заключалось нечто более значимое: он осознал себя не просто посвященным в какое-то страшное таинство, но и смирился с присутствием в своей жизни сугубого дня. На его столе письменном водился чертик — мешчанская штамповка фигурки приплясывающего и дразнящегося беса... Ему было видение, о чем написал однажды в письме к жене: явилась темная странная фигура, в которой узнал самого себя... Вещь на письменном столе или появление потустороннего двойника — это знаки того, что в жизни человека присутствовала и вынуждала себя осознавать выходящая гнетущая сила.

Видения платоновской прозы связаны сверхъестественно во времени с тем событием, которое в России произошло под покровом непроглядной тайны: казнь царской семьи с совершением группового детоубийства. Неотступно изображая страшное таинство детской смерти, Платонов воссоздавал действительность казни царственного ребенка. Его собственное неотступное видение умирающего ребенка будто открыло в нем дар ясновидящего и ввело всем существом в круг тех сил и превращений, где он ощущал себя гнущего и страшно, тенью самого себя. Так ощущает себя Свидетель. Но и казнь, произошедшая в Екатеринбурге, была *тенью свершившегося события*. Это детоубийство свидетельствовало о казни Сына Божьего с той но-

вой силой и смыслом, как если бы прошлое, произошедшее на Голгофе, было не исполнением пророчества, а само пророчествовало о будущем новом убийстве. В этот замкнувшийся круг бытия, в мир этой вечности, сотворенной на крови Агнца, и вошел свидетелем некто Андрей, сын Платонов.

Само его отношение к понятию «революция» с этого момента утрачивает всякий смысл. Фразы «Платонов принял революцию» или «Платонов предал революцию», писавшиеся в биографические сведения новейшего времени или в личное дело писателя рукой согладатаев-партийцев, были лишь охотой за тенью. Почему же возникает снова и снова эта «тьень»? Платонов, свидетельствуя и обретая себя подлинного, становился тенью по обе стороны своей подлинности: вот он в ночном мороке видит двойника — ожившую свою тень — в том мире, который ощущает куда более действительным, чем «революцию», куда ложится от него такая ж по сути тень, только блуждающая с портфелем совслужащего и присутствующая не на тайной вечере, а на литературных проработках да собраниях советских писателей. Одна тень — воплощение действительности апокалипсиса, и она сильнее, чернее, явственней. Другая — след его то ли присутствия, то ли отсутствия в «советской действительности», неприметная и неприветливая для чужих, как замаскированный вход в настоящий, сокровенный мир. В этот мир Платонова входили только творчество да семья. Это было его подлинным. Но в ряду сверхъестественных совпадений самое гнетущее — история смерти Платонова. У него — у отца — был отнят в лагеря ребенок, сын Платон Платонов. Известно, что Шолохов помог Андрею Платоновичу выволить сына из заключения, уже смертельно больного туберкулезом. Платон умер, но отец перенял от сына туберкулез: болел, как и он, и скончался той же смертью, что и его сын, его ребенок.

Творчество — великая благодать. Но сам Творец, наделяя художников способностью преобразать действительность, жестоко защищает от человека необратимостью расплаты цельность и смысл мира как своего творения.

Есть сила гения, пробивающая запретное, недоступное людям, и этот гений, этот Проводник или Поводырь людской в зону роковых превращений, будет за свое знание о ней назначен к точно такой же по своему смыслу расплате: его знание, словно недоимка, станет его же роком — долгом, что взыскан будет отнятой волей к жизни. Платонов воссоздавал действительность новозаветного детоубийства, но свидетелем русской истории как пути на Голгофу с закланием Агнца на ее вершине стал человек не близкий к Богу, а тот, неотвратимо далекий от Него, кто в своем воображении или сознании связал в одно космическое событие физическую смерть Агнца и духовную — Бога. Своими муками на кресте Сын Божий искупает первородный грех, и после, с Его воскрешением из мертвых, людям открывается путь в бессмертную жизнь, в Царствие Небесное. Платонов без всяких сомнений понимал эту библейскую причинность, но всю силу своей духовной веры обратил в отрицание всеискупающей жертвы, видя в смерти Агнца и смерть Бога, понимая строительство мира на жертвенной крови как апокалиптическое его крушение... Платонов не поверил в воскрешение через смерть. Платонов, осознавая мир как творение и присутствие в нем высших сил, не поверил в отцовство Бога.

Природа, существование, ребенок — священный круг платоновской прозы. Но в этом круге мироздания пусто место Бога. Идея воскрешения погибших, восстания человека из царства мертвых внушена Платонову не верой в Бога, а неверием в Его отцовство над природой и людьми. Воскрешающая сила, по Платонову, — любовь, но опять же не к Богу. Это любовь, исступленно не признающая смерти, — природное вживание в сотворенное твоей же любовью существо. Платонов говорит, что вечно любовь матери к своему ребенку и не истребима никакой силой. Также понимает он любовь, как вживание души Отца в душу Сына. Рушит эту *вечность любви* не смерть как таковая, а посыл волею к смерти. Отец не может послать на смерть, если любит своего Сына, воскрешение же из мертвых невозможно без любви.

Платонов вдохновляется самой идеей воскрешения и верит в ее действительность, в дарованную после смерти вечную жизнь как в посыл любви. И все это остается накрепко связано в его сознании с неким свершившимся событием, о чем свидетельствовал Платонов-художник. Россия, пропахшая трупами, — это не метафора. Трупы усеяли русскую землю: она кормится смертью — и несет смерть засухой, недородом. Природа заражена смертью, существование людей неподлинно, жертва сокрушительна... Воскрешение невозможно без очищения природы и человечества. Возникает страх, что некому любить: перерождаются природа и человек, исчезая как источники любви. И все творчество Платонова есть преодоление этого страха.

Это многослойный и многотрудный путь от самой первой книги стихов «Голубая глубина» до недописанной драмы «Ноев ковчег». Творчество Платонова движется духовными этапами и свободно по форме. Он драматург и сценарист, сказочник и очеркист, прозаик и поэт, читатель и критик, научный изобретатель и философ. Но во всех своих ипостасях Платонов един, ибо все соединяет и объемлет в себе *гений* — такая сверхъестественная цельность воли и природного дарования в человеке, что уже не требует творческих поисков той же самой цельности и ведет лишь путем открытий. Приход к определенной художественной форме для гения — суть внешнее. К ней ведет его предчувствие открытия. Выбор между жанрами и родами искусства здесь существует только как выбор того или иного способа заявить об открытии. Платонов в «Симфонии разума» или в «Мусорном ветре» обращается к общей теме, размышлениям о человеческой цивилизации, но ее звучание то громче и обширней, с пафосом философского трактата, то тише и обыденней, с пафосом драматического повествования о судьбе заурядного человека, потому что это открытие для человечества и открытие сокровенного в человеке сообщают общей теме разнотельный пафос.

Платонов писал о смерти. Так как смерть не может быть безлична, то писал о смерти человека, коровы, растения — живого существа: что было смертно, то было для него — парадоксально — и живым, одушевленным отцовской любовью или детской слабостью страдания. Платонов заморожен не самой гнетущей картиной умирания, а смертью как трагическим преображением *вещества существования*, то есть живого, и все его герои также находятся в этих странных — замороженных, медленных — отношениях со смертью. Духовно он следует этапами смерти, одолевая главные ее состояния для человека: свидетеля чужой смерти; утрачивающего любящего или любимого; расстающегося с родным существом; умирающего в силу естественного прекращения сил или испытывающего суицидную тягу к смерти; идущего на смерть как на воинский подвиг; приговоренного к смерти и ждущего казни; новорожденного на свет в природной мене со смертью... Последнее стало фабулой «Счастливая Москва» — эпилогом к великой личной теме.

Толстой и Достоевский таили в себе страх — сомнение перед смертью, лишь давая понять, что место любви к Богу в человеческих сердцах опустело и душа без любви влечется к преступлению, но любовь убита в человеке не чем иным, как испытанием справедливости мира Божьего, по сути — испытанием веры. Эта недосказанность предвосхищала неизбежное появление в России того, кто должен был все досказать. Наступивший век давал своей стихией невиданную свободу новому гению и готов был к откровению о начале апокалипсиса. Из отмеченных избранничеством Платонов выдержал все простые, но и невероятно тяжкие испытания, которых не прошли двое оставшихся: он не предал самого себя и не зарыл в землю написанного — тот, кому дано было ощущать всю меру страха, оказался не сломлен и не разрушен страхом. Гений же апокалипсиса и должен был преодолеть Страх.

Читая, мы изучаем книги, только если в них заложено некое задание. Каждая книга содержит какое-то знание о жизни, но не каждая содержит в себе задание. Проза Платонова есть главный рассказ о бытии человеческом, однако в ней нет самого библейского задания, так как это рассказ о жизни человеческой без Бога. Это откровение, но весть не о будущем, а уже о начавшемся: о вступлении в действие тех сил, которые обрекают человечество на умирание.

То, что преподается сегодня о Платонове, уводит от истинного знания о нем. Книги Платонова стали учебниками, потому что читателю внушили ложную мысль, что платоновская проза — это сложнейшее эстетическое создание. Так совершается со времени возвращения Платонова обман, или подлог, потому что он никогда не писал для эстетов. Его творчество было обращено именно к простым людям, а слова и мысли так же ясны, просты. Он не создал духовного учения, но взгляд его на человека и на мир как цельность содержит в себе ценнейший нравственный и духовный опыт — *философию существования*.

У нас верят во что угодно применительно к Андрею Платонову. При грубейших доказательствах готовы верить в Платонова-соцреалиста, при малейшей игре ума и воображения готовы поверить в Платонова-сюрреалиста и этими суевериями утоляют свою скучную жажду верить. Между тем великая картина платоновской прозы — это не копия с реальности тех самых лет, а явленная действительность будущих событий. Это то, что можно назвать «фантастикой», если не верить в единство всех

бывших и будущих событий. Платонов создал новый духовный простор там, где все было бы без него крошечно спрессовано смертью и ощущением конца. Он исповедовал любовь и как последнее спасение — воскрешающую любовь к мертвым. Не к мертвецу, а к тому ребенку, которым предстает перед смертью каждый человек. Преданность этой любви и этому сознанию в Платонове была такова, что, если бы Бог был смертен, именно тогда он бы ощутил Его живым — и уверовал бы в Него, и возлюбил. И это страстное подлинное отрицание Бога более всего свидетельствует о религиозности Платонова и об искреннем осознании им Бога как вечности, против которой он восставал.

Но читательская любовь, воскрешая писателя из мертвых, являет собой свершившийся суд. Богом ниспосланная, любовь и есть отсвет высшего суда: она вложена в людские сердца знамением о том, что свершилось после смерти. Творец всего сущего на Земле так вот воскрешает творцов — как сущее. Воскрешает любовью. Понять же Платонова — значит и понять слепость, поспешность поэтической строки, ставшей у нас вездесущей: «Они любить умеют только мертвых...» Обращенное к России и к русскому народу — но не к Богу — это звучало и звучит то с презрением, то с искренней болью, и никто отчего-то не отдает себе отчета, что воскрешающая — именно эта любовь, «любовь к мертвым». Мы любим Пушкина. Мы любим Толстого... Мы любим Платонова.

*Январь, 2000 год*



# Литературная критика

## Панорама

### Прорваться к истине

●

**Валерий Земсков. ЛАЗАРЬ. Роман. ПОДЗЕМНАЯ БАБОЧКА. Рассказы.** М., «Академический Проект», 2000.

●

Есть ли возраст для писательского становления? Очевидно, есть, только для каждого он свой. Валерий Земсков в литературе живет давно — как литературовед, ученый, автор академических трудов. Писатель Земсков вырос из литературы, причем вырос недавно — дебютировал он в 1994 г. романом «Четвертый город», в котором опробовал игровую технику письма, скрывшись под псевдонимом Вал. Анохин. Приемы игровой поэтики — сами по себе вряд ли способные кого-либо удивить в наше время — оказались настолько органичны художественному мышлению автора, что в новой книге писатель Анохин зажил самостоятельной жизнью, оказавшись героем-повествователем романа «Лазарь».

Игровая поэтика, писатель из академической среды — а что если это постмодернизм, да и дурной? Воздержимся до времени (следуя главной идее книги) давать окончательный ответ — он возникнет сам собой, как возникает постепенно, страница за страницей, ее скрытый, тяжкий смысл, берущий душу и прорывающийся сквозь словесные игрища. Эти игрища, впрочем, — важная составная часть поэтики В. Земскова, в них он вкладывает немалую долю своих сокровенных помыслов, облегчая себе самому мучительные поиски ответа на «последние вопросы», ведущиеся неостановимо в каждой из вещей этой книги.

Однако почему — «книги», если под обложкой собраны действительно разные вещи, тем более что рассказы писались отдельно от романа и в разное время? Дело в том, что и роман, и по-своему продолжающие его рассказы в данном случае образуют определенную художественную целостность, пусть даже и неосознанно сложившуюся. В рамках этой целостности роман «Лазарь», будучи совершенно самостоятельным произведением (как и каждый из рассказов), является смыслообразующей

основой, в соотношении с которой рассказы обретают особое, надсобытийное содержание, отличное от непосредственно сюжетного. Что до романа, то он может и будет читаться разным читателем по-разному: это и детектив, и рассказ о судьбе искусственного языка эсперанто, и романтическая повесть о несчастной любви с примесью чертовщины, да и много что еще. Идеологически ориентированного читателя ждет искушение прочесть роман как притчу о рухнувшей надежде («эсперанто» и означает «надежда») на воплощение мировой утопии, которой на другом сюжетном уровне соответствует образ рухнувшей башни (читай: Вавилонской). Башне этой, символизирующей императив моноидейности, единомыслия («воцарение философии единицы»), в образной ткани романа противопоставит раскидистое дерево (Древо Жизни), как раз и хранящее в себе тайну нереализованной «второй системы» — природно-органичного языка будущего (или адамического прошлого), «озаренного языка», преодолевшего рационалистскую косность языка-артефакта. Жестокая драма двух антиномичных начал разыгрывается на немом фоне костела, опосредующего трансцендентность надмирного Слова.

Действие происходит в литовском местечке с вымышленным названием Сейвейяй, связанном с именем Людвика (Лазаря) Заменгофа, создателя эсперанто. Здесь, в галдящей толпе эсперантистов, собравшихся со всего света, писатель Анохин оказывается свидетелем, действующим лицом и регистратором драматических событий, происходящих в разных слоях времени. Профессиональный литературовед тут же обратит внимание на выделенность хронотопов: пивная — профанный топос, где развязываются языки; библиотека — хранилище сотворяемой *Liber Mundi* и костел — сакральное обиталище Логоса. Искушенный филолог подивится редкому случаю нечаянной поэтической этимологизации: ведь *Сей-вейяй* — это полный аналог девиза всемирно известного лексикона Лярусс «Я сею на все ветра». Есть и еще один способ видения романа, близкий современному мышлению, воспитанному на категориях виртуальных измерений, но заведомо чуждый повествователю, декларативно бегущего компьютерной стихии. Мир романа подобен компьютерной игре: каждый образ, каждая метафора, каждый сюжетный ход в нем чреваты бесконеч-

ными смыслами; стоит в него войти, и он разворачивается и открывается в иную реальность, где обнаруживаются новые смыслы и новые аспекты, новые ходы — и так до бесконечности. Ветвятся линии смысловых рифм, восходящие от дерева романа к кроне рассказов, но и смыслы микроповествований ветвятся, множатся, отражаются друг в друге, разбиваются и аннигилируют. Весомость жизненной смыслопоры улетучивается, исчезает подобно бабочке («Лазарь»), тает в грозном небе («Мотылек»), превращаясь в невнятность эфемерных звуков, в лепечущее Первослово, запредельное и невоплотимое («Стило», «Имя любви»).

Искавший идеала Лазарь «хотел дойти до истоков, до первозвуча, до языка птиц», а его множественные отражения, или осколки — герои рассказов, — отчаянно стремятся обрести каждый свой сколок одного и того же, в сущности, идеала: прорваться к истине, к самому себе, к другому, к единству, преодолеть границы собственной телесной оболочки, достичь окончательной слиянности с чем-то, что превышает тварной, брэнной природы человека. Но каждая попытка кончается крахом, поражением, и каждый раз пытавшийся прорваться сквозь преграду между «здесь» и «там» оказывается униженным, поверженным, еще более отчаявшимся. Невозможно извлечь звук из одной половинки разбитой двойной флейты Пана, но и желанное соединение неосуществимо («Два дыхания»). И всякий порыв, тем более эротический, оказывается фрустрированным. Вот почему поэтика повествования Земскова столь маркированно эротична: ведь Эрос и Логос суть взаимососносимые категории миропознания, равно ориентированные на преодоление преграды. Преграда неодолима, но неодолимо и стремление выйти за ее предел. Материальными знаками онтологической преграды в книге служат многочисленные предметы (статуетки, булавки, стило, записки и т. д.), определяющие судьбу людей. И только слово способно преодолеть препоны материальности и достичь метафизических пределов подлинности. Но для этого оно парадоксальным образом должно обрести жизнетьворческую силу, а значит воплотиться, в эротическом смысле стать плотью, *восстать* и погрузиться в первозданную бесконечность времени/пространства.

Тем самым автор, вольно или невольно, смыкает начала и концы своей онтологической концепции, выходя на близкую ему как ученому эсхатологическую проблематику. Ибо на самом деле вечно и вневременно именно имматериальное, звучащее слово, а не слово, записанное тем ли, другим ли способом, — будь то прямой нейрофизиологический контакт руки с материалом (камнем, деревом, бумагой) или абстрактное об-

щение с компьютером. Не случайно мертвому и холодному безразличию буквопечатающего металла противостоит анонимная, но живая фигура неграмотного акына с его дописьюменным, из поколения в поколение передающимся *звучащим* словом — словом, подлежащим вечности и потому непреходящим. Но это — идеал, достижение которого невозможно: «Ветер развеет башню из песка, пребудет только жажда» («Лазарь»). Ибо в принципе невозможно ни познание мира, ни обретение Абсолюта, Идеала, ни бытийного или социально-исторического оптимума, и мудрый урок книги состоит в мужественности этого признания. Вопреки канонической традиции русской словесности писатель признает, что он не пророк, что он никуда никого не ведет, поскольку путь ему неведом, и что дело искателя истины — задаваться мучительными вопросами, а не диктовать ответы.

К сожалению, новаторство книги не отменяет ее слабостей — приходится признать, что не все рассказы отвечают уровню замысла. Впрочем, этот недостаток с лихвой возполняется колоссальной культурной нагрузкой этого текста, отсвечивающего едва ли не всеми возможными аллюзиями и реминисценциями мировых литератур. Конечно, инокультурные смыслы внедрены в текст не нарочно — они возникают в письме Земскова помимо воли автора, сформировавшегося в стихии словесности.

Напоследок полагалось бы ответить на поставленный вначале вопрос о соотношении этого письма с поэтикой постмодернизма. Но, как и ожидалось, ответ явился сам собой: если постмодернизм, играющий с перекличкой бесконечных слов культуры, занят самодовлеющей игрой в эту перекличку, то книга Земскова посвящена другому — она в этих окликаниях ищет смысл бытия и потому представляет собой преодоление постмодернизма.

Юрий ГИРИН

---

## «Правдива похвала»

●  
**Максим Амелин. DUBIA. СПб., «Инапресс», 1999.**

●  
 Максим Амелин, безусловно, заслуживает похвалы. Он не дилетант, его пьесы (что сейчас редкость) достаточно тщательно отделаны, и в них не найти сколько-нибудь серьезных прегрешений против языка или расширенных правил просодии.

Его клавиатура упоминаний (от Малерба до Фроста) будет пообширней многих прочих, а смелость в употреблении протiwоестественных переносов и архаических инверсий, сноровка в играх с мертвыми текстами (Хвостов, Херасков) свидетельствуют о том, что автор не брезгует и чтением произведений современных стихотворцев; ясно, что он никому из них не уступит ни в этой смелости, ни в этой сноровке.

В то же время Амелин почти всегда избегает невыгодных и неконтролируемых им сопоставлений, оставляя место лишь для выгодных и контролируемых — с Сумароковым, с теми же Хвостовым и Херасковым, с Языковым (в слабейшей части его наследия), Богдановичем, Бродским. (О хорошем знакомстве с текстами этих поэтов во всех случаях, кроме последнего, автором открыто объявляется, в последнем же случае такое знакомство особо не скрывается и умно используется.) Исключения все же есть: так, например, употребление эпитета «многоочитое» (применительно к рекламному табло) в «Оде Маяковскому» и начало стихотворения «Четыре раза снег ложился...» не к месту напоминают читателю об излишне крупной для этого контекста поэтической фигуре (Ходасевиче. — Ср. «Берлинское», «2-го ноября»), а «Стакнутые два горба» из стихотворения «Маленький город...» досадно похожи на «стакнутые двойчатки» Мандельштама (с тем же весьма характерным ошибочным ударением). Но это все мелкие недостатки, которые доставят лишь удовольствие обнаружившему их знатоку. Он заплатит за это удовольствие, отнеся их к разряду достоинств.

Автор умело использует одобренные новейшей эстетикой смешения высокого и низкого («жертвенная моча»), архаичного и сверхсовременного: «осьмнадцатого», «внемлет», «серпокогтистый» — и «напряги», «приколы», «валюта», «Зураб» (Церетели).

В тексте нередки интересные находки (хорошо: «стихи <...> доступные слепым и зрячим» — о надписи на надгробном памятнике), довольно свежие рифмы (блей — ассамблей, май — Мамай).

Стихи Амелина — отличная диссертационная тема, вещь, заслуживающая литературной премии (любой — можно и Нобелевской).

Книга прекрасно издана (издательство «Инапресс» работает оперативно и превосходно).

Иными словами, повар (или повара) поработали на славу. Его (их) не упрекнешь в отсутствии старания или в незнании какого-либо рецепта. Один Господь знает, отчего блюдо оказалось несъедобным.

Алексей КОКОТОВ

## Душевный нюдизм

Б. Поплавский. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИХИ. М., «Согласие», 1999.

Весной 1998 года к историкам литературы попали сенсационные материалы — рукописный архив легендарного поэта первой эмиграции Бориса Поплавского, чуть ли не равный по объему его опубликованному наследию. Архив включал юношеские стихи Поплавского и его дневник, из которого следует, между прочим, что восемнадцатилетний поэт показывал в 1921 году свои стихи побывавшим в Берлине Пастернаку и Шкловскому и был «обнадежен» ими, что позже он принадлежал к ученикам крайнего футуриста Ильи Зданевича.

В 1926 году Зданевич уходит из литературы, а Поплавский начинает печататься. В 1931-м выходит его знаменитая книга «Флаги». Четыре года спустя Поплавский умирает при скандальных и загадочных обстоятельствах, успев написать еще две книги стихов — «Снежный час» и «В венке из воска», романы «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес». «Автоматические стихи», обнаруженные ныне в числе прочих произведений, относятся к тому же времени.

Поплавский при всем эффектном трагизме его судьбы не принадлежит к числу не признанных и не понятых современниками гениев. В эмиграции о нем писали много — в основном хвалили; лишь Набоков написал придирчивую рецензию (и то потом раскаялся), да Глеб Струве так и не признал его «неправильной» поэзии. Говорили, между прочим, о влиянии на молодого русского парижанина французского сюрреализма. Как показывают «Автоматические стихи», это влияние было еще более прямым и сильным, чем принято считать. Поплавский близко к сердцу принял идеи Бретона и его друзей. «Автоматическое письмо» было для него своего рода «душевным нюдизмом». К сожалению, главное свойство дара Поплавского, придающее особый шарм его лучшим стихам, но роковым образом ограничивающее их значение, — вечная внутренняя незрелость, — наложило отпечаток на эти опыты. Вместо напряжения между смыслом и бессмыслицей, сознанием и подсознанием, которое только и порождает поэзию, — сумбурный поток банальностей. Редко кто в отрочестве не писал такого:

очень странно все что очень тихо  
то что говорит во сне  
что превращается в камень  
и поэт  
время стекает к садам антарктических птиц  
время прощай

Кажется, французские сюрреалисты так и не узнали о существовании их русского подражателя. Но «Автоматические стихи» позволяют яснее увидеть некоторых родственников Поплавского в русской поэзии его поколения:

с горячих рук больного музыканта  
стекала музыка холодная в огонь  
там пароходы в доках уходили  
и скверы жаркие полны были луной

«Опыты соединения слов посредством ритма» (не правда ли, именно об этой книге напоминают только что процитированные строки?) вышли в том же году, что и «Флаги». Их автор был четырьмя годами старше Поплавского и умер годом раньше. Неизвестно, знал ли Поплавский стихи Вагинова, хотя вождем споривших в эмиграции литературных партий — Ходасевичу и, с другой стороны, Иванову и Адамовичу — они были известны (и оценивались довольно скептически). Но сейчас при сравнении «Автоматических стихов» даже с не самыми сильными текстами, скажем, Вагинова или Введенского, бросается в глаза — при очевидном сходстве приемов, — насколько сверстники Поплавского, оказавшиеся не во «внешней», а во внутренней эмиграции, были глубже интеллектуально и духовно, насколько тоньше они чувствовали форму, идя навстречу хаосу. Наконец, они обладали несравнимо большим чувством языка и — это существенно — чувством юмора. Но, оказавшись Поплавский в Ленинграде, он с большой вероятностью принадлежал бы к ОБЭРИУ или по крайней мере был бы прикосновен к этому кругу.

Марк АНТОНОВ

## Жестокий юмор трагедии

●  
**Фаина Раневская. ДНЕВНИК НА КЛОЧКАХ.** Подготовка текста, вступительная статья и публикация Юрия Данилина. СПб., 1999.

●  
«...Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: “какая смертная тоска...”». И все. Я бы еще записала, что театр стал моей богадельней, а я еще могла бы что-то сделать...» Эти слова написала в 1966 году на клочке бумаги ве-

ликая актриса Фаина Раневская. А ведь была знаменита, к тому же, как сама произносила, «народная СССР». Казалось бы, чего еще? Достигнуты вершины мастерства, карьеры, славы. До этой книги ее имидж комедийной шутихи, ампула комической старухи, остававшейся такой и в жизни, был так прочен, что при произнесении ее имени вспоминались вначале либо знаменитые фразы вроде «Муля, не нервуй меня», либо грубоватые, на грани скабрёзности хохмы. Очень этот образ был всем удобен. Сначала — властям. А потом и нам, простым обывателям. Удобно жить, не видя происходящей рядом трагедии. Почти инстинктивное желание человеческого существа отстраниться... Как, неужели и эта? Она — такая смешная, такая матершинница и похабница!.. И вдруг: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь».

Она была актрисой высокой роли — понимали это немногие. «Когда приезжал театр Брехта вторично, Елена Вейгель спросила меня: “Почему же вы не играете “Кураж”, ведь Брехт просил вас играть Кураж, писал вам об этом?” Брехта уже не было в живых». Речь идет о «Мамаше Кураж», быть может, лучшей пьесе немецкого драматурга. Оказывается, в этой роли — страдающей матери — он видел Раневскую. Но слишком она была независима и самостоятельна, как и положено сильной личности. А такие актеры далеко не всегда нужны режиссерам, особенно конъюнктурным. «Режиссеры меня не любили, я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне». Что-то похожее на трагическую роль она получила в слабенькой пьесе «Дальше — тишина», единственной записанной на пленку. «...Ираклий Андроников назвал меня “явлением”, а я добавила — “без появления”, потому что дирекция театра меня таковой не считает...»

А эту фразу стоит выделить в отдельную строку: «...Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки...»

В этой женщине отразились советская эпоха, трагедия людей почти сломленных, почти уничтоженных, но все же не сломавшихся и сохранивших себя, свою душу. У Юрия Олеши есть книга «Ни дня без строчки». Когда он перестал писать романы, он все же пытался отстаивать себя, свое мастерство, как гурман, фиксируя свои мысли, наблюдения, образы, замечая при этом, что в нем ворочаются осколки разрушенного титана. Фиксируя ни для кого. Для себя. Но все же он был писатель и мог писать «в стол». Ситуация



Раневской была страшнее — не философ, не художник, не писатель. Актер, даже великий актер, — существо зависимое. Если он не востребован, если ему не дали состояться, что остается — злость, отчаяние и тот циничный, жестокий юмор, которым пугала и восхищала Раневская. То, что обычно называют «юмором висельника». Я бы определил иначе. Весь этот дневник на клочках — отчаяние о несостоявшейся жизни: «Мне кажется, что я осталась одна на всей планете». Вроде бы винить себя нечего. Мол, в эпоху дело. Могла бы быть, чем хотела. Не получилось. Не по своей вине. Оправдание лукавое, и к нему не прибегает сильный человек.

Силы в себе Раневская чувствовала, и они были велики. Она срывала зло на режиссерах, которым не нужна была такая актриса. Трагическая актриса. И она в ответ шутила — цинично, зло, беспощадно. Ибо только в трагедиях — вспомним шекспировские — высокие размышления и речи действующих лиц сопровождаются самыми грубыми площадными шутками: Гамлет мог вполне цинично пошутить о девичьих ногах или о короле, путешествующем по кишкам нищего. Циничная шутка как результат запредельного отчаяния. Только такой юмор и возможен в «роковые минуты». Тут не до веселья — жизне-радостного, лукавого, смешливого. От ее юмора, если в него вдуматься, озноб может пробежать. «Бог мой, как я стара, — я еще помню порядочных людей!» Смешно? Смешно. И страшно. Вся книга такова.

А как она умела видеть искусство! И понимать его. Причем порой ее наблюдения столь глубоки и точны, что сделали бы честь и высокого класса искусствоведа: «Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума: она обо мне знает все, а я о ней ничего».

Несколько раз она собиралась, «польстившись на гонорар», написать свои воспоминания. Не сумела. Хотя круг ее общения удивителен: Пастернак, Ахматова, Чуковский, Волошин, Андроников, Лиля Брик, Алиса Коонен, Таиров, Качалов, Яншин, Михозлс и многие другие. Но стеснялась кичиться своими знакомствами, была удивительно целомудренна и возмущалась нецеломудрием пишущих: «Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили... Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее».

Да и трагичны были судьбы почти всех, с кем общалась. Короткие записи — как похоронный плач: «Гибель Михозлса — после смерти моего брата — самое большое горе, самое страшное в мо-

ей жизни». О Коонен: «Мне дали народную СССР, а у нее отняли все — Таирова, театр, жизнь». Не выдержав давления режима, потеряв веру в осуществление тех идеалов, ради которых он жил и любил, брошенный друзьями, застрелился Маяковский. Однако молодая Раневская замечает и другое — покинутость, оставленность не только поэта, но человека, отца: «Маяковский тосковал по дочери в Америке, которой было три года во время их последней встречи». Она не равнодушный свидетель: «Мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому, <...> даже физически заболело сердце». И в жизни Ахматовой катастроф было слишком много, а Раневская роняет только, словно мимоходом, о ней и ее сыне, знаменитом Л. Н. Гумилеве: «Незадолго до смерти она говорила с тоской невыразимой, что сын не хочет ее знать, не хочет видеть. Она говорила мне об этом в Комарово. И всегда, когда мы виделись».

Воспоминаний она так и не написала, продолжая записывать мысли, наблюдения, ощущения. Эти строчки, эти обрывки, клочки бумаг, обороты конвертов были разбросаны, потом свалены в кучу и сданы в ЦГАЛИ. Так бы и пропали. И сколько такого пропадало! Но в последние годы — судьба свела! — она заботилась о школьнице из Омска, собиравшемся стать актером, отговаривала и отговорила его от такой участи. Дальше — как в сказке. Именно этот бывший школьник — журналист Ю. Данилин — собрал, расшифровал (почерк ее мало кто мог понять) и издал ее записи. Печальные размышления о жизни, смерти, судьбе, людях.

Умирая, принц Гамлет просил друга Горацио: «Дыши в суровом мире, чтоб мою / Поведать повесть». Очевидно, что завет был исполнен. Почти всякий пишущий — немужко Горацио. Но не каждому Гамлету повезет иметь рядом с собой «друга Горацио». Раневской повезло. И, надо сказать, повезло и... — нет, не просто читателю, а русской культуре. Кто она? Не сыгравшая того, что могла бы сыграть, актриса?.. А может, Марк Аврелий в женском обличье?.. Она и сама себя об этом спрашивала: «Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ. <...> Урод я». Последние ее записи — как реплики погибающего на краю сцены трагического героя. Предпоследняя: «В общем жизнь прошла и не поклонилась, как сердитая соседка...» И последняя: «...Ужасно раздражают голоса...»

Вторая часть книжки — письма Раневской и письма к Раневской. С кем же она

переписывалась?.. Только имена перечислю: В. Некрасов, М. Бабанова, Т. Тэсс, В. Лакшин, Л. Орлова, Верико Анджапаридзе, В. Качалов, В. Каверин. Как они к ней относились? Приведу слова Папанова (а таких слов много в каждом почти письме!): «Вы для меня — школа, академия, ИДЕАЛ». Значит, можно все-таки сказать, что мастер хотя бы иногда видит и уважает талант другого мастера, что подлинность не уходит бесследно. Впрочем, еще Пушкин сказал: «Несчастьем верная сестра — надежда...»

Владимир КАНТОР

## Небо в алмазах

●  
**«И ТОЛЬКО БЕЗ ЭТОГО ЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО».** Книга избранной лирики. «Алетейя» — при участии Фонда русской поэзии, СПб., 1999.

●  
 Традиционно существовало два взгляда на ценность поэтического текста. Согласно первому, стихотворение прекрасно, если его достоинства безотносительны к имени и личности автора, эпохе и ее языку. Согласно второму, значительны не отдельные стихотворения, а поэтические индивидуальности или поэтические эпохи; один и тот же текст гениален, если его автор — Пушкин, и зауряден, если он принадлежит перу какого-нибудь эпигона конца XIX столетия.

Книга, изданная петербургским издательством «Алетейя» при участии Фонда русской поэзии, — чистый эксперимент. Стихи извлечены из реального контекста и помещены в новый, границы которого определяются индивидуальными вкусами и пристрастиями одного человека — составителя книги Ирины Соловей. По ее собственным словам, «этой книжке можно делать всяческие упреки... но можно ли упрекать любовь? Сердце любит то, что избрало. С этим и самый строгий вкус ничего поделать не сможет».

Тексты анонимны (конечно, по отношению к хрестоматийным строкам об анонимности можно говорить лишь условно), лишены дат и даже названий. Это *просто стихи*. Имена авторов вынесены на первую страницу книги. Среди них наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, Анненским, Блоком, Ахматовой, Мандельштамом, Кузминым, Пастерна-

ком и другими классиками есть и малоизвестные авторы — Кирилл Сухоруков, Борис Левит-Браун, Виктор Наймарк... Нашлось место и Николаю Якимчуку — директору Фонда русской поэзии, чьи таланты издателя и менеджера, на наш взгляд, существенно превосходят его поэтическое дарование.

Само собой, хронологическая последовательность не соблюдается. В результате, скажем, стихи Георгия Иванова (занимающие чуть ли не половину книги) отвечают стоящей на соседней странице лирике «золотого века» — и вот какая странная получается переключка:

Пока не требует поэта  
 К священной жертве Аполлон...

...Мне исковеркал жизнь талант  
 двойного зренья,  
 Но даже черви им, увы, пренебрегли.

И между современниками диалог получается почти пугающий — отсутствием общего эмоционального пространства и словаря, внутренней несовместимостью текстов, порожденных разными мирами.

И чем случайней, тем вернее  
 Слагаются стихи навзрыд...

...Допустим, как поэт я не умру,  
 Зато как человек я умираю.

(Надежда и безнадежность, вдохновение и рефлексия, предпочтении «поэта» и «человека»?)

По идее, подбор текстов и их соседство должны были создать новый контекст, в котором строки, выпавшие из гнезда и утратившие родителя, могут обрести новый дом и заиграть дополнительными значениями. Но составитель расположил стихи довольно случайным образом, и резонируют они друг с другом случайно.

Что касается выбора текстов, то — учитывая принцип составления книги — удивляет наличие стихотворений, написанных на случай и уже поэтому неотрывных от времени и конкретного исторического контекста. Вероятно, составитель хочет дать понять, что коллизия, воплощенная в тексте, вечна. В случае лермонтовского «На смерть поэта» эта уверенность свидетельствует об известной романтической наивности. А как быть с такими стихами:

Теперь тебе не до стихов,  
 О слово русское, родное!..

Ложь воплотилась в булат;  
 Каким-то Божьим попущеньем  
 Не целый мир, но целый ад  
 Тебе грозит ниспроверженьем...

Все богохульные умы,  
 Все богомерзкие народы

Со дна воздвиглись царства тьмы  
Во имя света и свободы!

Дискуссия с читательским вкусом, выбравшим в конце XX века у Тютчева именно *это*, не может быть эстетической, и, как ни странно, она не может быть политической, потому что *сегодня* вопрос, к примеру, о существовании *богомерзких народов* не политический, а нравственный. (Кстати, в «книге избранной лирики» слово «Божьим» вопреки грамматике до и послесоветского времени напечатано со строчной буквы.)

Еще одна небесспорная вещь: многие включенные в книгу тексты представляют собой фрагменты стихотворений или даже отдельные строфы. Когда это касается пушкинского «Поэта» — что ж, вторую строфу все помнят... Но то же делается с не самыми известными стихами Набокова и Бродского.

Что касается эстетики, то составитель явно тяготеет к «высокой лирике» (в современном культурном контексте это необычно и привлекательно), но глух к одической мощи (не случайно в книге нет ни одного стихотворения XVIII века, нет и Маяковского); у него есть вкус к мрачной афористике и парадоксам (Г. Иванов, Одарченко); он, кажется, совершенно не принимает нетрадиционных форм стиха; круг его пристрастий очень ограничен: трудно, исходя из объективных критериев, объяснить отсутствие в книге стихов, скажем, Баратынского, Ходасевича, Заболоцкого (при наличии Евтушенко, Симоновского «Жди меня» и «Баллады о прокуренном вагоне» Кочеткова). Известная нестандартность мышления выражается в том, что в антологию в качестве поэтических текстов включены обрывки чеховского монолога про «небо в алмазах». Но, вырванные из контекста, они производят впечатление графоманского «стихотворения в прозе» (то есть производили бы, если бы не узнавались с первого слова). А слова «Мы отдохнем... Мы отдохнем!», завершающие чтение книги, именно на этом месте выглядят очень смешно.

Композиция антологии такого рода должна была бы сама по себе быть произведением искусства. Ирине Соловей, на мой взгляд, не до конца хватило для этой работы художественного чутья и вкуса, а может быть, и знаний. Но сама идея книги — великолепная, и уже за одну ее надо быть благодарным издателям. Насколько мне известно, собранный, составленный по такому принципу, не выходило нигде и никогда.

Иван БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ

## Чувство ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

**Б. Н. Лесняк. Я К ВАМ ПРИШЕЛ!**  
Магадан, 1998.

Существует мнение, что гулаговская тема сегодня не столь актуальна, что читательский интерес к ней снизился. Уверена, что тема эта еще долго будет жить в сознании людей, особенно если об этом периоде жизни нашего общества рассказывают талантливые, честные и умные люди, как это сделал в книге воспоминаний Б. Н. Лесняк.

Меня поразила прежде всего личность автора, сумевшего, несмотря ни на что, сохранить доброе чувство человечности. Тридцать пять лет прожил Лесняк на Колыме, восемь из них — в лагере. Книга писалась на протяжении многих лет. Все пережитое вложил он в свой труд. «Всем, кого помню, воздал должное», — говорит сам автор.

Двадцатилетним студентом медицинского института он стал жертвой оговора и попал в разряд «врагов народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Непосильная работа в открытом забое на добычу золота, а затем работа фельдшером в больницах для заключенных. Уже после завершения срока ссылки он оканчивает заочно Всесоюзный политехнический институт и, таким образом, проходит путь от забойщика до инженера.

Всю свою долгую жизнь Борис Николаевич был причастен литературе: издал несколько сборников афоризмов, его фамилия появлялась на страницах многих газет и журналов. Публиковались также отдельные главы воспоминаний. «Я к вам пришел!» содержит яркие, образные жанровые и портретные зарисовки. Каждая зарисовка взята из жизни, например, «Женский вопрос» и «Ставка» в главе 2 или горький рассказ о пайке хлеба («Северное сияние»). Запоминается сюжет о непосильном труде в зимнюю стужу («Несладкий сахар»).

Глава, названная «Крупным планом», посвящена Варламу Шаламову, Евгению Гинзбург, врачу Максиму Пинхасику и Войцеху Дажницкому, людям, которые прошли через жизнь и судьбу автора и его жены — врача Нины Владимировны Савоевой. Их они хорошо знали не только по лагерю, но и после дружили, переписывались.

Борис Николаевич рассказывает о талантливом и сложном человеке, каким был Варлам Шаламов. Публикуемая в книге переписка свидетельствует о добром и заботливом отношении семьи Лесняка к судьбе писателя.

Странички из жизни Е. С. Гинзбург, матери известного писателя Василия Аксенова, можно отнести к числу малоизвестных. Этим они и ценны.

Истощенного и обессилевшего ксендза В. Дажницкого, поляка по национальности, Савоева и Лесняк взяли к себе в дом дневальным. Выходили. После реабилитации он получил приход в одном из поселков Винницкой области, где трудится и по сей день. А в сентябре 1990 г. Дажницкий был приглашен в Ватикан, где был принят Папой Римским и получил от него индивидуальное благословение и портрет с дарственной надписью.

Впечатляет рассказ о судьбе доктора Максима Львовича Пинхасика («Ай-Пинхас»). Они познакомились летом 1943 г. на Беличьей в центральной больнице Севлага. Постепенно знакомство переросло в многолетнюю дружбу.

С теплотой и нежностью повествует Лесняк об этом интеллигентном, одаренном и добром человеке. С 1935-го по 1973 г. тот прожил на Крайнем Севере, неизменно занимаясь врачеванием.

По окончании Первого ленинградского медицинского института Пинхасик был оставлен на кафедре, а последняя его должность (до ареста по доносу) — декан лечебного факультета. Человек высокой культуры, эрудиции и трудолюбия, он освоил многие медицинские специальности (от терапии до гинекологии и даже гипноза), помогая людям выживать.

Публикуемая пятнадцатилетняя переписка друзей — бывших заключенных — дополняет портрет не только доктора М. Пинхасика, но и самого автора. Вот какими словами заканчивает Б. Лесняк повествование об этом уникальном человеке: «Я люблю этого скромного и очень сдержанного человека всем сердцем. И плачу украдкой, как в детстве, когда у него горе». Даже суровый Север не сломил сильных духом людей, а эта дружба и взаимопонимание скрасили жизнь обоих.

Книга «Я к вам пришел!» оставляет глубокий след в душе. Она интересна не только для людей старшего поколения, свидетелей сталинских репрессий, но и для детей и внуков тех, кто пережил этот ад. Ведь прошлое нельзя ни исправить, ни переделать, ни забыть.

Александра ХОДАК

## Волшебная палочка

●  
Тимур Кибиров. **ИНТИМНАЯ ЛИРИКА.** СПб., «Пушкинский Фонд», 1998.  
Тимур Кибиров. **НОТАЦИИ.** СПб., «Пушкинский Фонд», 1999.

●  
Слава Тимура Кибирова началась лет десять назад и достигла апогея где-то к середине 1990-х, а потом пошла на убыль.

В своих ранних произведениях (в «Посланиях», в поэме «Сквозь прощальные слезы») Кибиров сумел выразить «несчастное» сознание советского человека времен крушения Империи. Сознание, одержимое ненавистью к своему прошлому и бесконечно зависимое от него. Способное высказать себя только через бесконечное перечисление имен и вещей, утративших всякую смысловую и телесную конкретность и ставших всего лишь подручными знаками. Эта поэзия казалась «безличной», на самом же деле у нее был вполне осязаемый лирический герой — просто чувства и мысли его были слишком уж типичны, массовы. Презрение к «слуцким» и гордость фактом знакомства (на четвертом десятке лет) с произведениями Набокова контрастировали с не *слуцкой* (какое там!) — со *смеляковской*, *исаковской* прямотой («Константин мой Устиныч, как трудно терпеть твоей дворни замашки...»). При этом Кибиров одно время считался чуть ли не постмодернистом (кажется, критиков сбивала с толку его любовь к ироническим цитатам).

Но в середине 1990-х «совок» окончательно ушел в прошлое, а новую социальную реальность Кибиров использовал как материал не сумел (отсюда, кстати, злость на сумевших — например, на Пелевина). Одно время он обращался к «чистому искусству», несколько усовершенствовав свою технику. Трогательные усидчивость и усердие уже знаменитого стихотворца, взявшего ее в некотором отношении за букварь, очень заметны в книге «Парафразис» (1997).

В двух новых книгах никаких следов этой работы, однако, не отыскать. Кибиров пишет так небрежно, как и смолоду не писал. Видно, некогда изощряться — *опять* надо сказать нечто чрезвычайно важное... Или дело в другом?

Слово автору: «Дидактика предыдущих книг, искреннее желание сеять если не вечное, то разумное и доброе, жизнестойкий пафос, сознание высокой ответственности и т. п. уступили место ли-

рике традиционно романтической, со всеми ее малосимпатичными свойствами...» Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки, как принято нынче шутить. «Я хотел бы объяснить эти метаморфозы... падением статуса т. н. творческой интеллигенции... психосоматическими возрастными метаморфозами, однако истинные основания... лежат, очевидно, гораздо глубже».

А вот образец традиционно романтической лирики — из первого же стихотворения:

...Вчуже  
забавно наблюдать, ей-ей,  
как год за годом спорят ужас  
и скука, кто из них главней  
в душе изму-у-у-ченной моей.

Это — один из сквозных мотивов книги, мотив и впрямь традиционный; и как-то даже странно напоминать, что у Ходасевича и Георгия Иванова, к примеру, не говоря уже о Лермонтове, все было не так плоско. Да и основанием для *скуки и ужаса* были уж никак не «понижение статуса творческой интеллигенции» или «психосоматические изменения» и даже не ностальгия по тому, «что со Светкою вдвоем чувствовали мы, и со Светкою другой, и с Тамаркой» и т. д. Но не настолько уж простодушен Кибиров, чтобы этого без нас не понимать. В демонстративности, с которой он выставляет на всеобщее обозрение свою бытовую хандру («I can write this shit, I can read this shit, только что-то неохота, голова трещит»), есть вызов. Какой же?

Если лирический герой ранних стихов Кибирова жил среди комсомолок-доброволок-давалок, ленинских портретов, стихов Евтушенко, полета Белки и Стрелки и т. п., то окружение героя «Интимной лирики» составляют главным образом ученые люди, читающие ученые книги, которые сам герой понимает не вполне, хотя очень старается. Место комплекса неполноценности, социально детерминированного, занимает комплекс персональный, и он вдохновляет Кибирова на язвительные выпады: «Мы говорим не “дискурс”, а “дискурс”, и фраера, не знающие фени, трепещут и тушуются мгновенно...»

То же, что понимает герой в современных философских книгах, ему не нравится.

Даешь деконструкцию! Дали.  
А дальше-то что? А ничто.  
Над грудой ненужных деталей  
Сидим в мирозданье пустом.

...И, видимо, мира обломки  
Держались еще кое-как  
На честном бессмысленном слове  
И на простодушных соплях.

Нет, не исчезло желание *сеять*. В книге с демонстративным названием «Нотации» оно развернулось в полную мощь... Но характер многих «нотаций» соответствует совсем даже не русскому представлению о разумном и добром. И уж, конечно, совершенно не романтическому:

Вор и волк —  
вас любила Марина,  
ну а я не люблю, пацаны:  
ваши финки, разборки, малины,  
ваш Высоцкий — страшны и скучны.

Мент и пес —  
я б любил вас, ребята,  
только странно сложилось у нас:  
слишком часто менты вороваты,  
звероваты собаки подчас.

Кибиров, собственно, всегда был певцом обывательского сознания, что не диво; диво то, что он — чуть ли не единственный в истории русской поэзии — этого ничуть не стеснялся. Герой «Нотаций» — обыватель добропорядочный и добрый, сытый и трудолюбивый, не желающий погибнуть ни за металл, ни за идеал, принявший всем сердцем протестантскую этику, но по-православному чувствующий свое перед лицом этой этики несовершенство. Этические нормы эти почерпнул он еще в детстве из романа «Айвенго» — «...А Дюма и сегодняшний ваш Деррида мне не нравились даже тогда».

Не нравится Кибирову и Ницше. Потому что —

По ту сторону зла и добра  
не отыщешь ты, Фриц, ни хера,  
кроме точно такого же зла  
при отсутствии полном добра.

И вообще, «если бы Фрейд вылечить Ницше, вместо того чтобы нас поучать, если бы Марксу скопить капитал и производство организовать ну там, к примеру, сосисок...»

Не зря Кибиров импонировал (своей *человечностью*) консервативным в эстетической области шестидесятникам, таким, как Ю. Карабчиевский. Не зря дали ему «шестидесятническую» премию «Северная Пальмира». Как ни язвил он над «отцами», а дело их по-своему продолжил, став в конце концов открытым, твердым и честным певцом открытого общества с твердыми, однако, моральными устоями и честными ментами.

Две книги настолько дивно контрастируют друг с другом и настолько внутренне пародийны (каждая в своем ключе), что невольно закрадывается подозрение: уж не провокация ли все это на самом деле? Нет, провокацией (относительной, так как посвященные заранее понимают пра-

вила игры) это было бы под пером Д. А. Пригова. А Кибиров произносит все процитированное хоть и с вызовом, но от первого лица. И вызов-то как раз в том, что все произносится от первого лица, что дистанция между автором и лирическим героем, между речью и ее смыслом, между бывшим м. н. с. Заповым и поэтом Кибировым стирается. Тут ему не Пригов родня. Был другой русский поэт. Козьмой Петровичем Прутковым звали.

Публика и критика дали Кибирову основания считать себя гением. Козьма Петрович тоже считал себя гением — эту мысль внушили ему коварные друзья Жемчужниковы. А гению позволено дарить публике небрежные, неотделанные плоды вдохновения, беззастенчиво делиться мельчайшими переживаниями, проповедовать прописи...

Есть в «Нотациях» вот такой лукавый пустьчок — «Из Сельмы Лагерлэф»:

Когда б мне волшебную палочку  
Иметь — аж подпрыгнул фрейдист! —  
Я сделал бы маленькой-маленькой  
Тебя и носил на груди.

.....  
Но каждую ночь, моя милая,  
Я клал бы тебя на кровать,  
Махал бы волшебную палочкой,  
Нормальною делал опять.

Кибиров, что ни говори, был рожден поэтом, но — *маленьким-маленьким*. Во второй половине восьмидесятых кто-то (положим, Дух Времени), проходя мимо него, махнул волшебной палочкой (господа фрейдисты, молчать!). И стал он большим — если не в художественном, то в социокультурном измерении. Сейчас уже он большой, пожалуй, лишь на свой собственный взгляд. Волшебство закончилось. Но при маленьком росте он сохранил повадки уставшего от подвигов великана.

Валерий ШУБИНСКИЙ

## Тема с вариациями

●  
**Милан Кундера. ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ.** «Азбука», СПб., 1999.

●  
Долгое время Милан Кундера был нам знаком по киноленте Филадельфия Кауфмана «Невыносимая легкость бытия». При всем уважении к фильму и его создателю

это вопиющая несправедливость, поскольку нам показали лишь вершину айсберга, да и то изрядно обезображенную сценарными находками. Теперь айсберг потихоньку появляется из темной воды: романы Кундеры выходят один за другим, и вырисовывается образ автора, не менее значимого для мировой культуры, чем другой знаменитый чешский эмигрант — Милош Форман.

Роман «Вальс на прощание» — из относительно ранних, он написан в самом начале 70-х годов. Тут еще нет фундаментальности и навязчивого эссеизма более поздних работ; тем не менее мотивы, заявленные Кундерой, типичны для всего его творчества. Мир в его произведениях вращается, как правило, вокруг мужчины и женщины, познающих друг друга и никак не умеющих познать до конца. И в этом романе с первых же страниц читателя погружают в те самые, вечные конфликты. Вроде бы сюжет незамысловат: обычные последствия мимолетной связи заезжего столичного музыканта с медсестрой из курортного городка — внезапная беременность, нежелание огласки, предложение сделать аборт и т. п. Казалось бы, обо всем этом читано-перечитано, но далее начинают обнаруживаться ходы, уводящие вбок, в сторону, так что история обогащается вариациями, которые временами сами претендуют на статус темы. Появляются доктор Шкрета с его странными «евгеническими» авантюрами, диссидент Якуб, чешский американец Берглэф — они-то и расширяют содержание, своим участием в сюжете создавая эффект полифонии. Тем более что автор постоянно перебрасывает повествование от одного персонажа к другому, и мы попеременно видим ситуацию с разных сторон. Заявленная фабула тормозится, поход Климы и Ружены на комиссию, разрешающую аборт, случится лишь в конце, а до этого перед читателем пройдет масса разных эпизодов. Например, эпизод отлова бравыми коммунистами-дружинниками гуляющих по городку собак. Или история Якуба, бывшего деятеля чешской революции, угодившего затем в тюрьму.

Однако было бы ошибкой утверждать: мол, автор от частной истории поднимается до неких социальных обобщений. Вынужденный эмигрировать после 68-го года, Кундера не чуждается социальности; но книга не критикует «прогнившее» общественное устройство, то есть не является «диссидентской» (читай — плохой) литературой. Тут скорее обратное: общественный пафос снижается автором и воспринимается как мелкий и убогий на фоне именно частной жизни. А еще это антропологический анализ современности, по-

скольку в центре внимания — человек в его отношении к любви, родине, Богу, что делает Кундери прямым наследником традиции в духе Толстого — Достоевского. Толстого заставляет вспоминать точный и тщательный психологический анализ ситуаций и противоречивых желаний — тот самый рентген человеческой души, когда автор предстает демиургом, абсолютно знающим каждое душевное движение своих созданий и до последней капли вычерпывающим «психэ» персонажей. А Достоевский цитируется либо впрямую, когда Якуб рассказывает о Раскольникове, либо отчетливо ощущается, когда посреди курортных коллизий возникает вдруг религиозно-философская дискуссия.

Правда, если бы писатель этим ограничился, то остался бы всего лишь эпигон. Все-таки Кундера — автор второй половины двадцатого века, и в толстовско-достоевский дискурс нередко влезает, к примеру, господин Фрейд (не в смысле сведения мотиваций к «либидо» и «Эдипову комплексу», а в смысле пристального внимания к эротической сфере). Воспитанница диссидента соблазняет здесь своего воспитателя, а музыкант Клима испытывает к жене некую «бесстрастную страсть», которая подробно и мастерски описывается в сцене неудавшегося соития супругов. У Кундера иной уровень смелости да и разочарования, потому что за ним — печальный опыт уходящего века с его болезнями под названием: эгоизм и равнодушие. «Якуб не испытывал страха Раскольникова. Для него люди не были Божьими тварями. Он любил мягкость и благородство, но убедился, что эти свойства вовсе не человеческие. Якуб хорошо знал людей и поэтому не любил их... Раскольников не в силах был совладать со страшной бурей угрызений совести, тогда как Якуб, глубоко убежденный, что человек не имеет права приносить в жертву чужие жизни, вовсе не испытывал угрызений совести». Тут звучит эхо эпохи «после Освенцима и ГУЛАГа», итогом которой стало «скорбное бесчувствие» многих, даже тех, кто вроде бы борется против бесчеловечных режимов. И маячит призрак «человека-без-свойств», из которого история и обыденность вытащили некий стержень, хребет, обрекая на устало-равнодушное бытие.

При всем при том роман не оставляет мрачного чувства, даже наоборот: аура произведения — светлая. Потому что есть, например, обаятельный авантюрист Шкрета, умудряющийся без всякого диссидентского пафоса перекраивать чешский «совок» весьма пикантным способом. Есть Бертлеф — еще более обаятельный, по-хорошему, без надрыва рели-

гиозный и несущий в себе какую-то здравую органику. Конечно, его христианство совмещается с гедонизмом и любовными шалостями, а щедрость в определенной мере производна от наличия конвертируемой валюты (в неконвертируемой стране). Но ведь заповедь «не прелюбодействуй» нарушается опять же не столько ради себя, сколько ради запутавшейся Ружены, так что даже на ее нелепую смерть падает ответ незабываемой ночи любви. А пятидесятицентовики в сигарочнице... Дай бог нам каждому их иметь побольше: важнее, на что ты будешь их тратить.

Любовь — как спасательный круг, как шанс сохранить себя — весьма характерный для Кундера посыл, который на удивление легко уживается со снижающими физиологическими подробностями. И в этом смысле Милан Кундера представляется европейским автором, сохраняющим славянские иллюзии. Одна из таких иллюзий — религиозность, пусть и не профессиональная. В поздних романах Кундера еще предъявит счет Творцу (устроив тяжбу с книгой Бытия), но здесь его симпатии очевидны: самый привлекательный персонаж — это Бертлеф. Одновременно он представляет иной, не социалистический, мир и в финале усыновляет местного «трикстера» — доктора Шкрету. То есть заокеанский Отец возводит его в статус Сына, открывая ему большой мир, в результате чего появляется надежда, преловутый «свет в конце туннеля».

В общем, Кундера создал человеческий миф. И так ли он иллюзорен? Западноевропейские безжалостность и трезвость давно нуждаются в синтезе с восточным идеализмом — в итоге, как показывает пример Милана Кундера, получается любопытный сплав.

Владимир ШПАКОВ

## Книга с точным названием

●  
Денис Датешидзе. МЕРЦАНИЕ. СПб., 1999.

●  
Датешидзе — поэт неширокого диапазона. Формулировка его главного сообщения миру не претерпевает значительных изменений от стихотворения к стихотворению: «Мозг в своем мерцанье вялом/

Мысль не ловит ни одну», «... Нету чувств настоящих. Другие, живите за нас!», «Скучно любить! Скучно быть человеком!», «Нет силы бодриться и “звоном щита”/ Приветствовать...», «Я думал так: нам очень хорошо/ Бывает быть, когда нас как бы нет...». Сразу оговорюсь: только что сказанное — не упрек, а лишь констатация, ни тематическая узость, ни «утомленно-скачающее» мировосприятие не являются сколько-нибудь серьезными основаниями для обвинительного приговора. Примеры очень сильной поэзии, созданные даже из еще меньшего количества материала, у всех на слуху, на слуху они и у Датешидзе, на них он и ориентируется. К одному из стихотворений «Мерцания» често предпослан эпиграф из Георгия Иванова, к другим стихам таких эпиграфов нет, но строк с «ивановской» интонацией в них можно встретить много, пожалуй, даже слишком много: «Я послушен им, и никакого/ Не желаю ни добра, ни зла./ Так зачем? — за что? — все это снова —/ Пробужденье. Полумгла», «И все слабее понимает/ За две минуты перед сном/ Тоска по тем, “кто понимает”, — / “С кем можно говорить о том...”», «А жизнь ползет или бежит,/ Не сообщив о том,/ Куда... Еще денег изжит...», «И так бестолково кончается век;/ Но нет даже силы отчаяться.—/ Все слишком привычно. На улице сней./ “Как ныне собирается вещей Олег...”/ — Нигде ничего не меняется». Тем не менее стихи Датешидзе не заслуживают упрека в эпигонстве — в них, несомненно, задействован и личный душевный опыт, лицо поэта — подлинное лицо человека, а не примеряемая маска. И хотя ни новой музыки, ни сколько-нибудь оригинальных поэтических мыслей в них пока еще нет, они уже держатся на плаву и даже имеют собственное обаяние, а это уже очень и очень много. А некоторые образы и строчки определенно очень хороши и кажутся взятыми из каких-то настоящих, хотя пока еще до конца не услышанных стихов: «Плотные тучи — натянуты, вздуты!/ Кажется город ночным кораблем...», «...И тогда я понял, что знаю/ То, что чувствовать бы могла./ Воздух перьями разрезая./ Вдаль отправленная стрела...». К сожалению, пока можно говорить лишь об отдельных удачах: полностью совершенных, гармоничных пьес в книге нет, Датешидзе еще довольно далеко до настоящего мастерства, в каждом его стихотворении невооруженным глазом видны формальные или интонационные недостатки. К ним относятся и неточности (мелкие) языка («И в нарастающем нажиме/ распоряжаются душой/ лишь обстоятельства...», «Скользю ногой по черным лужам» (лужам настоя-

щим, незамерзшим), «...мучительно и туго/ Врастают ... деревья ветками друг в друга», и более чем сомнительные, совершенно не совместимые со строем стиха переносы («подтянуться раз пятнадцать без/ напряжения, почти лениво», «... Того, что ты еще не вся/ Внутри! — и хочется тобою/ стать...»), и навязчивое пристрастие к уродливо-длинным, «выпирающим» словам («высококачественная», «синхронизирован», «полуностальгическом»), и неумение избегать совершенно неуместных читательских ассоциаций («Весна.— Тарабарщина тела» — искаженный Анненский, «Только б сидеть и следить без цели» — Тютчев (хорошо еще, что рифма — не «синели»), сюда же следует отнести и слишком явную связь (неплохого!) стихотворения «Нас одолела постепенно/ Любовь без крыльев и без стрел...» с советским масскультовским шедевром А. Кочеткова («Как больно, милая, как странно/ Сроднясь в земле, сплетаясь ветвями ... С любимыми не расставайтесь./ Всей кровью прорастайте в них...»), последнее особенно неприятно, поскольку всего за две страницы до этого автор иронизирует над другим подобным текстом: «И пел “Только миг! Ослепительный миг!” И отождествлялся с падучей звездой.../ И так “романтично” к бутылке приник...»). Стоит отметить, что многие из этих недостатков суть «фирменные знаки» целого вывода питерских стихотворцев. В их кругу подобные «особенности» считаются достоинствами, необходимыми элементами «современного» стиля. (Кроме уже перечисленных, в книге есть и другие, столь же характерные и «необходимые» детали: «Только не Пушкин. Лучше — Кузмин...», «Я гостил месяцами в Содоме...», но они вставлены, по всей видимости, только из вежливости.) К чести Датешидзе следует сказать, что в школе питерских «роета rugmaeus» (если пользоваться весьма неделикатным, но точным выражением критика Н. Славянского) он явно не «первый ученик». Ему нужно сделать лишь несколько шагов, чтобы сойти с истоптанной тропинки и обрести собственный голос — кажется, он уже слышит его где-то вдалеке: «И слушаешь, даже не зная./ Какая симфония, чья?.. / Так движется зелен лесная./ И блики... и струи ручья.../ А может быть, споры, рассказы? —/ Согласие в чем-то одном?.. / Стремительны мысли и фразы./ Но строй языка не знаком./ Куда там! — понять не умея./ Где — флейта, валторна, гобой.../ А кто-то — сильнее, смелее/ И все откровенней с тобой!» Да-да, именно так — сильнее и смелее.



Отметим, что не все технические «новшества», применяемые Датешидзе, неудачны. Довольно интересна рифмовка со смещенным ударением («не там и не тут» — «просвечивают», «И живым» — «бледно-оранжевым»), быть может, в будущих своих стихах автор добьется с помощью этого приема более убедительного эффекта.

К числу достоинств книги следует отнести и выбор ее названия. С одной стороны, оно перекликается с несколькими местами в тексте (одно из них, самое характерное, уже цитировалось в самом начале, вот второе: «...холодный закат/ Висит над

Невою: на волнах тяжелых —/ Мерцанье неровное»).), с другой — полностью соответствует общему тону книги: несмотря на все недостатки, огонек поэзии в ней есть — он чуть тлеет, мерцает, но все же, несомненно, живет. Хочется надеяться, что он будет жить и дальше. Ведь (по слову Осипа Мандельштама)

Сколько бы им ни хотелось мигать,  
Могут они заявленье подать,  
И на мерцанье, писанье и тленье  
Возобновляют всегда разрешенье.

Л. АРСЕНЬЕВ



## «Закливание»

ИЗ КНИГИ «БОЛДИНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

### От автора

*Книга «Болдинские встречи», над которой я сейчас работаю, посвящена некоторым произведениям Пушкина, написанным в Болдине. Это «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Медный всадник», восьмая глава «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии», стихотворения «Закливание» и «Герой». Многие годы я имела счастье не только читать, но и изучать эти шедевры пушкинской лирики и прозы. Я позволила себе включить в книгу и воспоминания о встречах с людьми, которые так или иначе участвовали в моем постижении болдинского творчества Пушкина, помогли мне в поисках. Когда-то современник Пушкина Владимир Одоевский написал в одной из повестей о директоре маленького театра, который велел открыть занавес перед скучающими из-за затянувшегося антракта зрителями и показать, как устанавливаются декорации и готовятся все театральные волшебства; публика нашла это зрелище едва ли не интереснее самого спектакля. Как знать, может быть, и читателя моей книги рассказ о поисках пушкиниста, о тех, кто был к этим поискам причастен, займет больше, нежели изложение результатов научных наблюдений над пушкинской строкой. Ну что же... Пусть будет как будет. А пока я предлагаю вашему вниманию одну из глав.*

Однажды на Болдинские чтения пришел человек в мокром плаще. Он сказал, что неподалеку работают студенты; хотелось бы, чтобы перед ними выступили пушкинисты. Алексей Михайлович Букалов и я вызвались к ним поехать. Нас посадили в «газик» и под проливным дождем повезли по размокшей дороге.

Букалов — журналист, автор книги о черном предке Пушкина, веселый и доброжелательный человек. И еще прекрасный рассказчик.

Когда «газик» остановился, нам принесли резиновые сапоги. Хлюпая по воде и вязкой глине, мы дошли до длинного барака. Лампочка освещала молодые лица. Мы стали говорить о Пушкине. Временами лампочка гасла. Я в темноте начала читать пушкинские стихи. И прочла «Закливание»:

О, если правда, что в ночи,  
Когда покоятся живые,  
И с неба лунные лучи  
Скользят на камни гробовые,  
О, если правда, что тогда  
Пустеют тихие могилы —  
Я тень зову, я жду Леилы:  
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явьсь, возлюбленная тень,  
Как ты была перед разлукой,  
Бледна, хладна, как зимний день,  
Искажена последней мукой.  
Приди, как дальняя звезда,  
Как легкий звук иль дуновенье,

Иль как ужасное виденье,  
Мне все равно: сюда, сюда!..

Зову тебя не для того,  
Чтоб укорять людей, чья злоба  
Убила друга моего,  
Иль чтоб изведать тайны гроба,  
Не для того, что иногда  
Сомнеюм мучусь... но тоскуя  
Хочу сказать, что все люблю я,  
Что все я твой: сюда, сюда!

Тогда я не знала, что судьба подарит мне наблюдение, которое позволит по-другому прочитать знаменитое болдинское стихотворение. Вот как это было.

Я писала статью о Пушкине и Карамзине и обратила внимание на то, что в «Заклинании» есть скрытая цитата из карамзинской песни (ее поет герой повести Карамзина «Остров Борнгольм»):

Явися мне, явися,  
Любезнейшая тень...

(У Пушкина: «Явись, возлюбленная тень...») Но главное было впереди. Когда я взяла фотокопию пушкинской рукописи, то увидела, что вся строфа, начинающаяся этим стихом, была Пушкиным зачеркнута. Другая, не пушкинская рука поставила сбоку корректорский знак восстановления зачеркнутого текста и карандашом начертала слово «писать». Поразительно! Оказывается, начиная с Жуковского, который включил «Заклинание» в первое посмертное собрание сочинений Пушкина, и до сих пор это стихотворение печаталось вопреки авторской воле с вычеркнутой им строфой, и, хотя имелось описание рукописи, даже Татьяна Григорьевна Цявловская, готовившая том лирики полного академического собрания сочинений Пушкина, напечатала его так.

Я поехала в Петербург, тогда Ленинград, в Пушкинский дом смотреть уже не фотокопию, а подлинную рукопись Пушкина. Это всегда — и огромная радость, и волнение. И вот передо мной листок, написанный рукой Пушкина. Все верно: центральная строфа «Заклинания» зачеркнута. Рядом со мной — мой старший друг Раиса Владимировна Иезуитова. Так случилось, что с ней я познакомилась не в Петербурге в Пушкинском доме, а в Болдине, в болдинском музее Пушкина. Помню, мы обсуждали тогда светские повести пушкинского времени, а потом Раиса Владимировна пригласила меня участвовать в издании Пушкинского дома. Блестящий текстолог, она подтвердила мое наблюдение над текстом «Заклинания» и, будучи знатоком не только автографов Пушкина, но и Жуковского, высказала предположение, что слово «писать» мог начертать Жуковский для переписчика, когда готовил текст стихотворения к печати.

Свой доклад о «Заклинании» я прочла на научной конференции в Риге. Разумеется, я не могла не задать себе вопрос: почему Пушкин вычеркнул вторую строфу «Заклинания»? На этот вопрос я смогла дать лишь гипотетические ответы.

Одна из гипотез связана с биографическим планом стихотворения. Возможно, что в вычеркнутой строфе был заключен намек на Амалию Ризнич, жену итальянского негодянта, которой Пушкин был увлечен в Одессе. Она уехала из Одессы в Италию и вскоре умерла — о ее смерти было известно Пушкину. Быть может, намек этот показался поэту слишком прозрачен и потому нежелателен для обнародования.

Другое возможное объяснение связано с той поэтической традицией, к которой обратился Пушкин в «Заклинании». (Об этом написано много статей; среди авторов и А. А. Ахматова.) Известно, что в основу «Заклинания» легло стихотворение Барри Корнуолла «Призыв» (книгу этого английского поэта Пушкин читал в Болдине). Есть в пушкинском тексте отсылки к поэзии Байрона, творческое переосмысление элегий Жуковского. При этом, на мой взгляд, весьма любопытно, что именно в вычеркнутой Пушкиным строфе — своеобразное нагнетание традиционных поэтических мотивов и образов, именно здесь больше всего цитат и реминисценций. Так, пушкинские строки «Иль как ужасное виденье,/ Мне все равно...» перекликаются со строками из поэмы Байрона «Гяур»: «Ах, если даже твои красы столь же холодны,/ Мне все равно...» Пушкинское «ужасное виденье» восходит к ужасному виденью из стихотворения Барри Корнуолла «Призыв». Образ звезды в «Заклинании» соотносится со звездой, хранящей тень умершей возлюбленной и дающей знать о ее приближении, из стихотворения Жуковского «Узник». «Как легкий звук, как дуновенье» приходит к Минване весть об умершем Эрминии в стихотворении Жуковского «Эолова арфа».

Наблюдения моих предшественников я смогла дополнить не только скрытой цитатой из Карамзина, включенной в текст «Заклинания». Пушкинское стихотворение в целом и, в частности, зачеркнутая центральная строфа соотносятся со стихотворением Державина «Призывание и явление Пленира»:

Приди ко мне, Пленира,  
В блистании луны,  
В дыхании эфира,  
Во мраке тишины!  
Приди в подобье тени,  
В мечте иль легком сне  
И, седши на колени,  
Прижмися к сердцу мне...

<...>

Я вижу, ты в тумане  
Течешь ко мне рекой!  
Пленира на диване  
Простерлась надо мной,  
И легким осязаньем  
Уст сладостных твоих,  
Как ветерок дыханьем,  
В объятиях своих  
Меня ты утешаешь...

Возможно, обилие цитат и реминисценций, традиционных мотивов и образов и было одной из причин, по которым Пушкин отказался от всей строфы, начинающейся стихом «Явись, возлюбленная тень», вычеркнул ее.

И еще одно возможное объяснение. «Истинный вкус,— писал Пушкин,— состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». В строфе, о которой идет речь, образ умершей возлюбленной создан с помощью сравнений (союз «как» повторяется пять раз). Как знать, быть может, Пушкин отверг эту строфу, чтобы придать своему стихотворению иную соразмерность частей, наполнить его энергией иного, более стремительного движения поэтической мысли.

В обсуждении моего доклада принял участие Сергей Александрович Фомичев, заведующий отделом пушкиноведения в Пушкинском доме (и с ним я познакомилась в Болдине). Он сказал, что единственный источник текста «Заклинания» — рассмотренный мной автограф и что со мной нельзя не согласиться. «И все же,— заметил он,— жаль у читателей отнимать строфу Пушкина. И романс “Заклинание” поют с тремя строфами». «Почему? — возразила я.— Наоборот, мы дарим читателям два варианта одного и того же пушкинского текста — первоначальный и окончательный. А романс пусть себе поют, как пели. Но теперь, когда мы знаем окончательный вариант, мы не можем не восторгаться по существу новым для нас стихотворением “Заклинание”». Вот его окончательная, пушкинская редакция:

О, если правда, что в ночи,  
Когда покоятся живые,  
И с неба лунные лучи  
Скользят на камни гробовые,  
О, если правда, что тогда  
Пустеют тихие могилы—  
Я тень зову, я жду Леилы:  
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Зову тебя не для того,  
Чтоб укорять людей, чья злоба  
Убила друга моего,  
Иль чтоб изведать тайны гроба,  
Не для того, что иногда  
Сомненьем мучусь... но тоскую  
Хочу сказать, что все люблю я,  
Что все я твой: сюда, сюда!

...Когда в 1996 году я приехала в Рим, меня встретил Букалов. Он показывал мне Вечный город. Мы гуляли по его улицам и площадям, были у фонтана Треви, постояли возле места, где сожгли Джордано Бруно. Спустившись по лестнице на площадь Испании, зашли в кафе Греко, где бывал Гоголь. И мы вспоминали Болдино, наше болдинское братство и тот дождливый день, когда мы выступали в бараке перед студентами и в темноте звучало пушкинское «Заклинание».

# Благословение на веки

ОБ ОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ИНТУИЦИИ  
ГЕНРИХА САПГИРА

На последнем, сентябрьском, вечере Генриха Сапгира в Георгиевском клубе яблоку негде было упасть: стояли в проходах, жались у подоконника, а сам выступающий, кажется, пытался посадить в свое кресло кого-то из слушателей. Атмосфера была самая раскрепощенная, настраивающая на общение, на заинтересованное вхождение в текст. Автор, бросая стихотворные реплики, вступал в диалог со всеми и с каждым в отдельности. При этом аудитория не ограничивалась только пришедшими. Казалось, что незримо здесь присутствуют и умершие друзья поэта, те, кого уже проводили путем вся земля. Особенно явно это обнаружилось, когда Генрих обратился в одном из стихотворений к преставившемуся полгода назад И. Холину: «Игорь, ты меня слышишь!» Это не была просто игра. И многие это почувствовали. За ней стояла ускользающая, трудноуловимая реальность. Именно реальность.

О Сапгире нельзя говорить как о мистике, тайнозрителе, которому открываются новая земля и новое небо. Но в его полнозвучных строчках брезжут интуиции единства самых разных людей, утверждается их метафизическая близость. Сапгир, может быть, больше чем кто-либо из поэтов его поколения, понимал онтологическую связь с теми, с кем шел по одной дороге жизни. Видимо, поэтому он был снисходителен к друзьям-поэтам и мог включить в составляемые им сборники не очень сильные тексты. Для него куда важнее отдельных удач и поражений был поэтический путь. У которого, как известно, есть свое направление и длина. И ширина: ближе к обочине тексты фифти-фифти, зато в центре — на все сто. И высота — как ее ни называй: внутренним озарением, магической силой слова или знанием человеческого сердца. Конечно, всё это метафоры. Возможно, правильнее было бы истолковать высоту пути как любовь. Причем не декларируемую в лоб, а незримо живущую в тексте. Она наполняет любителя поэзии радостью, даже если он читает о вещах печальных, даже если он вслед за автором блуждает в лабиринтах подсознания и дебрях сознания или подбрасывает вместе с ним, как волейбольный мяч, классические формы и мифологические сюжеты, безнадежно кружится в вихре образов. Без этого щекочущего, бодрящего ветерка любви стих ползет по дороге, как старая кляча.

Сапгировские стихи летят. В них много свежего воздуха. Они позволяют дышать полной грудью. И, что тоже важно, часто прочитываются как стихи-в-общении. Читатель становится участником поэтической игры, сам сталкивает разные языковые и культурные пласты, вместе с автором ставит плюсы и минусы в графе «текущие события». Такого рода тексты имеют определенную религиозную коннотацию. Они словно иллюстрируют высказывание У. Стивенса: «В век безверия дело поэта обеспечить нас тем, что давала вера». Поэтическая интуиция Сапгира позволяет почувствовать, пусть далеко и не в полной мере, жизнь церкви, которая не в бревнах, а в ребрах.

Очень показательно в этом смысле стихотворение «Псалом 132». Сам текст псалма многие толкователи интерпретируют как откровение о ветхозаветной Церкви: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это — как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки». В контексте этих рассуждений важно заметить, что псал-

мы не воспринимались как лирические переживания отдельной личности. Они не были адресованы конкретному потребителю прекрасного (а именно с индивидуалистических позиций сегодня нередко оценивают новые переводы). Псалмы пелись в собрании, всей общиной. Это было совместное проживание текста, молитва одними устами и одним сердцем.

Сапгировские экзерсисы в этом смысле достаточно традиционны. Они действительно выражают некое совместное переживание, чувства братьев-интеллигентов. Хотя эти братья-интеллигенты уже находятся на достаточном отдалении друг от друга (и поэтому им мучительно трудно сказать: «Как хорошо и приятно жить с братьями вместе»). Их переживания не дотягивают до «Я — Ты» связи и ограничиваются общением по касательной. Не лишенном, впрочем, своей прелести:

1. Хорошо летом в солнечный вечер на даче  
двум сочувствующим

2. Листья — и доски — и свет и трава  
и мысли — отсутствие мыслей  
просвечивает и дышит  
греет и гладит  
и кладет свои тени

А дальше перевод полностью совпадает с древним текстом:

3. Это — как драгоценный елей на голове  
стекающий на бороду  
бороду Ааронову

4. Как роса Ермонская  
сходящая на горы Сионские  
благословение и жизнь навеки

Обратившись к Псалтири во вполне атеистическое, пропитанное духом комиссаров в пыльных шлемах время, Сапгир недвусмысленно заявил о важности для судьбы культуры религиозной традиции. Не юродствуя, не издеваясь в духе господствующего дискурса над библейскими персонажами, он ввел псалмодические распевы через эти «А-О-А-О-А-О-И» и «О нори-нора руоло!» в современный речевой стих. Актуализируя библейские истины, он приблизил древние писания к современности, например, прочитал псалом 57 в контексте травли Пастернака:

3. Заклинаю вас  
вашими актами  
протоколами  
заклинаю вас  
невеселыми  
фактами  
заклинаю вас  
неурожаями  
заклинаю вас  
уважаемый  
вашей серой  
карьерой  
.....

6. Это все глубоко наболевшее  
и простое как доктор Живаго  
Листья есть  
птицы есть —  
небо есть —  
и воистину есть  
Судия всего живаго

Сапгир воспринял и пропустил через себя многие сюжеты и мотивы псалмопевца. При этом, как царь Давид, он остался в жестких рамках монотеизма Торы. Ветхозаветная Церковь, как мы знаем, возводила добро и зло к Богу. Проблемы безвинных страданий Иова, конечно, волновали избранный народ. Но не будем забывать, что книга Иова — это поздняя книга. Со всей остротой вопрос о трагической судьбе любви в этом мире встал лишь на рубеже новой эры, и для ветхозаветного сознания Крест и Голгофа так и остались соблазном. Когда поэт в псалме 148 пишет: «Он повелел — и сотворилось/ злодобро и доброзлом/ завязаны узлом/ Да здравствует Твоя жестокомилость!» — то отнюдь не кошунствует (хотя идет по какой-то очень шаткой грани), а интерпретирует ветхозаветные тексты. Другая не менее шаткая граница возникает при соединении псалмодических распевов с конкретизмом и поп-артом:

1. Хвалите Господа на тимпанах  
на барабанах  
... .. (три гулких удара)
2. Хвалите Его в компаниях пьяных  
..... (выругаться матерно)
3. Хвалите Его на собраниях ежедневно  
..... (две-три фразы из газеты)

*(«Псалом 150»)*

Монотеизм Ветхого Завета, завернутый в оболочку соц-арта, дал необычные строки. При этом о духовной компоненте здесь говорить уже становится сложно.

Если мы вернемся к сравнению жизни поэта с дорогой, то ее ширина в разные годы колебалась. Ее мистическая составляющая, высота, тоже менялась от стихотворения к стихотворению. Само же направление пути оставалось неизменным: Сап-гир на протяжении многих лет собирал вокруг себя самых разных литераторов, находил самые неожиданные поля взаимодействия и диалога. И сегодня его стихи способствуют созданию атмосферы тепла и открытости, а это так важно для поэтов, привыкших встречать друг друга надменной улыбкой.



Ольга СЛАВНИКОВА

## Критик моей мечты

Волнение, сердцебиение, иголки в подушечках пальцев, заботливо заготовленное, но принятое до срока противоядие, от которого нехорошо в желудке, — не передать, в каком смятении чувств писатель просматривает свежееотпечатанную, могущую иметь к нему отношение критическую статью. Зрение его расширено, он, не вникая в смысл, сканирует колонки текста, жадно, будто зерно из буквенного сора, склевывает собственную фамилию — и уже от нее начинает, увеличивая круги, читать *произведение* критика, вовсе на такую отцентровку не рассчитанное. Бывает, что надежда на упоминание оказывается тщетной: тогда газета с пустой лотерейной таблицей шлепается под стол и писатель набирается сердитого терпения до следующего розыгрыша тиража. Если же все-таки упоминание есть, это вовсе не значит, что писатель узнает себя в том искаженном персонаже, который получился у автора статьи. Потому что вовсе не факт, что рефлексии последнего питаются текстами первого: очень может быть, что они питаются нахлынувшими на критика воспоминаниями детства, или впечатлениями от вчерашнего визита к стоматологу, или эмоциями недавнего премиального сюжета, — а писатель выступает в роли случайного и, по сути, безымянного прохожего, к которому в темном переулке обратились со словами: «Мужик, дай закурить».

Будучи одновременно и прозаиком, и критиком, то есть страдая острой формой раздвоения творческого «я», наблюдаю следующую картину: отношения писателя и критика близки к разводу. Если рассматривать эти отношения в актуальной гендерной системе координат, то становится очевидно, что роль беллетриста, независимо от пола и отношения к папиросам «Беломор», — пассивная, женская. Беллетрист, напечатав, допустим, роман, с трепетом гадает, будет ли замечен, оценят ли по достоинству душу и стиль, обнаружатся ли у него *поклонники таланта*. Критик, напротив, ведет себя чисто по-мужски: выбирает объект, признает или не признает его привлекательность, выводит за руку в круг. Было бы глупо в приступе рефлекторного феминизма возражать против такого расклада ролей: ведь писатель по природе своей ждет читательской любви, а кто такой критик, как не король литературной танцплощадки, чья благосклонность служит знаком для всех остальных?

Однако в последнее время многое здесь переменилось. Видимо, во всех слоях бытия сдвиги происходят по общим моделям: как в жизни, так и в литературе стала актуальна однополая любовь. Критики читают критиков, критики вырабатывают *стиль*, критики не столько оценивают чужие тексты, сколько желают нравиться собственным творчеством, — и прикладывают к тому весь имеющийся в их распоряжении талант. Быть писателем в обычном смысле слова — поэтом или, хуже того, прозаиком — стало неprestижно и совсем неперспективно. Натуралы выглядят попросту глупо. Несмотря на гальванизирующее воздействие русского Букера (впрочем, многие в этом сильно сомневаются), автор прозы ощущает себя забытым, стоящим где-то в сторонке, платочек в руках теребя. И действительно, критики все чаще высказываются в том смысле, что беллетрист не нужен, поскольку так называемая реальность как источник материала для художественного текста оказалась небесконечна: сами же писатели вычерпали море, обнажив ужасное дно, которое медленно начало гнить.

Теперь единственное, что имеет значение, — это переливание литературы в литературу, игра культурными смыслами, говорение на искусственном языке. Чем и занимается критик, вовсе не любопытствуя прочесть очередной, напечатанный в толстом журнале беллетристический шедевр. Не любопытствуя потому, что уже читал в своей жизни достаточно, потому, что всякий писатель может быть заменен на другого писателя: в этом критика убеждает опыт воздвигания собственных абзацев, качество которых, как критик узнал «с руки», не зависит от качества *разбираемых* вещей. Не тот, так этот беллетрист — какая разница, который из соискателей одол-



жит для вольного эссе свою фамилию да пару-тройку героев, застигнутых на каком-нибудь повороте сюжета и получившихся в уме у критика примерно так же, как прохожие на улице получают на случайных фотоснимках: под углом к тротуару, с занесенной по-солдатски неясной ногой, готовой ступить в ближайшее будущее, которое, однако, для критика навсегда остается неизвестным. Передовой технолог Вячеслав Курицын, выступая в «Литературной газете», и вовсе предложил *придумывать писателей*, буде в таковых возникнет нужда. В той же «ЛГ» Павел Басинский, удивленный, как видно, глобальностью инициативы, высказал предположение, будто Курицын таким образом подсознательно отомстил Евгению Рейну, не вникнувшему в совокупный курицынский творческий продукт и обозвавшему постмодерниста *постимпрессионистом*. Думаю, это вряд ли. Скорее всего Курицын опять оказался на гребне волны, раньше других сформулировав объективную, не зависящую от обидчиков и обиженных, тенденцию процесса. И тенденция эта — не в пользу натуралов. Можно вообразить, сколь груб, неуклюж, толсторукий и толстоног окажется писатель «из мяса и костей» по сравнению с эфирным созданием, порожденным творческой задачей продвинутого критика! Павел Басинский, кстати, обратил наше внимание на то, что в составе иных раскрученных имен процентное содержание реальной персоны исчезающе мало. Можно поспорить с Басинским относительно конкретных перечисленных им писателей (я бы поспорила насчет Дмитрия Галковского), но факт остается фактом: не только сам человек, но и тексты этого человека, обрастая тем, что называется имиджем, совершенно пропадают из виду и значит не больше, чем первоначальная песчинка внутри произведенной критиком жемчужины. Главное — попасть в хорошую раковину и начать колотиться и зудеть, чтобы критик, в свою очередь, начал выделять перламутр. Очень скоро инородная частица делается такой же шелковой, как и прочее гладкое ложе моллюска, а после права на произведение покупает какое-нибудь литературное Микимото. Писатель и знать не знает, что его на самом деле выдумали. Он не замечает побочных эффектов своей популярности — к примеру, книжка его, толщиной в небольшую дощечку, представляется общелитературному сознанию в виде массивного тома за счет привнесенных слоев, виртуальных перламутровых страниц. Фактически критик, чтобы выполнить хороший имидж, вынужден заниматься *отбеливанием* чьих-то чужих, стихийно возникающих текстов. Не лучше ли поставить дело на регулярную основу и под разумный контроль? Не проще ли работать с изначально чистыми листами несуществующей рукописи и заносить туда (как сумму прописью в незаполненный чек) нужное количество потребных критику цитат? Трижды прав Вячеслав Курицын: хватить в литературном процессе человечины! От настоящих писателей, капризных, обидчивых, к тому же далеко не гениев, только лишнее беспокойство.

Однако писатели — никуда от них не денешься — продолжают существовать. Проигрывая выдумке, фантазии (проигрывая ей прежде всего за своим же рабочим столом, и не что-нибудь, а собственную, спускаемую частями, бисерную жизнь), они продолжают цепляться за свежую газету с литературной колонкой, мысленно почти диктуя критику рецензию на свой роман. Осознавая свою по отношению к Курицыну вторичность, риску выказать предположение: если можно выдумать писателя, то можно выдумать и критика. Почему бы нет? Почему бы не сделать этого прямо сейчас? Суперкритик, в синем трико и алом коротком плаще, сидя днем в какой-нибудь редакции под видом подслеповатого клерка (Павел Басинский считает, что этот клерк дальтоник), ночью летает, руля кулаками, в литературных темных небесах и поспевает к писателю на помощь, когда писатель, всхлипывая от безнадежности бытия, уже подносит горящую спичку к прозрачному от предсмертного румянца рукописному листу. Кто же он, критик моей мечты, супермен с планеты Криптон?

Если бы к усам Андрея Немзера добавить галстук Александра Архангельского... Или превосходный череп Михаила Новикова украсить кудрями Вячеслава Курицына образца 1990 года... Впрочем, данный гоголевско-мичуринский метод, по видимости состоящий из сложения, на самом деле дает вычитание образа из образа, и возникающий фоторобот пугает зрителя своей лоскутной несообразностью (намекая, между прочим, на существование ограбленных оригиналов, с белыми пятнами на месте изъятых частей). Мозаичный персонаж всегда недостоверен, даже если наблюдать его явление собственными глазами.

Больше мы не будем трогать живых и здравствующих критиков (тем более что за украденный галстук при случае спросится). Мы пойдем другим путем — тем самым, где у беллетриста есть перед критиком по крайней мере одно преимущество: опыт в придумывании разных персонажей. Первым делом следует дать герою имя: безымянный, он представляет собой размытое пятно, лужицу свойств, в которой отражается автор. Как известно, фамилии для персонажей хорошо искать в телефонных справочниках; лично я использую для этих целей служебные справочники заводских АТС — чумазые, почерканые, в очень твердых корках, страдающие переплетным остеохондрозом, но обаятельные тем, что напоминают гибридный издания и чей-то личной телефонной книжки: это придает особую достоверность находимым в

этих книжках частностям бытия. Так, в одной такой единице хранения был от руки зачеркнут некто Прорухин (зам. председателя профкома) и поверх него вписан — кто бы вы думали? — Гиневальный! Вот эту фамилию я и присваиваю суперкритику, который привык относиться философски к опечаткам собственной судьбы. А имя-отчество ему пусть будет Иван Петрович. «Иван Петрович умер» — так называется новая книга Александра Гениса, в которой автор говорит о смерти героя традиционной беллетристики, претендующей «...описывать жизнь такой, какая она есть». Может, и правда в сегодняшней литературе невозможна фраза «Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошел к распахнутому окну», которую Генис приводит как образец вторичности всего (весьма, заметим, схематичный, скелетовидный образец). А все-таки очень жалко Ивана Петровича, он мог бы еще пожить, порезонерствовать, пообщаться с широким читателем. Некоторое время назад я почти поддался искушению начать с запавшей генисовской фразы новый рассказ. Но теперь хочу воскресить одновременно ушедшего в иное, более активное качество. В настоящий момент окно Ивана Петровича, распахнутое в теплую дачную ночь, передает, будто радио, поймавшее одинокую станцию, то шорох гравия под колесами невидимой машины, то дальний крик электрички; мощная ночница, выпав из настольной лампы, тарыхтит на черканной рукописи; стул Ивана Петровича, действительно скрипучий, но по-своему приткий, оказывающийся то в том, то в этом углу исхоженной критиком рабочей комнаты, похож на кенгуру.

...Итак, И. П. Гиневальный, сорока примерно лет, образование высшее; пожалуй, кандидат филологических наук, оставивший ученую карьеру ради некоторого редакционного заработка и ухнувший с головой во вспученный, ничем не отфильтрованный поток современной словесности. Поскольку второго такого Гиневального нет, пишет по восемь рецензий и по две статьи в месяц. Все на него всегда рассчитывают — и правильно делают. Потому что рассчитывать не на Ивана Петровича, а, скажем, на какого-нибудь Сергея Спиридоновича было бы в высшей степени недальновидно. Мокрые усталые глаза Гиневального, намозоленные о разные шрифты, всегда немного бегают, точно Гиневальный быстро-быстро считывает с лица собеседника некий невидимый миру текст. Движимый острым любопытством ко всем вообщепе напечатанным буквам, жадно цапает раздаваемые на улицах рекламные листки. В метро, несмотря на любую давку, непременно вытягивает толстый журнал и втыкается в страницу, будто топор в бревно. Издали Гиневального можно узнать по громадной черной сумке на истяннутом ремне: ноша и владельца на предельной скорости сшибаются боками, точно два автомобиля в трюке приключенческого фильма. В сумке суперкритик таскает до десятка единиц книжно-журнальной продукции, синее трико и красный плащ в отдельном мешочке, а также раздавленный всем этим грузом, похожий на стельку бутерброд с колбасой. Несмотря на некоторые странности, многие искренне любят суперкритика, а некоторые даже боятся, как боятся дети подвыпившего Деда Мороза. Близкие друзья (в их числе В. Маканин и А. Бильжо) называют его просто: Петрович.

Честно говоря, мечта о Гиневальном возникла у меня задолго до радикальных курицынских инициатив. Причина в том, что я, к своему несчастью, пишу объемную и маловразумительную прозу, зрительно представляющую собой сплошную плоскость из мелкочерных, плотно укатанных букв. Только теперь, поварившись в разных котлах, я начинаю понимать, какую свинью подложило газетным критикам букеровское жюри 1997 года, включив в финальную шестерку мой роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» объемом в 28 авторских листов. Ничего себе: послезавтра надо отписываться в полосу, а тут свалилось на голову такое, чего прежде и в глаза не видел, слыхом не слыхивал, да еще попробуй достань четыре номера «Урала» — замучаешься бегать, а на чтение останется, ну, может, полтора часа. Поставив себя на место коллег, я испытала почти физическое отвращение к четырем хозяйственно-зеленым, будто пачки *обычного* стирального порошка, книжкам журнала, содержащим не текст, а просто какой-то асфальт, который уже на третьей странице хочется взломать отбойным молотком. Нет, я серьезно: если бы еще за газетные рецензии платили полистно, как платили некогда за внутренние рецензии в журналах и издательствах. Так нет, и будь любезен ради одного абзаца потратить рабочие сутки. Обидно? Еще бы! Было, конечно, забавно наблюдать (это было видно как на ладони), до какого именно места дочитал «Стрекозу» тот или иной прохладный рецензент (обычно дело ограничивалось пятой главой первой части романа). Но, поскольку это я была источником неприятности, то, пользуясь случаем, приношу пострадавшим свои извинения. Согласимся на том, что в жизни критика, конечно, всегда есть место подвигу, но этот подвиг не обеспечен ни организационно, ни экономически. А хотелось бы, как в американской армии: чтобы кола и мороженое в любую пустыню, а вечером обязательно концерт.

Не могу сказать, что в критическом цехе на меня не нашлось серьезных читателей (при этом, ясное дело, не все, осилившие романы, оказались от них в восторге). Однако мечта о том, чтобы на свете жил суперкритик И. П. Гиневальный, порождает

ется неверностью жребия. Надо, чтобы не только прочли, но *обязательно* прочли. Иван Петрович, например, считает, что художественный текст подобен личному письму: у него непременно *существует* адресат. Письмо по тем или иным причинам может не дойти, затеряться, не быть распечатанным; однако адресат физически наличествует и разглуливает себе, не подозревая о том, что для него имеется сообщение — быть может, пустое, а может, и очень важное для жизни и судьбы. Себя Гиневальный мыслит авиапочтальоном, летящим сквозь ночной холодный воздух, что набиивается в рот и резко тербит заштопанный плащик (в последнее время Иван Петрович приспособился летать в резиновых очках для подводного плавания, которые, однако, противно присасываются к лицу и оставляют, подобно медицинским банкам, пухлые синяки). Кайф суперкритика — в таинственном и странном ощущении, что вот, лежит перед всеми роман, написанный понятным для всех языком, лежит буквально на поверхности, но только он, Гиневальный, овладел и проник, только он, подобно Шерлоку Холмсу, знает, что именно там произошло. Например, он сразу по выходе в трех номерах журнала «Знамя» проглотил изрядную вещь Михаила Шишкина «Взятие Измаила», и ему понравилось (пишет рецензию). Вообще суперкритик не понимает пустого чтения: как это — я прочел такое-то и такое-то и ничего про это не пишу? И Петрович летит к себе на дачку и там, осторожно приземлившись за кустами спелой — ягоды с наперсток, — жарко и шершаво пахнущей малины, устремляется в дом, где прохлада, и волглая стопка бумаги, и в остатках позавчерашнего чая — тонкий меловой мотылек.

Суперкритик заслуживает счастья: пусть ему будет хорошо у моргающей лампы толстого стекла, от которой свет на рукописи, будто след от банки с молоком, пусть ночь его будет глубока, пусть булькает в стакане старый кипятильник, туманя темное окошко, пусть, когда у суперкритика кончатся сигареты, найдется еще полпачки сигарет. Лично мне он представляется уже настолько реальным, что сквозь него больше не просвечивают ни стул, ни пейзаж за окном. Между тем Гиневальный, как всякий литературный персонаж, нуждается в партнере по сюжету — и логика сюжета такого партнера ему предоставляет. Дело в том, что образ суперкритика создается не только в шарлатанском уме романиста, но и собственно в недрах критического цеха. Так, в последнем номере «Знамени» за прошлый год, под рубрикой «Конференц-зал», опубликованы высказывания критиков «последнего призыва» — тех, кто заявил о себе уже в новейшей литературные времена и, по всей вероятности, воспринял веяния последних литературных мод. Петрович, прикупив журнальчик ради последней части «Взятия Измаила», разумеется, прочел его от корки до корки. Гиневальный не без смущения обнаружил, что новая молодежь считает критика стоящим на более высокой ступени литературной эволюции, нежели писатель-натурал.

«Мне всегда казалось, что то, что я делаю, ближе к какой-то лирической прозе. Даже не к пресловутому эссеизму, но именно к прозе. А может быть, даже и к поэзии», — пишет о себе челябинский критик Дмитрий Бавильский. И далее: «Критик занимается своим делом не из-за недостатка творческого темперамента и потому — в глазах человека, далекого от современного искусства, — неизбежной обреченности на вторичность. Проблема не в креативном потенциале творческой личности (она либо творческая, либо нет), но в сознательном следовании определенным наклонностям и предпочтениям: хочешь ли ты говорить о себе напрямую или через посредство чужого слова. А беллетристические таланты наших критиков в доказательстве не нуждаются. Вспомним, как свободно они манипулируют поводами и темами, легко перескакивая с жанра на жанр. Другое дело, что нарративные стратегии критика на порядок выше, чем у беллетриста: они более отвлеченны, изощренны, разнообразны. И хотя бы потому — более культурны».

Надо думать, что Петрович еще быстрее меня обнаружил в рассуждениях Бавильского некий общий изъян. Скажем, так: отечественный постмодерн, на котором у Бавильского базируется все, настаивает на неразличимости «сырой» реальности и реальной виртуальных. Так почему же беллетристические манипуляции с «сырьем» (кстати, насыщенным литературой по самое «не могу») признаются менее интересными, нежели работа через «посредство чужого слова»? Не значит ли это, что постмодерн, как бы сознательно «потеряв» реальность среди множества ментальных зеркал, на самом деле настаивает на ее нахождении, различении и дискриминации? Но данная логическая петелька — это полбеды, тем более не Бавильский ее заплет, он скорее в нее попал. Любопытнее другое: не только Вячеслав Курицын придумывает писателя! Беллетрист отпочковывается от критика вегетативным способом и, будучи придуманным, обладает сколь угодно более блестящими талантами, нежели исходный оригинал. Такое повышение персонажа за счет дополнительной эмиссии творческих средств — дело в беллетристике довольно обычное: придуманный герой должен видеть больше, нежели видел бы без героя собственно автор, для чего герой и создается как некий оптический инструмент. Однако в «натуральной» прозе автор все-таки обязан обеспечивать собою минимально 51 процент акций персонажа (пример — роман Юрия Буйды «Ермо»). Что касается нашего случая, то

здесь успешность придуманного беллетриста гарантируется неким свойством исходного материала — неподсудностью критика. «Окончив Литературный институт по отделению прозы и написав ее некоторое количество, я усвоил принципы построения беллетристического текста, которые теперь не могу не применять в любом сочинении, даже если б захотел,— пишет в той же конференц-подборке Михаил Новиков.— Я стараюсь сделать статью композиционно законченной, позволить выстроиться подобно сюжету, расказать историю по всем правилам». И далее: «Этот принцип — в первую очередь дать хороший литературный продукт, а потом уж, только если это уместно, разъяснить свое исповедание веры, попорочествовать, обличить и т. д.— наверное, не так-то просто усвоить людям, которые всю жизнь писали иначе...» Поскольку и здесь кочерыжкой беллетриста является критик, то *придуманному* беллетристу достаточно «усвоить принципы» и вовсе не обязательно их применять. И раз уж критик вынес высокую оценку произведению своего произведения, то никому и в голову не приходит задаться вопросом: а так ли на самом деле *качественно* то, что мы читаем у Михаила Новикова, господя?

Таким образом, придуманный суперкритик и придуманный писатель оказались на поверку одной и той же сложносочиненной личностью. Мне представляется, как данный персонаж, решив создать, к примеру, квазитекст из жизни составляющих его строчных и заглавных букв, берется сперва за предисловие, где по законам беллетристики разъясняет свои стратегии и тактики, затем, не удержавшись, пишет на себя еще и рецензию, цитату из которой предполагает поместить на обложке будущей книги. Но, поскольку цитат потребует несколько, создается еще пяток положительных отзывов (в том числе на английском, немецком, французском, с которых параллельно делается перевод); наконец, сам креативный процесс находит отражение в концептуальной статье, которая и публикуется в благожелательном медиа, а также помещается в Интернет. Оставим суперкритика-2 варить свой суп из топора: главный труд его жизни никогда не будет предьявлен читателю. Что касается нашего Петровича, то он, сказать по правде, тоже пописывает в стол, думая когда-нибудь (например, под псевдонимом Сидоров) напечатать повесть. И совсем не такую простую — потому что Гиневальный огромные объемы чтения не перебивают вкуса и не мешают делать *свое*. Гиневальный не боится стать на кого-нибудь похожим, не ожидает обнаружить подобие своих фантазий в чьем-либо опубликованном тексте. Стало быть, Иван Петрович может себе позволить не торопиться, тем более что с литературой не имеет никакого смысла играть в поддавки. Что именно содержится у И. П. Гиневального в его перечерканной, изрисованной рожами рукописи (некоторые страницы словно пробиты навилет из рогатки), не знает никто, в том числе и автор данной статьи.

Разумеется, И. П. Гиневальный является суперкритиком не только потому, что читает *все*. У Ивана Петровича присутствует и сбалансированный, временами изысканный стиль (он, как волосок из чернилницы, удлиняет кончик моего пера); у него имеются концепции — не плоские выкройки, по которым иные его коллеги режут литературу и злятся, если не выходит фасончик, но объемные открытые системы, персональные каналы для диалога с чужими текстами. Есть у Гиневального любимые писатели: их число устойчиво растет. Чем Петрович не занимается никогда, так это литературным PR-ом, тем более «черной» его разновидностью; гнев Гиневального часто бывает направлен на тех собратьев по цеху, что, как удачливая советская столовка, всегда закрыты на спецобслуживание определенных процентов так на семьдесят придуманных и тем самым *собираемых* персон,— либо на поминки по русской литературе.

Гиневальный амбициозен. Втайне зная о своих неограниченных возможностях, он ставит перед собой по меньшей мере две глобальные задачи. Первая — разобратся с той экологической проблемой, что возникла у традиционной прозы в результате исписывания реальности, вычерпывания моря и обнажения дна. Вторая — найти формулировку, или формулу, кривизны литературного пространства, в котором «элитарные тексты» и «массовая продукция» разлетаются, будто галактики после непонятого взрыва, и по возможности вычислить координаты их вероятного слияния в некий качественно новый астрономический объект. Рыцарь без страха и упрека, человек-опечатка, Гиневальный Иван Петрович ремонтирует разрушенную плотину, ложится вместо разобранных рельсов под грохочущий состав, а после опускается с небес на землю, роняя ботинок, осторожно пробуя ногою почву, как кулак пробует дно,— и, прихрамывая, устремляется вперед, по своим текущим литературным делам. Я Гиневального выдумала. Но у меня такое ощущение, что теперь он как-нибудь образуется в реальной действительности. Писатель! Подари ему при случае бутылку коньяку!

## И г р а

Ведь мы играем не из денег,  
А только б вечность проводить!

*А. С. Пушкин*

«Игра» есть слово без значения, что-то вроде артикля. Оно бессмысленно без дополнения или определения. Слово это само, по сути, является дополнением.

Попытки дать определение понятию «игра» множественны и чем-то напоминают аналогичные усилия по отношению к понятию «любовь», которому, впрочем, еще повезло — его можно классифицировать как «чувство» или «состояние». С понятием «игра» это сделать сложнее.

Классификация игр запутана не меньше, чем определение самой игры.

В литературе игр множество, и различаются они прежде всего тем, где ведутся, — в тексте или вне его. Игры, ведущиеся вне текста, — это, как правило, игры с автором или его творением, все то, что не связано с собственно чтением написанных автором страниц.

Эти игры наполнены битвой биографий реальных и мнимых, драками псевдонимов, тщательно выверенными, как ритуальные танцы, скандалами, получением премий и отказом от них.

Игры внутри текста тоже разные. Часть из них — это игры сюжета: так, всякий детектив есть игра автора с читателем, игра, которая вертится вокруг преступления, как вертится охотничья собака вокруг дерева, на котором сидит белка.

Причем порой получается, что роман философско-психологический, такой, например, как «Магус» Джона Фаулза (известный в русском переводе под названием «Волхв»), по сути, мало отличается от детектива. Загадок много — ответов мало. Но к Фаулзу мы еще вернемся.

Игра с читателем — занятие сложное, далеко не всем доступное. Чаще всего в современной массовой культуре сплетенная автором интрига легко разрушается средним читателем. Он, подобно мстительной билетерше из анекдота, наклоняется к автору и произносит:

— Ну да, убийца — этот мужчина в мятой шляпе.

Есть второй тип игры внутри текста. Это игра в загадки.

Читатель ползет по тексту с лупой и расшифровывает персонажей, что скрываются за чужими фамилиями и прозвищами-намёками. Так было с катаевскими давними мемуарами. Так происходит и в современной массовой литературе. Вон, думает читатель, это знаменитый олигарх... А это, понятное дело, сгоревший в пламени сексуального скандала прокурор.

Но, помимо этих двух типов литературной игры, внутри текстового пространства, конечно, продолжают жить и двигать повествование игры классические.

Карты и шахматы были издавна обречены с литературой, но если среди романов о шахматах читатель навскидку назовет, пожалуй, только «Защиту Лужина», то карты, листки картона с цветным изображением фигур и знаков, полный комплект которых состоит из 52 или 56 листов (и называется хорошим русским словом «колода»), от литературы неотделимы.

Изобретение карт приписывалось разным народам Востока — как всегда, в первую очередь китайцам. В Византии те знаки, что теперь накрепко связаны с мастями, служили для украшения различных тканей. Причем в Европе карты появились довольно поздно — примерно к XIV веку. Резьба на дереве, гравирование на меди — в XV веке в Германии картоделание стало целой отраслью промышленности и ста-

твѣй экспорта, а позднее, кстати, в большинстве европейских стран и государственной монополией. В России самым ранним свидетельством о картах является Уложение 1649 года, в котором предписывалось беспощадно искоренять карточную игру. Но потом гонения ослабели, а Екатерина II предприняла клеймение карт, ввела налог на азарт. Надпись на том знаменитом ее указе гласила: «Себя не жалея, питаем птенцов» (имелось в виду, что деньги пойдут на сиротские дома). И пошли плодиться игорные дома, зашелестели по зеленому сукну те самые листки. А другие листы начали покрываться строчками, посвященными игре.

Тут интересно еще одно обстоятельство. Со временем игра стала кодифицированной. Она дополнила свои правила общественным регламентом. Особую роль приобретает карточный долг как обстоятельство, подлежащее исключительно сфере чести, то есть общественно, а не законодательно регламентированное. Если раньше Екатерина могла писать генерал-губернатору Измайлову в Москву: «Постарайся переводить в Москве разорительные карточные игры; карточный долг не долг, и таковой долг уничтожать велено», — то скоро ситуация изменилась. Г. Ф. Парчевский в своей книге «Карты и картежники» пишет: «Когда уже в павловское время московский генерал-губернатор князь Долгоруков объявил через газеты, что не станет платить карточные долги своего беспутного сына, его не только осудил свет, но и одернул император. Павел, разумеется, не поощрял азартную игру, но в газетной публикации не без основания усмотрел попытку придать домашнему делу Долгоруковых общественный характер, что показалось явным дворянским своеволием».

Ответственность игрока перед регламентом игры была выше, чем ответственность перед родственниками или полковой казной.

Но карты имели еще и иную функцию. Лотман писал: «В функции карточной игры проявляется ее двойная природа. С одной стороны, карточная игра есть игра, то есть представляет собой образ конфликтной ситуации. В рамках карточной игры каждая отдельная карта получает свой смысл по тому месту, которое она занимает в системе карт. Так, например, дама ниже короля и выше валета, валет, в свою очередь, также расположен между дамой и десяткой и так далее. Вне отношения к другим картам отдельная, вырванная из системы карта ценности не имеет, так как не связана ни с каким значением, лежащим вне игры. С другой стороны, карты используются и при гадании. Здесь активизируются другие функции карт: прогнозирующая («что будет, чем сердце успокоится») и программирующая. Одновременно при гадании выступают на первый план значения отдельных карт. Так, когда в «Пиковой даме» в расстроенном воображении Германна карты обретают внеигровую семантику («тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком»), — то это приписывание им значений, которых они в данной системе не имеют (строго говоря, таких значений не имеют и гадалые карты, однако сам принцип приписывания отдельным картам значений взят из гаданий). Когда у Пушкина мы встречаем эпитафию к «Пиковой даме»: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность», а затем в тексте произведения пиковая дама выступает как игральная карта — перед нами типичный случай взаимовлияния двух планов. Здесь, в частности, можно усмотреть одну из причин, почему карточная игра заняла в воображении современников совершенно особое место».

Пушкинский Германн и гоголевские *игроки* играли в штосс. Слово это часто путают со словом «штос», что на букву короче и означает один из ударов в бильярде. Stoss-ом же зовется колода по-немецки.

Надо сказать, что эта игра чрезвычайно простая. «Игроки и банкومت имеют одинаковые колоды карт. Игрок выбирает из своей колоды карту и объявляет свою ставку. Банкومت в открытую сдвигает верхнюю карту своей колоды на полкарты вправо так, чтобы все участники игры могли видеть только первую и вторую карты, которые имеют в игре «штос» свои названия. Если карта игрока отсутствует в первых двух картах, банкومت сбрасывает две первые карты на стол, первую направо, вторую налево, и открывает следующую пару карт. Игра продолжается до того момента, когда в колоде банкомета встретится карта, совпадающая по достоинству с картой игрока. Если эта карта выпала налево, выиграл игрок, направо — выиграл банкومت».

Это, что называется, игра «азартная». И в XIX веке происходило противостояние на зеленом поле «коммерческой» игры и игры «азартной». Противостояние было больше чем столкновением моды на игры. Именно азартные игры подвергались запрещениям.

Все дело в том, что в коммерческих играх есть значительная доля расчёта, а игры азартные отдают ход игры на волю случая. Штосс, как мы видим, — настоящая азартная игра. Его правила просты, никакой особой стратегии в игре выработать не требуется.

Проще штосса только игра в кости — классический генератор случайных чисел.

Но все эти карточные игры нацелены на выигрыш, а литература хранит в себе немало игр, рассчитанных на проведение времени. Разговоры смерти и чертей, играющих в аду с ней в карты (и услышанные там пушкинским Фаустом), прямо указывают на эту оборотную сторону игры — времяпровождение.

Это занятие начинает побеждать игру, рассчитанную на выигрыш.

И здесь рождается одна из самых важных литературных игр — *Petit jeu*. То есть не самая знаменитая, но действительно одна из самых важных. Вот некая бойкая барыня говорит: «Хорошо в пти-жэ какое-нибудь поиграть», — и тут же выныривает в известном романе скользкий человек Фердыщенко, знающий «новое и великопнейшее пти-жэ»: дескать, «нас однажды компания собралась, ну и подпили это, правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух, но такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни; но с тем, чтобы искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!»

Пти-жэ, собственно, — это фанты. Кстати, в академических комментариях к этому фрагменту говорится: «Подобный эпизод («самая капитальная сцена») был задуман Достоевским в 1861 г. для нового (оставшегося неосуществленным) варианта «Двойника»: «Пти-жэ у Клары Олсуфьевны. (...) Младший рассказывает про старшего в обществе все те штучки, таинственные и сокровенные, которые есть у каждого и которые каждый прячет, как тайны, от всех, смешные мелочи, которые Голяк <ин>-старший ревниво прятал от младшего и вполне был уверен, что тот не узнает, но тот узнал».

Что происходит после предложения Фердыщенко — всем известно.

Прочная связь пти-жэ с игрой в нравственное раздевание установилась только сейчас — вот в набоковской «Машеньке» переговариваются соседи:

«— Бросьте, Лев Глебович; не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь пти-жо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?

— Увольте, — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку».

Пти-жэ (или пти-жо) — обобщенная игра. Игра вообще, в частности — игра в фанты. Вроде реальной рекомендации книжного массовика-затейника: «Участники выбирают задания из шапки Скомороха: изобразить закипающий чайник, пропеть петухом, изобразить метлу, изобразить распускающийся цветок, свисток, передразнить слона, осла, тающее мороженое, надувающийся шар, прочитать стихотворение «Наша Таня» с разными эмоциональными оттенками».

В известной мере пти-жэ превращается в модель литературы.

Во-первых, пти-жэ идеально описывает автора на рынке массовой культуры, которая изначально любит короткую острую историю, чаще всего замешанную на пороке. Причем рассказы наглядно иллюстрируют то, что мораль есть понятие релятивное. Вот, представим себе, человек в застолье рассказывает в подробностях, как к нему в подъезд зашла маленькая девочка, в косах и бантиках. А рассказчик убил ее и съел.

Далее эту историю можно модифицировать. К рассказчику в подъезд забрел пьяный бродяга, нагадил, и рассказчик за это его убил.

Потом можно заменить пьяного бродягу на распоясавшихся хулиганов. Лучше двух. А смерть в финале оставить.

Затем хулиганов заменить на киллеров и оставить их холодеющие трупы на лестничной клетке.

И, наконец, наш рассказчик в перерывах между рюмками говорит: «Вот они подожгли наш бронетранспортер, я по ним шарахнул из подствольника — двух сразу в куски. Пленных не брали. А потом двинули к своим...»

Понятно, что первый вариант в любом случае вызывает у нас отторжение. А вот последний — не только повод для получения государственной награды, но и не самый безнадежный способ вырасти в глазах застольных собеседниц.

Между тем жесткой грани между этими историями нет. Между ними можно поместить бесчисленное множество вполне литературных историй, и в линии, что будет их соединять, математики не найдут никакого экстремума.

Отношение к убийству в игре — тема знатная и довольно широкая. Эта тема связана с двумя разными типами ответственности — ответственностью перед игрой и ответственностью перед обществом. «Убийство в игре» — само по себе звучит как ламбуром.

А во-вторых, такая игра конструирует реальность. Она заставляет принять на веру или принять во внимание рассказанные истории. Проверить их невозможно. Происходит примерно то же, что происходило с героем фаулзовского романа «Магус», когда невозможно было эмпирически проверить все то, в чем его убеждали собеседники.

Точно так же застольный рассказчик убийств не предъявляет никаких доказательств своих историй. Руки у него не запачканы по локоть в крови. Он не может предъявить, как Фердыщенко, украденную трехрублевку (Фердыщенко, между прочим, тоже ее не мог предъявить).

Все это предмет веры, как предметом веры становятся описываемые в маскульте события. Эти события как будто бы держатся середины между газетной публицистикой и собственно литературой. Первая претендует на объективность, вторая — на художественность.

И читатель включается в игру с живучим карточным названием «веришь — не веришь».

Игра, кстати, азартная.





## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — **73293**;

для стран СНГ — **79209**.

Во втором полугодии 2000 года каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 36 рублей;

для подписчиков стран СНГ — 41 рубль

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12 до 17.30, кроме субботы и воскресенья. Справки по тел. 214-31-23.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

Распространением журнала «Октябрь» за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax. (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka @ naukae. msk. ru

## *Альфа-Банк помогает писателям*

Альфа-Банк совместно с Московским Литфондом продолжает благотворительную программу поддержки московских писателей, работающих над новыми произведениями.

15 писателей, представивших наиболее интересные проекты будущих произведений, станут получать от Альфа-Банка ежемесячные стипендии в течение года — с 1 ноября 2000 г. по 31 октября 2001 г. Их размер по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза.

Новый конкурс — анонимный, заявки подаются под девизами. Их регистрацию проводит Московский Литфонд до 15 июля 2000 г. Рассматривать заявки будет Экспертный совет, состоящий из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов.

Благотворительная акция Альфа-Банка при содействии Московского Литфонда, которая становится уже доброй традицией, вселяет надежду на появление талантливых произведений и новых имен в литературе.

▲ Оперативная информация из всех регионов России и мира  
 ▲ Объективность освещения событий  
 ▲ Актуальные интервью, расследования, психим, налоги, консультации, спорт, культура, история, сад и огород, здоровье, «горячие линии» с читателями.

▲ **Но самое главное – «Труд» остается верен своей репутации газеты, отстаивающей права человека**

# ТРУД

## Ваша Газета

«Труд-7» - Ежедневная газета для семейного чтения на 32 страницах. Обзор событий за неделю, комментарии известных политиков и экономистов, интервью с суперзвездами кино, музыки и спорта, подробная телепрограмма с анонсами лучших программ и фильмов, вопрос-ответ, гороскоп, кроссворд, тесты, шахматные задачи, занимательное чтение.

**ЧТО ВЫПИСАТЬ?**  
 Разве это  
**ТРУД**  
 Вопрос

Адрес редакции: 103792, ГСП, Москва, К-6, Настасьинский пер.4  
 Телефоны для справок — 299-3906. Издательство — 292-4990.  
 Рекламный отдел — 200-0338 (факс — 200-0124). Частные объявления — 200-0117. Региональная реклама — (095) 299-9448, 299-4023. Факс (095) 200-0119. Отдел по связям с общественностью — т/ф 299-9096. Телекс 111 238 «Труд»